

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1985

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Храпченко М. Б. (Москва). Текст и его свойства . . . . .	3
Серебрянников Б. А. (Москва). Существовала ли финно-волжская языковая общность? . . . . .	10
Фрумкина Р. М. (Москва). Смысл и сходство . . . . .	22

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Бирнбаум Х. (Лос-Анджелес). О двух основных направлениях в языковом развитии . . . . .	32
Луденко Н. А. (Донецк). Вид и время (Проблемы разграничения и взаимодействия) . . . . .	43
✓ Ершов А. П. (Новосибирск). Машинный фонд русского языка (Внешняя постановка вопроса) . . . . .	51
✓ Андрищенко В. М. (Москва). Машинный фонд русского языка: постановка задачи и практические шаги . . . . .	54
Гигинейшвили Б. К. (Тбилиси). К проблеме достоверности реконструкции . . . . .	65
Говердовский В. И. (Харьков). Диалектика коннотации и денотации (Взаимодействие эмоционального и рационального в лексике) . . . . .	71

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Колесов В. В. (Ленинград). Синонимия как разрушение многозначности слова в древнерусском языке . . . . .	80
Шульга М. В. (Москва). К интерпретации падежной омонимии в русском склонении . . . . .	88
Нгуен Куанг Хонг (Вьетнам). Рифмы поэтической речи и фонологический анализ слога . . . . .	98
Чарков С. Л. (Ленинград). Об эволюции агглютинативных суффиксов (на материале эвенкийского и бурятского языков) . . . . .	104
Мейланова У. А. (Махачкала). О терминологии свойства в языках лезгинской группы (Опыт сравнительно-исторического анализа) . . . . .	114
Онипенко Н. К. (Москва). О субъективной перспективе каузативных конструкций . . . . .	123
Джустин-Фиши Ф. (Флоренция). Опыт анализа чужой речи в сопоставительном плане (На материале «Двойника» Ф. М. Достоевского и его переводов) . . . . .	133

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Юдакин А. П. (Москва). Filozoficko-metodologicke problémy filologických věd . . . . .	139
Чешко Е. В. (Москва). Апракос Мстислава Великого . . . . .	142
Жовтобрюх М. А. (Киев). Історія української мови. Лексика і фразеологія . . . . .	146
Преображенская М. Н. (Москва). Історія української мови. Синтаксис . . . . .	150
Пюрбеев Г. Ц. (СССР), Наранчимэг Ш. (МНР). Дамдинсурэн Ц. Лувсандэндэв А. Орос-монгол толь . . . . .	153

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	156
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,  
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,  
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. А. Серебрянников, Н. А. Слюсарева,  
В. М. Соллцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),  
О. Н. Трубочев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка,  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78  
Зав. редакцией И. В. Соболева

ХРАПЧЕНКО М. Б.

## ТЕКСТ И ЕГО СВОЙСТВА

Понятие «текст» в последние годы приобрело немалую популярность в различных научных кругах. О тексте, его природе и границах много пишут и спорят лингвисты. Опубликовано большое количество статей и книг под заманчивыми заглавиями — «Лингвистика текста», «Текст как объект лингвистического исследования», «Синтаксис текста», «Русский язык. Текст как целое и компоненты текста» и многие иные.

Проблемами текста занимаются, однако, не только лингвисты, но и философы, искусствоведы, психологи, этнографы. Временами обращение к этой тематике рассматривается как несомненное проявление склонности к научному новаторству.

В чем же суть дела? Почему столько споров вокруг вопроса о «тексте» и всегда ли они оправданы? Нужно прежде всего сказать, что есть два — серьезно отличающихся один от другого — подхода к теме — лингвистический и семиотический. И даже не различные подходы, а совершенно разное понимание сущности текста, содержания, которое заключено в этом понятии. Отсюда и неодинаковый круг проблем, которые интересуют лингвистов и семиотиков, скажу точнее, семиотиков глобального типа. Если лингвисты рассматривают «текст» как явление, тесно связанное со словом, как языковую категорию, то семиотики трактуют «текст» как совокупность значений той или иной группы знаков, что выходит далеко за границы словесных структур. Понятие это семиотиками глобальной ориентации распространяется на самые разнообразные процессы жизни и деятельности людей, человеческой культуры, и не только культуры, но и на явления природы.

Некоторые лингвисты скептически оценивают увлечение «текстом», оспаривают правомерность и необходимость исследования вопросов, касающихся «текста», в качестве более или менее значительных проблем современного языкознания. Другие же ученые, напротив, считают, что «проблематика текста выдвинулась в последнее время на одно из первых мест в мировой лингвистике. Текст получает признание как одна из важнейших лингвистических категорий...» [1, с. 3].

Крайности одной и другой точек зрения представляются в достаточной мере очевидными. Трудно согласиться с тем, что «проблематика текста» имеет основополагающий характер для советской лингвистики, учитывая общее направление ее развития, перспективы ее роста. Хорошо известно, что в центре внимания советских языковедов находятся вопросы структуры и социального функционирования языков, их действенной роли в жизни современного общества, проблемы их исторического развития, широкий круг тем сравнительно-исторического и типологического изучения языков. Первостепенное значение языковеды придают непосредственной связи лингвистических исследований с социальной практикой, ростом многонациональной советской культуры, в частности, работе в области лексикографии и лексикологии и т. д.

Большое внимание советские лингвисты уделяют разработке теоретических вопросов языкознания. Среди них свое немаловажное место начинают занимать и, вероятно, займут «проблемы текста». Но думается, что лишь в живой, тесной связи с основными вопросами советской лингвистики.

Одновременно с тем никак нельзя признать верным скептическое отношение к «проблематике текста». Видные языковеды не раз высказывали

мнение, что при изучении языковых единиц и категорий лингвистика до недавнего времени останавливалась на предложении как системном единстве. Более широкие языковые образования исследованию не подвергались — в силу его большой трудности. Идея системности, укрепившись в лингвистике, усилила стремление подвергнуть обстоятельному изучению сверхфразовые языковые образования, произвести анализ текста.

Но что такое «текст» с лингвистической точки зрения? Вот одно из его определений, принадлежащее видному советскому лингвисту, ныне покойному И. Р. Гальперину. «Текст, — пишет он, — это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющей определенную целенаправленность и прагматическую установку» [2].

Существует немало и иных определений текста. Однако преобладающая тенденция в различных его характеристиках состоит в том, чтобы установить основные признаки, границы текста, те внутренние связи, которые формируют его как единое целое. Важнейшими признаками текста нередко признаются его развернутость, последовательность, связность, законченность. В числе заметных его особенностей иногда отмечается название, заголовок, как это сделал, например, И. Р. Гальперин. В зависимости от теоретических взглядов исследователя «набор» признаков меняется, но все же он остается в пределах сравнительно небольшого их числа.

Очевидно, что отдельные признаки сами по себе не могут образовать определенную целостность. Необходимо найти основу, источник их единства. И тут выявляется заметное разнообразие исходных положений, идей. Не имея возможности давать их обзор, скажу лишь о некоторых точках зрения.

Совершенно естественно, что основой единства текста были названы тема, предмет, о которых идет речь в том или ином сверхфразовом словесном образовании. Однако быстро выяснилось, что тема и предмет в достаточной мере не определяют главных особенностей различных видов текста. Ведь в нем часто и довольно рельефно проявляется неодинаковое отношение к одному и тому же предмету сообщения, высказывания. Хорошо известно, что ясность, отчетливость темы никак не исключают совершенно разного ее освещения.

По мнению Н. И. Жинкина, решающая роль в формировании единства текста принадлежит замыслу его создателя, смысловой связи отдельных частей высказывания. Замысел охватывает текст в целом — от его начала и до конца, оказывая свое воздействие на его структурные свойства. Смысловые связи проникают не только в структуру предложения, но и соединяют «предложения между собой. Иначе говоря, происходит смысловая интеграция порядка предложений» [3, с. 78]. При этом существенной оказывается взаимозависимость целого и его составных частей, так же как отдельных компонентов высказывания и целого: «Без осмысленности предложений не может появиться осмысленный текст. Но и без текста не может возникнуть смысл в предложении» [3, с. 106]. Важное значение имеет информационно-коммуникативный характер текста, отражение в нем явлений действительности: «В конце концов смысл текста выражается в том, что обнаруживает соотношение вещей в определенных условиях времени и места» [3, с. 106].

Н. И. Жинкин постоянно пользуется семиотической терминологией. Однако он остается на позициях лингвистического и одновременно психологического истолкования текста. При несомненной ценности ряда высказываний исследователя в рассматриваемой книге ясно проявляются и слабости его теории. Н. И. Жинкин чаще всего обращается к мысли, суждениям говорящего, оставляя в тени письменный текст. А тут есть немало важные различия. На мой взгляд, психологический подход вряд ли что может дать для понимания, скажем, такого рода текстов, как научные

описания флоры и фауны, минеральных запасов, установленных геологами, и многих других. Да и самое понятие «замысел создателя» текста не отличается достаточной определенностью. Кроме того, известно, что в процессе возникновения текста, особенно крупного по своим масштабам, замысел его нередко серьезно трансформируется и приобретает во многом новое содержание. Поэтому структурообразующее значение замысла становится трудно различимым.

И. И. Ковтунова, указывая на то, что «одна из кардинальных проблем структуры текста, которую пытается разрешить современная наука, — это проблема связности и цельности текста» [4, с. 4], считает, что реальный ответ на этот трудный вопрос заключают в себе идеи В. В. Виноградова относительно образа автора, развитые им в ряде работ. «Внутреннее единство текста, — пишет она, — создается единством образа автора .. Образ автора присутствует во всех видах текстов» [4, 5]. Но ведь положения В. В. Виноградова о роли образа автора относятся к художественным произведениям и без серьезной аргументации вряд ли могут распространяться на любой текст.

Следует сказать, что виноградовская концепция образа автора применительно к художественной литературе имеет немало сторонников, но одновременно высказываются и существенные возражения против нее. Отмечается, что само представление об образе автора имеет противоречивый и в общем довольно расплывчатый характер. Но если по поводу идей о месте и значении этого образа в художественных произведениях можно спорить, то бесспорным, по моему мнению, является то, что в весьма разнообразных видах текстов существование этого феномена установить невозможно. В самом деле, есть ли какие-либо основания говорить о присутствии автора, тем более его образа, например, в документах деловой письменности, законодательных актах, сводках погоды и т. д. Да и как можно характеризовать образ автора во многих иных жанрах текста, если в них вообще не содержится никаких образов. Все это означает, что образ автора нельзя признать началом, формирующим структуру текста.

Лингвисты, стремящиеся установить первоисточник единства текста, разумеется, не забывают о его коммуникативных свойствах. И вместе с тем многие из них полагают, что самое главное открыть «лингвистические закономерности организации текста...» [1, с. 3]. Однако наряду с такого рода положениями мы иногда встречаемся и с суждениями иного характера. «Лингвистика в том виде, как она сформировалась к настоящему времени — пишет А. А. Леонтьев — почти полностью замкнулась на лингвистических признаках связи двух или нескольких высказываний (предложений) между собою» [5, с. 18—19]. В то же самое время, по мнению автора, «целостность текста неопределима лингвистически» [5, 28]. Эту мысль следует признать вполне справедливой. Сам А. А. Леонтьев решение проблемы видит в использовании достижений психолингвистики, идей, касающихся речевой деятельности. Но как уже отмечалось, психологический и, думаю, психолингвистический подход трудно признать верным путем к истине.

Язык — при множестве разных его качеств — явление прежде всего социальное. И когда рассматриваются сложные словесные образования, без прямого обращения к их общественной функции обойтись никак нельзя. В формировании текста как единого целого определяющую роль играет его назначение, для чего, ради каких целей он создается. Общая направленность совокушности высказываний включает в себя и тему вместе с подтемами, которые освещаются в этих высказываниях. Понятое в таком плане и объеме назначение текста обуславливает соответствующий отбор речевых средств, стилевые особенности сверхфразовых образований, смысловые связи внутри текста, основные начала его структуры.

Очевидно, что научный труд, скажем, по физике и газетный фельетон, законодательный акт и описание путешествия предполагают использование не только неоднородных речевых средств, но и различный способ их построения. Внутренние связи, логика развития мысли в каждом из этих

видов текста оказываются в достаточной мере несхожими. Явление это можно проследить и на иных примерах. Трудно оспаривать структурные, языковые различия в таких системах высказываний, как описание вновь открытой реакции в химии и биография художника, репортаж о космических исследованиях и сообщение о судебном процессе и т. д.

Структура текста формируется также под отчетливым влиянием точки зрения его создателя или создателей на объект высказываний. В зависимости от их позиции изменяется ход мысли, аргументация, трансформируются и смысловые связи.

Иногда высказывается мнение, что при анализе текста необходимо учитывать и особенности адресата. Однако ориентация на определенный круг воспринимающих текст не имеет всеобщего характера. Многие виды текстов среди них, например, законодательные акты, имеют в виду самую разнообразную и во многом разнородную аудиторию. И только при такой ориентации они выполняют свою функцию, свое назначение.

Таковыми слагаемыми, как назначение текста и точка зрения его создателей, специфика сложных языковых образований, естественно, не исчерпывается. Особому анализу подлежат лексические и грамматические особенности различных видов текста, их стилевые черты и др. Они имеют важное значение для характеристики структуры текста, его целостности. Эти слагаемые можно было бы назвать собственно лингвистическими, если считать, что назначение текста и точка зрения его создателей представляют собой внелингвистические факторы. Однако такой взгляд вряд ли можно признать верным. Дело в том, что, скажем, назначение текста — это не нечто внешнее по отношению к его лингвистическим свойствам, а его внутренний ориентир и регулятор, который обуславливает и саму конструкцию текста и его действие. Поэтому деление на лингвистические и внелингвистические факторы формирования текста в определенной мере является условным.

Немало языковедов защищает идею необходимости разработать всеобщую модель текста. Она-то, по их мнению, и позволит открыть, наконец, глубинные лингвистические закономерности его структуры. Но известно, что далеко не всякая универсальная категория может быть реальным средством для действенного понимания различных конкретных явлений. Есть обобщения, которые получили название «тощих абстракций». Они мало помогают выяснению динамики реальных процессов. Не является ли и универсальная модель текста такого рода «тощей абстракцией»?

Одновременно с тем некоторые лингвисты считают, что попытки создания всеобщей модели не приведут к существенным результатам и поэтому целесообразнее сосредоточить внимание на анализе отдельных видов текста, на анализе, который, вероятно, и даст возможность когда-либо установить некий общий коэффициент.

Вероятно, тут есть зерно истины, но при этом необходимо иметь в виду то обстоятельство, что некоторые виды текста обладают своей резко выраженной спецификой. Это в первую очередь относится к художественному тексту. Многие лингвисты долго и упорно стремились его унифицировать, «подвести» его под заранее установленный ранжир, но ощутимых успехов не добились. Неудачей окончились и попытки исследовать язык художественной литературы в качестве одного из стилей языка, наряду, например, со стилем деловой письменности.

Источники этих неудач в достаточной мере ясны. В своем анализе художественного текста, так же как и языка художественной литературы лингвисты обычно учитывали, а временами учитывают и сейчас лишь коммуникативную функцию языка, в то время как вместе с ней в художественном тексте находит свое рельефное выражение и выполняет главенствующую роль эстетическая функция языка. А это во многом меняет самую сущность проблемы. В отношении художественного текста вопросы о его назначении, точке зрения его создателя, о языковых средствах приобретают свой особенный характер.

Литературоведы в течение длительного времени немало потрудились над тем, чтобы со своих позиций ответить на эти вопросы. Однако при всей

своей специфике художественный текст или, точнее, тексты неправомерно изолировать от других сложных языковых образований. Необходимо исследовать связи и соотношения, существующие между ними.

Среди других тем несомненный интерес представляют, например, проблемы целостности и членения художественного текста. Что следует в данном случае считать текстом — произведение в целом — скажем, четыре тома «Войны и мира», шесть томов «Саги о Форсайтах», или можно найти иные внутренние критерии членения художественного текста? И главное — в какой мере это обогащает лингвистическое и литературоведческое понимание текста, словесного искусства? Есть и другие вопросы, подлежащие изучению в этой связи.

Семиотическое истолкование текста — и это уже отмечалось — резко отличается от лингвистического. Как семиотическая категория понятие «текст» получило распространение сравнительно недавно. Им не пользовались основоположник современной семиотики Ч. Пирс, такой видный исследователь в этой области, как Ч. Моррис, его мы не находим и в объяснительном словаре по семиотике, составленном А. Греймасом и Ж. Курте [см. 6, с. 483—550]. Тем не менее понятие это в последние десятилетия стало популярным в семиотической литературе и ему придается очень важное значение.

Среди специалистов по проблемам семиотики ведутся споры о предмете, границах этой дисциплины. Одни исследователи считают, что семиотика изучает знаковые системы, которые имеют своей целью передачу информации, являются средством коммуникации, в основе которой лежит определенное намерение (*communicative intention*). Другие видят в семиотике «науку о любых объектах, несущих какой-либо *смысл*, значение, информацию (такими могут быть одежда, моды, меблировка помещений, планирование и архитектурное оформление внутреннего и внешнего пространства и т. д.)» [7, с. 11]. Противники ограничительной семиотики подчеркивают, что «коммуникативный акт может иметь место и тогда, когда нет намерения его совершать со стороны отправителя, часто не существует отправителя вообще в принятом смысле этого слова» [8]. Ч. Пирс к числу знаков относил изображения (иконические знаки), индексы и символы. Индексы, согласно взглядам ученого, это разного рода признаки явлений, то, что можно назвать сигналами событий (например, дым от пожара в лесу) и т. д. Часто знаками признаются симптомы болезней и многие иные признаки процессов, происходящих в жизни человека и в природе.

С этой точки зрения любая совокупность знаков, их значений может рассматриваться как семиотический текст. Но есть и более ограничительные его определения. Вот одно из них: текст — «любая семантически организованная последовательность знаков» [9]. Но как бы ни характеризовать текст в семиотическом его понимании — широко или более ограничительно — следует признать, что очертания этой категории зыбки, весьма неопределенны. Ее содержание слишком аморфно и неясно для того, чтобы служить основанием, исходным началом для развития целого направления в современной науке.

Использование этой категории уже при анализе явлений культуры приводит ко многим недоразумениям и отнюдь не помогает их более глубокому восприятию и пониманию. Какие новые черты и стороны мы откроем в музыкальных произведениях — симфонии, оратории, опере, если скажем, что перед нами семиотические тексты? Странник рассматриваемой теории, вероятно, сообщит нам, что все они имеют свой смысл. Но это очевидно и без специальных разъяснений. Далее — обнаружится некоторое сходство с «семиотически организованной последовательностью знаков» в других знаковых системах. Но вряд ли это обогатит наши представления о симфониях Чайковского и Прокофьева, об операх Верди и Мусоргского.

Вместе с тем категория «текст» накладывает на музыкальное произведение сетку несвойственных ему черт и признаков, искажает его художественную природу. Одно дело смысловые связи, возникающие в словесной структуре, и совсем иное — внутренние связи и соотношения,

раскрывающиеся в музыкальном произведении! Оно и создается и воспринимается иначе, чем словесный текст. Воспринимая комплекс чувств, переживаний, выраженных в музыкальном произведении, рядовой (да и не только рядовой) слушатель (он же и «читатель») чаще всего оказывается не в состоянии сколько-нибудь отчетливо охарактеризовать таинственную семантику музыкального «текста».

Подобно другим творениям культуры, архитектурное произведение также «текст». Он обращен не только к специалистам, и надо думать, не столько к ним, сколько ко всем тем, кому приходится видеть, созерцать создания архитектуры. Положение со «чтением» «текста» в этом случае представляется еще более сложным, чем с освоением музыкального произведения. Для обычного зрителя тут возникают непреодолимые трудности. И потому этот «текст» так часто оказывается «непрочитанным». Иначе говоря, утрачивается значимость его «смысла».

Следя логике семиотических построений, «текстом» надо считать и город — как обширную совокупность многих архитектурных сооружений, которым присуща определенная «семантика». Но чем больше объектов, в том числе относящихся к различным эпохам, охватывает «текст», чем сильнее их «несхожесть», тем рельефнее выступают глубокие противоречия, которые заложены в самом содержании «семиотического текста».

Стремление объединять и уравнивать «несхожее», неоднородное отчетливо проявляется в различного рода семиотических построениях, касающихся искусства. Оно находит свое выражение прежде всего в перенесении свойств, особенностей литературы на другие виды художественной культуры. В одной из своих статей Ю. М. Лотман указывает, что повествовательные (нарративные) тексты литературы оказывают большое влияние на формирование различных моделей нарративного текста в искусстве в целом. «Все виды искусства, — пишет он, — могут порождать повествовательные формы. Балет XVIII—XIX вв. — повествовательная форма в искусстве танца, а Пергамский алтарь — типичный нарративный текст в скульптуре. Барокко создало повествовательные формы архитектуры» [10, с. 385].

Более того, иконические искусства (живопись, скульптура) «заинтересованы в возможности выбора типа наррации, а не в автоматическом получении его из специфики материала. Это приводит к тому, что словесное повествование становится революционизирующим элементом для имманентно иконической наррации и наоборот» [10, с. 386].

«Наоборот» здесь означает, что одновременно с воздействием повествовательных форм литературы на искусство происходит «агрессия иконизма в словесное искусство..., слово перестает быть той оцутимой и бесспорной единицей, которой оно является вне поэзии» [10, с. 386]. Заимствуя у других видов художественной культуры их свойства и особенности, литература в сущности утрачивает некоторые важнейшие свои качества как искусство слова. Со всей категоричностью Ю. М. Лотман утверждает: «...единицей в поэтическом тексте становится не слово, а текст как таковой...» [10, с. 386]. Реальный смысл этого противопоставления трудно понять, согласиться же с решительным отрицанием роли слова в литературе невозможно.

Очевидной в этой связи становится нивелировка различных видов искусства, забвение, негативное отношение к их специфике, которая, как известно, имеет огромное значение для понимания художественной культуры в целом, ее отдельных родов, их современной социально-эстетической функции. Раскрытие диалектического единства общих и специфических законов развития многих видов искусства подменяется принципом господства всеобщего, торжеством своего рода абсолютной идеи. Однако отрицание специфического, своеобразного при изучении искусства никогда не приводило к полноценным научным результатам.

Основной признак текста в его семиотическом освещении состоит в том, что текст является источником информации. Однако произведения искусства заключают в себе не только информацию о действительности, но и сложный мир чувств, настроений, стремлений человека. Они захва-



тывают читателя, слушателя, зрителя не только своими идеями, но и эмоциональным отношением к жизни, ощущением прекрасного и возвышенного. А это куда шире и глубже «семантически организованной последовательности знаков».

Как уже отмечалось, в семиотических работах наблюдается, наряду с ограничительным, — расширенное понимание знака и знаковых систем. Надо думать, что это означает и соответствующую трансформацию категории «семиотический текст». При расширенном понимании знака и знаковых систем в сферу семиотических исследований включается трудно обозримое количество явлений и процессов. В сущности ведь каждое событие в жизни человека, то или иное явление природы, каждый предмет несут определенную информацию — будь то лес, зеленый или уже сбросивший с себя листву, поле, засеянное различными сельскохозяйственными культурами, оно же после уборки урожая, темные тучи, предвещающие дождь, озеро, заросшее водорослями, почва в ее разных видах, цветы, растения, минералы и т. д. и т. д. Да и сам человек, люди разных возрастов и национальностей, согласно семиотической теории, являются источниками информации и потому также представляют собой своеобразный текст.

Несостоятельность такого рода идей очевидна. Но и в том случае, когда так или иначе ограничивается перечень знаковых явлений — «текстов», — возникает то, что обычно называют «дурной бесконечностью». Ее, как известно, научная мысль остерегается. И это совершенно понятно. Наука успешно развивается тогда, когда в достаточной мере ясно очерчивается объект исследования. Его аморфность, неопределенность не только весьма затрудняет научные исследования, но нередко порождает бесплодные усилия ученого.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Синтаксис текста. Отв. ред. Золотова Г. А. М., 1979.
2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981, с. 18.
3. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982.
4. Костунова И. И. Вопросы структуры текста, в трудах акад. В. В. Виноградова. — В кн.: Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. *Виноградовские чтения*. XI. М., 1982.
5. Леонтьев А. А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации. — В кн.: Синтаксис текста.
6. Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка. — В кн.: Семиотика. Сост., вступ. ст. и общ. ред. Степанова Ю. С. М., 1983, с. 483—550.
7. Степанов Юр. [С]. В мире семиотики. — В кн.: Семиотика, с. 11.
8. Baer E. S. Some elementary topics of general semiotic theory. — *Semiotika*, 1980, № 4, p. 351.
9. Успенский Б. А. Структурная общность различных видов искусства на материале живописи и литературы. — In: *Recherches sur les systèmes signifiants. Symposium de Varsovie*. 1968. The Hague — Paris, 1973, p. 443.
10. Лотман Ю. М. Замечания о структуре повествовательного текста. — Труды по знаковым системам. VI. Вып. 308. Тарту, 1973.

СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.

СУЩЕСТВОВАЛА ЛИ ФИННО-ВОЛЖСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ  
ОБЩНОСТЬ?

Существование финно-волжской общности как исторического этапа в процессе постепенного распада уральского праязыка является для некоторых исследователей финно-угорских языков своего рода аксиомой.

«Примерно 2500—3000 лет до н. э., — писал В. И. Лыткин, — от народа, говорившего на финно-угорском языке-основе, отделилась восточная ветвь, послужившая впоследствии базой для образования народов, говорящих на угорских языках, т. е. на венгерском, хантыйском и мансийском. Часть народа, оставшаяся после отделения угров, представляла продолжительное время языковое единство, так называемое пермско-финское единство.

Во II тыс. до н. э. из этого единства выделилась пермская ветвь — общие предки коми и удмуртов. Оставшаяся после отделения пермской ветви часть финно-угров составляла прибалтийско-финско-волжское, или волжско-финское, единство до тех пор, пока от этого единства не отделилась прибалтийско-финская ветвь. Окончательное разделение волжско-финского единства на две части — прибалтийско-финскую и волжскую — произошло задолго до нашей эры» [1, с. 24—25]. Подобные высказывания можно найти у многих авторов (см. [2—5] и др.).

Вместе с тем указывается, что «эпоха финно-волжской общности не была продолжительной (с 1500 г. до 1000 г. до н. э.), и связь относящихся к ней племен могла быть довольно слабой... Волжские финно-угорские языки — марийский и мордовские — не состоят в таком близком родстве друг с другом, как, например, пермские или обско-угорские языки... совместное проживание финно-волжских народных групп продолжалось очень короткое время и связь между ними могла быть очень слабой» [1, с. 52].

Возможное существование финно-волжской общности никто из финно-угроведов не отрицает. В некоторых работах высказывается сомнение по поводу существования так называемой волжской общности. При этом имеется в виду марийско-мордовская общность.

Так, например, венгерский ученый Я. Гуя заявляет: «Представляется более вероятным мнение о том, что древней волжской языковой общности не было, а мордовские и марийские языки — самостоятельные ветви финно-пермской языковой общности» [1, с. 37]. Мнение Я. Гуя полностью разделяет другой венгерский финно-угровед Г. Береcki: «Мордовский и черемисский языки сильно отличаются друг от друга, о чем убедительно свидетельствуют исследования последних лет. В этих языках нет ни одной особенности, которая восходила бы ко времени совместного существования финно-волжских языков. Поэтому нет никаких причин для утверждения о существовании общего волжского языка-основы, из которого постепенно возникли черемисский и мордовский языки» [6].

Того же мнения придерживается и Д. Гено в статье «Замечания о мордовско-марийских грамматических совпадениях». «Сравнение общих морфологических и синтаксических черт в мордовских и марийском языках со сходными чертами других финно-угорских языков свидетельствует о том, что вопрос никак не касается типично „волжских“ явлений. Суффиксы генитива, аккузатива, инессива, иллатива в мордовских и марийском языках имеют соответствия, между прочим, в финском языке. Лично-притяжательные суффиксы — все финно-угорского происхождения.

Грамматическое выражение сравнительной степени прилагательных следует древнему финно-угорскому образцу. Имена числительные 1—9, 100 и 1000 показывают совпадения в различных финно-угорских языках, так же, как и личные (1 и 2 л. ед. и мн. ч.), указательные и вопросительные местоимения, глагольные личные окончания настоящего времени (1 и 2 л. ед. и мн. ч.), показатели прошедшего времени. Будущее время выражается сочетанием вспомогательного глагола со значением „начинать“ и инфинитива основного глагола, как, например, в венгерском языке» [7, с. 121].

Изучение проблемы финно-волжского единства требует особых методов исследования. Проблема эта действительно очень сложная. Однако методы, применяемые критиками этой гипотезы, также далеки от совершенства. Так, например, Д. Гено сравнивает притяжательные суффиксы в мордовском и марийском языках и делает отсюда вывод, что они имеют соответствие в родственных языках и не обнаруживают какой-либо особой волжской специфики [7, с. 117].

Действительно, в волжско-финских языках встречаются элементы, которые существуют и в других финно-угорских языках, но чисто формальное указание на их наличие в разных языках еще не означает, что сравниваемые элементы не имеют особой специфики.

Так, в мордовском и марийском языках имеются следы комитатива на *-ке (-ge)*, ср. мар. *вож-ге* «с корнем», эрзя-морд. *кемзисемге* «семнадцать» (букв. «десять с семью»). У суф. *-ге* есть соответствие. Это суффикс комитатива *-код* в коми языке, ср. *ныв-код* «с девушкой». Специфика волжских языков состоит в том, что суф. *-ге* не имеет наращения *-д*. Мордовский суффикс многократных глаголов *-ле*, несомненно, генетически связан с коми-зырянским суффиксом многократных глаголов *-лы*, но их функции не совпадают полностью.

Финскому притяжательному суффиксу 3-го л. ед. и мн. числа *-nsa* соответствует в коми-зырянском языке притяжательный суффикс 3-го л. ед. и мн. числа *-ыс*. Однако эти два суффикса не имеют абсолютного формального и функционального тождества. Поэтому указание на формальное соответствие не может служить аргументом при попытке опровержения гипотезы о былом существовании финно-волжской языковой общности.

Сходный форматив нельзя рассматривать изолированно. Необходимо прежде всего установить, с какими специфическими особенностями конкретного языка он сочетается. Если он сочетается с признаками, не типичными для языков финно-волжской общности, то этот факт уже не может служить опровержением гипотезы о возможном существовании финно-волжской или волжской общности.

Вопрос о существовании волжской общности нам представляется целесообразным рассмотреть в связи с проблемой существования финно-волжской языковой общности.

Для изучения проблемы финно-волжского языкового единства требуется особый метод, который прежде всего должен исходить из предположения о том, что языки финно-волжской общности некогда имели какую-то общую территорию. На изолированных территориях могли возникнуть или разные языковые особенности, или сходные явления, имеющие характер случайных конвергенций. Наличие такой территории должно быть подтверждено или лингвистическими, или лингвистическими средствами (см. об этом ниже).

Для доказательства гипотезы о былом существовании финно-волжской языковой общности необходимо найти специфические изоглоссы, типичные для определенных языков, но не характерные для других языков данной семьи. В чем состоит специфичность этих изоглосс, можно пояснить на вполне конкретных примерах.

Для языков бывшей финно-волжской общности характерно наличие специального направительного падежа, так называемого латива на *-с*, ср. эрзя-морд. *кудо-с* «в дом».

Степень сохранности *с*-ового латива в современных прибалтийско-финских языках и в финно-угорских языках волжской группы разная. В современных прибалтийских языках *с*-овый латив можно считать исчез-

нувшим падежом. Как реликт он сохраняется в виде коаффикса в составе падежных показателей внутренне-местной серии, ср. фин. *talo-s-ta* «из дома», *talo-s-sa* «в доме» (<*talo-s-na*), эст. *raamatu-s* «в книге», *keldri-s* «в погреб», *küla-s-t* «из деревни» и т. д.

Остатки латива на -s в финском и эстонском представлены в некоторых наречиях, ср. фин. *ulo-s* «вон», *ala-s* «вниз», *ylö-s* «вверх», *minne-s* «до», эст. *alas-pidi* «вниз» и т. д.

В саамском языке обнаруживается сходное состояние. С-овый латив прослеживается в сложном по своему происхождению окончанию местного падежа на -st, например, *čaže-st* «в воде», *go-s-t* «где» и т. д., а также в отдельных наречиях, ср. норв.-саам. *vuola-s* «вниз», *vuosta-s* «против», *boja-s* «вверх» и т. д.

Несколько более употребителен с-овый латив в марийском языке, но и здесь он обнаруживает все признаки рецессивного падежа, ср. *Василий Иванович, газетым налын, диване-ш шинче* «Взяв газету, Василий Иванович сел на диван»; *Омса выштареш кок тёрза, когынекат кудвече-ш лектеш* «Напротив двери два окна, оба смотрят во двор» [8].

Окончание с-ового латива в виде коаффикса содержится в окончаниях некоторых марийских местных падежей, ср. мар. *чодра-ш-те* «в лесу», *чодра-ш-ке* «в лес» и т. д. Довольно часто встречается оно и в наречиях, ср. *поче-ш* «вслед за», *олме-ш* «вместо», *уэ-ш* «снова», *торе-ш* «поперек» и т. д.

В мордовских языках латив на -с, в отличие от марийского, употребляется довольно часто и регулярно. Ср. эрзя-морд. *Панызе айгоронть дикойстель-с* «Погнал он жеребца в дикую степь»; *Раг берег-с ветизи* «На берег Волги привел его» [9, с. 137].

В виде коаффикса окончание с-ового латива представлено в окончаниях некоторых местных падежей, ср. эрзя-морд. *кудо-с-о* «в доме» (<*кудо-с-но*), *кудо-с-то* «из дома» и т. д.

Обнаруживается с-овый латив также в наречиях, ср. эрзя-морд. *ланг-с* «на (что-нибудь)», *од-с* «заново», *мей-с* «зачем» и т. д.

Самостоятельное появление с-ового латива в вышеуказанных языках маловероятно. Он мог возникнуть в эпоху финно-волжской языковой общности. Во всех других уральских языках с-овый латив отсутствует. Так же маловероятно самостоятельное использование с-ового латива в роли коаффикса. Это явление может быть отнесено к эпохе финно-волжской языковой общности.

По сравнению с другими уральскими языками родительный падеж является наиболее оформленным падежом. Как известно, в пермских языках родительный падеж не получил полного распространения. Он не употребляется в тех случаях, когда определяемое им имя существительное выступает в роли прямого дополнения. Здесь он регулярно заменяется отложительным падежом, ср. *Ме аддзыл дядьмысь писё* «Я видел сына дяди». Все это свидетельствует о том, что родительный падеж в пермских языках возник относительно поздно. Любопытно заметить, что он никогда не выступает в послеложных конструкциях, ср. коми-зыр. *керка гё-гёрын* «около дома», *во чёж* «в течение года» и т. д.

В обско-угорских языках родительный падеж полностью отсутствует, ср. манс. *jā wat* «берег реки», хант. *johan xonə* (букв. «река берег»).

В языках, некогда принадлежавших к финно-волжской общности, родительный падеж может выступать в послеложных конструкциях, ср. фин. *kuoleman jälkeen* «после смерти», *pään päällä* «над головой», эрзя-морд. *пильгень ало* «под ногами», луг. мар. *мыйн верч* «из-за меня» [10, I]. То же явление наблюдается и в саамском языке.

В языках, входивших в финно-волжскую общность, имена существительные с притяжательными суффиксами не имели особой формы родительного падежа, что отражается и в современных языках, ср. фин. *aikamme sankari* «герой нашего времени», норв.-саам. *ak'kum* «моей бабушки», *ak'kud* «твоей бабушки» и т. д.

Аналогичное явление наблюдается в эрзя-мордовском языке, ср. *кудом* «моего дома», *кудот* «твоего дома», *кудонзо* «его дома».

Показатели наклона в языках финно-волжской группы не отличаются единообразием. Тем не менее можно утверждать, что в глубокой древности в этих языках существовало наклонение с показателем *-ne*. Так, в марийском языке оно представлено желательным наклонением с суф. *-ne*, ср. луг. мар. *толнем* «хочу (намерен прийти)», *толнет* «хочешь (намерен прийти)» и т. д., в финском — вероятным наклонением, имеющим тот же показатель, ср. *sanoen* «возможно, я скажу», *sanoet* «возможно, ты скажешь» и т. д.

Наклонение с показателем *-ne* когда-то существовало и в мордовском языке. Древнее условное (или условно-вероятное) наклонение с суф. *-na*, *-ne* спорадически встречается только в отдельных диалектах эрзянского языка, например, *mol'n'än'ät* «если ты пойдешь», *raman'esa* «если я куплю» [11, с. 317].

Это наклонение существует также в диалектах саамского языка. Вероятное наклонение в восточном диалекте саамского языка имеет показатель *-n-*, ср. *korč-ne(m)* «возможно, соберу», *korč-n-eh* «возможно, соберешь» и т. д. [11, с. 237].

С большой долей вероятности можно предполагать наличие в языках финно-волжской общности коэфф. *-л-* в окончаниях некоторых местных падежей.

Коэфф. *-л-* имеется во всех прибалтийско-финских языках, ср. фин. *pellon-l-ta* «с поля», карел. *lambah-l-da* «от овец», веп. *kala-l-e* «рыбе», вод. *kala-l-ta* «от рыбы», эст. *lambade-l-t* «от овец» и т. д.

*Л-*овый коэффикс имеется также в марийском языке, ср. *ял-л-ан* «к деревне». В настоящее время он фактически существует в дательном падеже, но в прошлом имел более широкое распространение.

В саамском языке коэфф. *-л-* исчез, но его реликты сохраняются в некоторых наречных формах, ср. норв.-саам. *vuol-de* «от», *baje-l-d* «сверху», *olgo-l-d* «снаружи», *siske-l-d* «изнутри», *vuole-l-d* «снизу» и т. д.

В мордовских языках *л-*овый коэффикс сохраняется в виде реликта только в некоторых наречных образованиях, ср. эрзя-морд. *удало* «позади» (<*удāl-на*), *vasolo* «далеко» (<*vaso-l-no*) и т. д.

Для того чтобы получить представление о состоянии языков, некогда входивших в финно-волжскую общность, можно использовать дедуктивный метод. Вывод о характере этого состояния может быть сделан на основании изучения данных современных языков.

Так, например, можно предполагать, что в языках, входивших в финно-волжскую общность, показателем мн. числа был суф. *-m*, ср. эрзя-морд. *кудо* «дом» — мн. ч. *кудом*, фин. *talo* «дом» — мн. ч. *talot*, др.-мар. *чодра* «лес» — мн. ч. *чодрат* и т. д. Исключение в этом отношении представляет саамский язык, где в роли суффикса мн. числа выступает *-k*. Следы этого суффикса имеются и в южно-эстонском диалекте.

Необходимо решительно отказаться от наивного представления об изоглоссах, характерных для языковой общности. В среде многих лингвистов распространено мнение, будто бы специфическая изоглосса должна охватывать все языки данной общности, в противном случае она не будет доказана.

Здесь важно, чтобы специфическая изоглосса охватывала абсолютное большинство языков, входящих в общность. Следует также иметь в виду, что общая изоглосса никогда не имеет одного уровня. Общая изоглосса имеет зону сгущения, наряду с которой существуют зоны затухания или менее интенсивного распространения данного явления. Например, коэфф. *-л-* в составе окончаний некоторых местных падежей наибольшее распространение получил в прибалтийско-финских языках. В марийском он распространен меньше, а в мордовских и саамском языках практически исчез и сохраняется только в реликтовом виде.

Основа слова в уральском праязыке в абсолютно преобладающем числе была двусложной. Благодаря интенсивно происходившим процессам разрушения конца слов во многих уральских языках древние формы именительного падежа подверглись значительным изменениям.

Особенно характерными эти изменения являются для таких языков, как обско-угорские и в известной степени марийский. Можно предпола-

гать, что в языках финно-волжской языковой общности основа слова оставалась двусложной. Двусложная основа слова сохраняется в финском и саамском языках, ср. фин. *kuusi*, саам. *guossâ* «ель», фин. *puoli*, норв.-саам. *puolla* «стрела», фин. *uusi* ~ *uute*, норв.-саам. *odda* «новый» и т. д.

Немало случаев сохранения древней двусложной основы встречается и в мордовских языках, ср. эрзя-морд. *pire*, мокша-морд. *perя* «огород, усадьба», фин. *piiri* «круг», норв.-саам. *birrá* «около», эрзя-морд. *piзэ*, мокша-морд. *piза*, фин. *pesä*, норв.-саам. *baesse* ~ *baese* «гнездо»; эрзя-морд. *кеньже*, мокша-морд. *кеньжя*, фин. *kynsi* ~ *kynte*, норв.-саам. *gazzá*, луг. мар. *күж*, удм. *гыжы*, коми-зыр. *гыж* «ноготь»; эрзя-морд. *сельме*, мокша-морд. *сельме*, фин. *silmä*, норв.-саам. *čal'bme* ~ *čal'te*, коми-зыр. *син* «глаз»; эрзя-морд. *теле*, мокша-морд. *тяла*, коми-зыр. *тол*, тбв, мар. *тел*, удм. *тол*, фин. *talvi* «зима»; эрзя-морд. *сюла*, мокша-морд. *сюла*, фин. *suoli*, норв.-саам. *čoaalle* ~ *čoaie*, коми-зыр. *сюл*, хант. *сол*, *сyt* «кишка».

Конечный гласный основы в мордовских языках может исчезать, оставляя после себя след в виде заканчивающего слово палатализованного согласного, ср. эрзя и мокша-морд. *ведь*, фин. *vesi* ~ *vete*, мар. *вүд*, манс. *vit*, коми-зыр. *ва* «вода»; эрзя-морд. *кедь*, мокша-морд. *кядь*, фин. *käsi* ~ *käte*, саам. *giettä* ~ *gieda*, мар. *кид*, коми-зыр. и удм. *ки*, венг. *kéz* «рука».

И лишь в более редких случаях в мордовских языках конечный гласный исчезает бесследно, ср. эрзя-морд. и мокша-морд. *од*, фин. *uusi* ~ *uute*, норв.-саам. *odda* «новый» и т. д.

Конечные гласные древних падежных суффиксов в языках финно-волжской общности, по-видимому, сохранялись, ср. эрзя-морд. *лей-га* «по реке», луг. мар. *олаш-ке* «в город», мар. *вел-ке* «в сторону», *ончы-ко* «вперед», саам. *ik-ko* «ночью» и т. д. Здесь сохранилась гласная окончания древнего латива на *-ка*. В фин. *kauka-na* «далеко», *koto-na* «дома», *alla* «под» (< *alna*), эрзя-морд. *кизна* «летом» и мар. *ончыл-но* «впереди» также сохраняется конечный гласный окончания. Вряд ли приходится сомневаться в том, что эти явления отражают состояние языков финно-волжской общности.

В языках финно-волжской общности, по-видимому, не было специальных показателей залогов. Возникшие позднее показатели залогов, например, в саамском, мордовском и марийском, не обнаруживают единого пути образования.

В языках финно-волжской общности не было чередования ступеней. Это явление представлено главным образом в прибалтийско-финских языках (и то не во всех) и в саамском. Мордовские языки и марийский не обнаруживают никаких следов чередования ступеней. |

В этих же языках не было аналитических будущих и прошедших времен. Существующие в современном саамском, мордовском, марийском и прибалтийско-финских языках времена этого типа обнаруживают явно позднее происхождение.

Вряд ли существовало в языках финно-волжской общности объектное спряжение. Оно в настоящее время имеется в мордовских языках. Были попытки обнаружить его следы в саамском языке. М. Корхонен, ссылаясь на мнение А. Несхейма и П. Равилы, считает, что различие в спряжении презенса и имперфекта в саамском языке отражает прежнюю дифференциацию субъектного и объектного спряжений [12].

Все это маловероятно. Появление объектного спряжения в мордовских языках можно объяснить по-иному.

В языках, входивших в финно-волжскую общность, некогда было распространено *n*-овое причастие, ср. марийские формы деепричастий типа *налын* «взяв», *возын* «написав», которые в прошлом были причастиями и означали «взявший, написавший».

Так называемое *n*-овое причастие когда-то было распространено в мордовских языках, ср. мокша-морд. *кундань нармунь* «пойманная птица», *пекстань орта* «запертые ворота» и т. д. Причастия этого типа характерны также для прибалтийско-финских языков, ср. финские причастные фор-

мы типа *ottanut* «взявший», где причастный суф. *-n* соединен с суф. *-t*, ср. также саамские диалектные формы типа *bargan* «работавший», *boat-ten* «пришедший» и т. д.

Саамский язык дает возможность реконструировать систему притяжательных суффиксов мн. числа, типичную для эпохи финно-волжской языковой общности: 1-е л. *-mek*, 2-е л. *-tek*, 3-е л. *se(k)*, ср. норв.-саам. *akku-mek* «наша бабушка», *akku-dek* «ваша бабушка», *akku-sek* «их бабушка». Данные финского, марийского и мордовских языков позволяют установить, что эти архаические суффиксы могли еще иметь суф. *-n*, указывающий на количество обладаемых, т. е. 1-е л. *-nmek*, 2-е л. *-ntek*, 3-е л. *-nse(k)*.

Таким образом, для выявления состояния какой-либо языковой общности может быть применен обычный сравнительно-исторический метод.

В языках финно-волжской общности показатель мн. числа *-m* выступал, по-видимому, очень нерегулярно. Авторы книги «Современный марийский язык» отмечают, что формы мн. числа имен существительных в марийском языке употребляются в сравнении с другими как родственными (финским, мордовскими), так и неродственными языками (русским, немецким) редко.

В марийском языке встречаются случаи, когда мн. число существительных вообще ничем не выражено, например, *Изи кайык чашкерлаште шергылтарен муралта* «Маленькие птички звонко поют в чаше». Вместо ожидаемого *изи кайык-влак* в данном случае употреблена форма ед. числа *изи кайык*.

В мордовских языках в так называемом основном склонении показатель мн. числа не употребляется, ср. эрзя-морд. *лейсэ* «в реке» и «в реках», *кудосо* «в доме» и «в домах».

В период финно-волжской общности не было суффикса сравнительной степени, поскольку в современных языках, некогда принадлежавших к данной общности, он выражается разными способами, ср. фин. *nuori* «молодой», *nuoretä* «моложе», эрзя-морд. *лембе* «теплый», *седе лембе* «теплее», луг. мар. *тура* «крутой», *турараж* «круче».

Вероятнее всего она выражалась сочетанием формы прилагательного в исходном падеже с именем существительным, ср. эрзя-морд. *чиде валдо* «светлее солнца», мар. *Юл эгер Какшан эгер деч келге* «Река Волга длиннее и шире реки Кокшаги».

С полной уверенностью можно сказать, что в языках финно-волжской общности отрицание при глаголе выражалось формами специального отрицательного глагола. Исчезновение этих форм в эстонском и частичное исчезновение в мордовских языках — явно позднее явление.

Названия десятков в языках финно-волжской общности образовались по определенной формуле: единица первого десятка + десять. Отчасти это сохранилось и в прибалтийско-финских языках, ср. фин. *kaksikymmentä* «двадцать», *kolmekymmentä* «тридцать», *neljäkymmentä* «сорок», эст. *kakskümmend* «двадцать», *kolmkümmend* «тридцать», луг. мар. *кум-ло* «тридцать», *ныл-ле* «сорок», *вип-ле* «пятьдесят», *куд-ло* «шестьдесят», мокша-морд. *нильгемьень* «сорок», *сизьгемьень* «семьдесят» и т. д. Единственное исключение из этого правила в мордовском — числительное *комсь* «двадцать». В саамском языке: *guok'tě-loge* «двадцать» (два десять), *guolb'mā-loge* «тридцать» (три десять), *vit'tā-loge* «пятьдесят» (пять десять) и т. д.

Особенность финно-волжских языков состоит в том, что в них отсутствуют названия десятков, типичные для пермских и обско-угорских языков, ср. коми-зыр. *ветымын* «пятьдесят», *квайтымын* «шестьдесят», *нелямын* «сорок», манс. *хус* «двадцать», *ват* «тридцать», *налиман* «сорок», *атпан* «пятьдесят», *хотпан* «шестьдесят», венг. *ötven* «пятьдесят».

Суф. *-ne-* в некоторых языках финно-волжской общности обозначает у глаголов постепенное накопление какого-либо качества, ср. фин. *kove-ne-* «делаться тверже», *lämpe-ne-* «согреваться», вепс. *hoik-ne-* «становиться тонким», *sage-ne-* «густеть» и т. п., эст. *vana-ne-* «стареть» и т. д. Для пермских и обско-угорских языков этот суффикс нетипичен. Поэтому его можно считать достоянием языков финно-волжской языковой общности.

Можно предполагать, что в языках данной языковой общности не было падежа партитива, типичного для современных прибалтийско-финских языков.

С полной уверенностью можно утверждать, что в языках финно-вожжской языковой общности было представлено два типа прошедшего времени — прош. время на *-s'* и прош. время на *-j*, ср. мар. *ыле* «он был» и *возыш* «он написал», эрзя-морд. *ловнынъ* «я читал» и *видсь* «он сеял».

Следы *s'*-ового прош. времени также обнаруживаются в прибалтийско-финских языках, ср. эст. диал. *esin anna* «я не дал», *esin anna* «ты не дал», лив. *iz ānda* «ты не дал».

В языках финно-вожжской общности в склонении личных местоимений притяжательные суффиксы не участвовали, ср. коми-зыр. *меным* «мне», хант. *манэм* «мне».

Гласные первого слога уральского праязыка в языке финно-вожжской общности не подвергались существенным изменениям. ЛабIALIZация этих гласных в марийском языке — вторичное явление.

### Островные изоглоссы

Для современных финно-угорских языков, некогда входивших в финно-вожжскую языковую общность, более характерны островные изоглоссы, свойственные только некоторым языкам, но далеко не всем. Объяснение природы этих изоглосс связано с большими трудностями. Возможно, что островные изоглоссы — это остатки некогда более широких изоглосс, свойственных всем языкам вожжско-финской общности. Не исключено также и то, что при распаде вожжско-финской общности образовались более мелкие группы и одинаковые изоглоссы образовались в пределах этих более мелких групп.

### Марийско-мордовские общие изоглоссы

Марийский и мордовские языки связывает некоторое количество общих слов, ср.: мар. *ава* «мать», эрзя-морд. *ава* «женщина, мать»; мар. *муро*, эрзя-морд. *муро* «песня»; мар. *кочкаш* «есть», эрзя-морд. *кочкамс* «выбирать»; мар. *кушташ*, эрзя-морд. *киштежс* «плясать»; мар. *ший*, эрзя-морд. *сия* «серебро»; мар. *тошто*, эрзя-морд. *ташто* «старый»; мар. *понго*, эрзя-морд. *панго* «гриб» и т. д.

Личные глагольные окончания 1-го и 2-го л. мн. числа в марийском и эрзя-мордовском языках образуют определенное сходство, ср. мар. *налы-на* «мы берем», *налы-да* «вы берете», эрзя-морд. *ловнота-но* «мы читаем», *ловнота-до* «вы читаете».

Притяжательный суффикс 3-го л. мн. числа в марийском и мордовском языках содержит одинаковые составные части. Этот суффикс имеет в ед. числе полногласную форму, а во мн. числе он употребляется без гласного, ср. мар. *пӧрт-шӧ* «его дом», но *пӧрты-ш-т* «их дома», эрзя-морд. *кудо-зо* «их дом», но *кудо-с-т* «их дома».

В формах мн. числа притяжательный суффикс представлен формантом *с* (в марийском *с* перешло в *ш*), к которому прибавлено окончание мн. числа *-т*.

Марийский язык объединяет с мордовским сходство в образовании указательных местоимений, состоящих из нескольких основ, ср. мар. *ти-де* «этот», *се-де*, *со-де* «тот». *Ти-де* состоит из местоименной основы *ти-* (более древняя форма *те-*), к которой прибавлен усилительный суфф. *-де* местоименного происхождения. То же самое имеет место и в мордовском языке, ср. эрзя-морд. *се-те* «тот», составленное из двух местоименных основ *се-* и *те*. Полной аналогией эрзя-морд. *се-те* «тот» является мар. *се-де*.

В марийском языке существует деепричастие на *-меке*, например, *кочкаш* «есть», *кочкеке* «поев», *мураш* «петь», *мурымеке* «попев».

Сходное по звучанию деепричастие на *-мок* встречается в мокша-мордовском языке, например: *сргозетмок шабась аваргодсь* «проснувшись, ребенок заплакал» [9, с. 326].



В марийском и мордовском языках некогда существовал совместный падеж (комитатив) на *-ке(-ге)*, ср. мар. *вож-ге* «с корнем», *уло еш-ге* «всей семьей» и т. д. В мордовском языке этот суффикс обнаруживается в названиях числительных, ср. эрзя-морд. *кем-зисем-ге* «семнадцать», букв. «десять с семью».

В марийском и мордовском языках существует инфинитив, образованный на базе *s*-ового направительного падежа, ср. мар. *колташ* «посылать», *налаш* «братъ», *ончыкташ* «показывать», *куржаш* «бегать», *шупиаш* «тащить» и эрзя-морд. *кодамс* «плести, ткать», *учомс* «ждать», *лоткамс* «остановиться», *оршамс* «одеваться».

В пермских и обско-угорских языках нет инфинитива, содержащего суффикс направительного падежа *-с*.

В отличие от пермских языков причастия с суф. *-ма* в марийском и мордовских языках имеют только пассивное значение ср. мар. *лудмо* «читаемый, прочитанный», *чийме* «одеваемый, одетый»; эрзя-морд. *вечкема ломань* «мокса-морд. *кельгома ломань* «любимый человек».

Такая же особенность наблюдается и в финском языке, например: *tekelemä* «сделанный», *ompelema* «спитый».

В некоторых формах повелительного наклонения в мордовских и марийских языках обнаруживается суффиксальный элемент *-с*.

Ед. число	Мн. число
Эрзя-мордовский язык	
3-е л. <i>корта-з-о</i> «пусть говорит»	<i>корта-с-т</i> «пусть говорят»
Мокша-мордовский язык	
1-е л. <i>кандо-з-ан</i> «пусть я несусь»	<i>кандо-с-тама</i> «пусть мы несем»
3-е л. <i>кандо-з-а</i> «пусть он несет»	<i>кандо-с-т</i> «пусть они несут»
Марийский язык	
3-е л. <i>возы-ж-о</i> «пусть он пишет»	<i>возы-ш-т</i> «пусть они пишут».

Тот же суффиксальный элемент наблюдается и в саамском языке, ср. норв.-саам. *bottus* «пусть приходит», *bottusek* «пусть приходят».

Существуют попытки сравнения марийского суф. *-киш* с мордовским длительно-многократным суф. *-жи* в глаголах на *-кишо*, *-кише*, например: *кадокишномс* «останавливать» от *кадомс*; *теевкишемс* «делать часто» от *теевомс*. Это дает основание полагать, что в домарийское время суф. *-киш* имел многократно-длительное значение [10, II].

### Общие изоглоссы мордовского и прибалтийско-финских языков

Сходных слов в мордовском и прибалтийско-финских языках содержится значительно больше, чем в марийском, ср. примеры в эрзя-мордовском и финском языках: эрзя-морд. *од* — фин. *uusi* ~ *uute* «новый», *кандомс* — *kantaa* «нести», *касомс* — *kasvaa* «расти», *кельме* «мороз, холод» — *kylmä* «холодный», *кель* — *kieli* «язык», *ков* — *kuu* «луна», *кодамс* — *kutoa* «плести, ткать», *кортнемс* «разговаривать» — *kertoa* «рассказывать», *кулямс* — *kuulla* «слышать», *лембе* — *lämpi* «теплый», *лишме* «лошадь» — *lehmä* «корова», *ловомс* — *lukea* «считать», *мель* «желание» — *mieli* «душа; мнение», *олет* — *olki* «солома», *оскс* «молитва» — *uskoa* «верить», *пезэмс* — *pestä* «мыть», *пель* — *puoli* «половина», *пиче* — *petäjä* «сосна», *пултамс* — *polttaa* «жечь», *салава* «тихо» — *sala* «тайна», *седей* — *sydän* «сердце», *сые* — *sumi* «туман», *сур* — *sormi* «палец», *сэвемс* — *syödä* «съесть», *сюлмо* — *solmu* «узел», *сюло* — *suoli* «кишка», *тев* — *työ* «дело», *теште* — *tähti* «звезда», *туво* — *sika* (<*tikä*) «свинья», *тумо* — *tammi* «дуб», *уемс* — *uida* «плыть», *учомс* — *odottaa* «ждать», *эй* — *jää* «лед», *явомс* — *jakaa* «делить».

В мордовских и прибалтийско-финских языках есть особый падеж — транслатив, которого нет в других финно-угорских языках, ср. фин. *kalaksi* «превратиться в рыбу», кар. *kalakši*, вепс. *kalaks*, вод. *kalassi*, эст. *kalaks*; эрзя-морд. *туможс* «превратиться в дуб», мокша-морд. *кевкс* «превратиться в камень» и т. д.

Суффикс желательного наклонения *-ксэ-* совпадает по форме с суффиксом условного наклонения *-кс-* в эстонском и ливском языках, ср. эрзя-морд. *морыксэлинь* «я хотел бы петь», мокша-морд. *сокалексолень* «я хотел бы пахать», эст. *kirjutaksin* «я написал бы», лив. *luguks* «я читал бы» и т. д.

В мордовских языках есть зачатки партитива, ср. эрзя-морд. *чайде симемс* «попить чаю». Суф. *-в-* в этих языках довольно полисемантичен:

1) образует глаголы со значением страдательного залога, например: эрз. и мокш. *кундамс* «поймать», эрз. *кунда-в-омс*, мокш. *кундавъмс* «быть пойманным»; эрз. *сокамс* «пахать», *сока-в-омс* «пахаться, вспахиваться»; *ло-в-омс* «считать», *лово-в-омс* «быть считаемым» и т. д.;

2) образует глаголы со значением возвратного залога, ср. эрз. *лазомс*, мокш. *лазъмс* «расколоть», эрз. *лазо-вомс*, мокш. *лазъ-в-ъмс* «расколоться»; эрз. *вачкодемс* «ударить», *вачкоде-в-емс* «удариться»; эрз. *томбамс* «ушибить», *томба-в-омс* «ушибиться», мокш. *токамс* «ушибить», *тока-в-ъмс* «ушибиться»;

3) выражает модальное значение возможности совершения действия, например, эрз. *молемс*, мокш. *молэмс* «идти», эрз. *моле-в-емс*, мокш. *моле-в-эмс* «быть в состоянии идти»; эрз. и мокш. *морамс* «петь», эрз. *мора-в-омс*, мокш. *мора-в-ъмс* «быть в состоянии петь». Подобные явления наблюдаются в саамском, а также в прибалтийско-финских языках, ср. суффикс пассива в норвежско-саамском *-juvvi-*, например: *čallujuvvut* «быть написанным». Глаголы, содержащие суф. *-и-*, могут иметь значение возвратного или страдательного залога, ср. фин. *valmistua* «готовиться», *tasoittua* «выравниваться» и т. д.

#### Общие изоглоссы саамского и финского языков

Саамский и финский языки связывает целый ряд общих слов, ср.: норв.-саам. *čál'bme*, фин. *silmä* «глаз», норв.-саам. *čoar've*, фин. *sarvi* «рог», норв.-саам. *dollâ*, фин. *tuli* «огонь», норв.-саам. *fanas*, фин. *vene* «лодка», норв.-саам. *jiedna*, фин. *jääni* «голос», норв.-саам. *giellâ*, фин. *kieli* «язык», норв.-саам. *aigot*, фин. *aikoa* «намереваться» и т. д.

Саамский связывает с финским сходное образование сравнительной степени. Суффиксом сравнительной степени в норвежско-саамском является *-b* у равносложных прилагательных и *-bbo* или *-b* после гласных в неравносложных прилагательных, ср. *bâha* «плохой», *bâhab* «хуже», *nuor-gâ-r* «молодой», *nuorab* «моложе» и т. д.

В саамском, как и в финском языке, показателем множественности в косвенных падежах является суф. *-i-*, ср. норв.-саам. *akšo-i-d* «топоров», *akšo-i-guim* «с топорами», фин. *talo-i-ssa* «в домах», *talo-i-lta* «от домов».

Числительные второго десятка от одиннадцати до девятнадцати образуются в финском языке из простых количественных числительных *yksi* «один», *kaksi* «два»... и партитивной формы порядкового числительного *toinen* «второй»: *yksitoista* «одиннадцать» (букв. «один второго»).

Точно такой же способ образования этих числительных существует и в норвежско-саамском языке, ср. *oktâ-nubbë-lokka* «одиннадцать» (букв. «один второго десятка»).

В саамском языке некогда существовал особый падеж партитив. В настоящее время он исчез, но его реликты прослеживаются довольно четко. В восточных диалектах саамского языка партитив употребляется только в ед. числе. Партитив мн. числа стал выполнять в саамском функцию винительного падежа мн. числа.

В словосочетаниях «числительное + существительное» в финском языке существительное употребляется в партитиве, ср. *kaksi kirjaa* «две книги». В саамском языке партитивом управляют числительные от семи и выше, ср. *k'iz'em paltsedde* «семь волков».

Окончание 1-го л. мн. ч. *-р* в саамском языке представляет собой рефлекс финно-угорского *-ra*, *-pä*, которое в финском нашло продолжение в 3-м л. ед. ч. *palaa* «горит» (< *palaa*).

Сослагательное наклонение (условное) характеризуется в саамском языке показателями  $\text{-}\ddot{\text{z}}\text{-}$  или  $\text{-}\check{\text{c}}\text{-}$ , которые имеют соответствие в прибалтийских языках:  $\text{-isi-}$ ,  $\text{-ssi-}$ .

Большинство саамских глагольных словообразовательных суффиксов является родственным соответствующим суффиксам прибалтийско-финских языков. Предполагают, что саамский и прибалтийско-финский языки происходят от одного языка-предка.

Общих изоглосс, связывающих марийский и финский языки, немного. Обращает внимание одинаковое оформление дательного падежа, ср. луг. мар. *йол-таш-лан* «товарищу», фин. *talo-lle* «дом» ( $\leftarrow$  *talo-len*). Мало общих изоглосс и у мордовского языка с саамским. Все это подтверждает, что непосредственной близости у этих языков не было.

Выше уже говорилось о том, что решение проблемы былого существования финно-волжской общности тесно связано с определением территории, которую населяли народы, входившие в данную языковую общность. Такие попытки уже производились.

Д. Е. Казанцев, используя данные фитогеографии, пытался определить территориальные границы волжско-финской языковой общности: «В настоящее время можно определенно сказать, что она находилась в зоне распространения ясеня и осокоря (черного тополя), названия которых имеются в марийском (*ошко* „осокорь“) и мордовских (*уксо*, *укс* „ясень“) языках. Ареал ясеня, произрастающего к западу от р. Волги (далее следует ссылка на [13, с. 11—13].— *Примеч. ред.*) указывает на необходимость локализовать волжскую прародину на правобережье этой реки. Ее граница на юге, по всей вероятности, совпала с южной границей зоны распространения названной лиственной породы, которая проходит по среднему течению р. Свияги (в прибрежной части р. Волги от нижнего течения р. Свияги до г. Чебоксары обыкновенный ясень не встречается) до р. Суры. Восточная граница обыкновенного ясеня идет по р. Волге, поднимаясь от г. Чебоксары до г. Костромы. Полноводная русская река служила восточной границей волжской общности, которая не могла простираться, особенно на первых этапах, на ее левый берег.

Для определения северной границы территории расселения предков волжских народов существенное значение приобретает северная линия произрастания осокоря. Она выходит из г. Костромы и направляется в сторону г. Ярославля, откуда, круто поворачиваясь на юг, следует через г. Владимир до г. Рязани и далее идет на запад к государственной границе с ПНР [13, с. 29—30].

Западную границу волжской прародины невозможно установить на основании данных лингвистической палеонтологии. Основной опорой в данном случае может служить западный ареал топонимов с указанными выше мордовскими формантами, который охватывает восточные районы Рязанской и северные районы Тамбовской областей» [14, с. 99].

По мнению Д. Е. Казанцева, «очерченная территория волжской общности» первоначально «занимала среднее течение р. Оки и восточную часть Волго-Окского междуречья» [14, с. 99].

Предполагаемый порядок расположения диалектов финно-волжской языковой общности можно приблизительно установить, используя теорию волн И. Шмидта.

Все языки финно-волжской общности друг с другом связаны. Марийский язык имеет некоторые общие черты с пермскими языками.

Марийский и пермские языки связывает лексический слой, типичный для этих языков, например: коми-зыр. *пыж*, мар. *пуш* «лодка», коми-зыр. *тӧльсь*, мар. *тылзе* «месяц», коми-зыр. *кузь*, удм. *кузь*, мар. *кужу* «длинный», коми-зыр. *вузавны*, удм. *вузаны*, мар. *ужалаш* «продавать», коми-зыр. *луйны*, мар. *луйи* «стрелять», удм. *пыртыны* «вводить», мар. *пурташ* «вносить» и т. д.

В марийском и пермских языках имеются некоторые сходные явления в области фонетики. Наиболее характерными особенностями пермских языков является превращение древнего *e* в *o* или *y*. В марийском языке этому процессу в известной степени соответствует огубление, ср. фин.

*terä* «острие», коми-зыр. *дор* «лезвие, ребро», мар. *tjр* «берег, край»; фин. *keri* «кора», коми-зыр. *кор* «луб, лубок», мар. *kjр* «кора», фин. *setä* «дядя», коми-зыр. *чож* «дядя, брат матери», мар. *чjчö* «дядя, младший брат матери».

Древние основы на гласный в марийском и пермских языках подвергались значительно большему разрушению, чем в мордовских языках, ср. мар. *kjч*, коми-зыр. *гыж*, но эрзя-морд. *кенже*, фин. *kynsi* «ноготь»; мар. *kj*, но эрзя-морд. *кев*, фин. *kivi* «камень», мар. *кум*, коми-зыр. *куим*, но эрзя-морд. *колмо*, фин. *kolme* «три».

В отличие от мордовских языков, в марийском языке в составе суффиксов некоторых местных падежей может присутствовать коэфф. *-л-*. Этот элемент имеется, например, в суффиксе дательного падежа *-лан* (ср. *екö-лан* «кому»), а также в суффиксах некогда существовавших в марийском языке падежей — направительного на *-ла* (ср. *кайык-ла* «подобно птице, как птица»; когда-то такая форма обозначала «по направлению к птице») и отложительного на *-леч* (ср. *jдырлеч* «от девушки»).

Интересно отметить, что суффикс дательного падежа *-лан* в марийском языке очень напоминает суффикс приблизительного падежа (аппроксиматива) в языке коми, ср. коми-зыр. *вöр-лань* «по направлению к лесу», а суффикс вымершего марийского направительного падежа *-ла* полностью совпадает с суффиксом достигательного падежа на *-ла* в языке коми.

Система прошедших времен в марийском языке обнаруживает большое типологическое сходство с системой прошедших времен пермских языков. Она включает четыре основных времени: прошедшее, перфект, плюсквамперфект и прошедшее длительное. В отличие от прибалтийско-финских и саамских языков, перфект в пермских и марийском не имеет вспомогательного глагола. Он также широко употребляется для выражения действия, не очевидного для говорящего.

В мордовских языках число черт, объединяющих их с языком коми, резко уменьшается. К ним относятся причастие на *-зь* типа эрзя-морд. *съяворезь* «свалившийся», коми-зыр. *ужась* «работающий», архаическое числительное *комсь* «тридцать» и т. д. В мордовских языках больше черт, объединяющих их с марийским. Наряду с этим усиливается число черт, сближающих их с прибалтийско-финскими языками, которых нет в марийском языке. В прибалтийско-финских языках есть особенности, присутствующие и мордовским языкам, но гораздо больше черт, объединяющих их с саамским языком.

Все это говорит о том, что языки, некогда входившие в финно-волжскую общность, не были сильно разобщены территориально, иначе волновая передача особенностей от одного языка к другому оказалась бы невозможной.

Выводы:

1. Языки саамский, прибалтийско-финские, мордовские и марийский связывает целый пучок специфических общих изоглосс, что свидетельствует о том, что они некогда входили в одну языковую общность.

2. Наличие так называемых островных изоглосс служит доказательством того, что после распада финно-волжской языковой общности образовывались более мелкие языковые общности.

3. Языки, входившие в финно-волжскую общность, не имели значительного территориального разобщения. Территория, занимаемая финно-волжскими народами, была вытянута в форме полудуги в горизонтальном направлении.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. М., 1974.
2. *Fromm H., Sadeniemi M.* Finnisches Elementarbuch. I. Grammatik. Heidelberg, 1956, S. 13, 14.
3. *Хакулаинен Л.* Развитие и структура финского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. М., 1953, с. 12.
4. *Korhonen M.* Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki, 1981, S. 26.

5. *Déczy G.* Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1965, S. 4188.
6. *Bereczki G.* Cseremisiz (mari) nyelvkonv. 2. kiad. Budapest, 1974, old. 5.
7. *Gheno D.* Megjegyzések a mordvin és a czeremisiz közti grammatikai egyezésekről.— In: Nyelvtudományi közlemények, 83 kötet, 1 szám. Budapest 1981.
8. *Коведяева Е. И.* Типологическая эволюция системы локальных падежей в истории марийского языка.— В кн.: Историко-типологические исследования по финно-угорским языкам. М., 1978, с. 129.
9. Грамматика мордовских языков. Фонетика и морфология. Саранск, 1962.
10. *Галкин И. С.* Историческая грамматика марийского языка. Морфология. Ч. I. Йошкар-Ола, 1964, с. 143; Ч. II. 1966, с. 177.
11. Основы финно-угорского языкознания. (Прибалтийско-финские, саамские и мордовские языки). М., 1975.
12. *Korhonen M.* Die Konjugation im Lappischen. Helsinki, 1967, S. 227.
13. *Кощеев А. Л.* Распространение и лесовидные свойства древесных пород и кустарников для полезащитных насаждений. М.— Л., 1950.
14. *Казанцев Д. Е.* К вопросу о месте и времени проникновения иранских слов в древнемарийский язык.— В кн.: Вопросы грамматики и лексикологии. Йошкар-Ола, 1980, с. 99.

ФРУМКИНА Р. М.

## СМЫСЛ И СХОДСТВО

Данная статья содержит результаты работы, замысел которой возник из попыток изучать семантические проблемы с психолингвистических позиций. Психолингвистический подход ставит своей целью описание тех представлений о смыслах и отношениях между ними, которые имеются в психике говорящих индивидов. Как подробно показано в работах [1, 2], изучение лексического значения как психического образования не сводится к задачам, решаемым собственно лингвистической семантикой. Нужны иные теоретические конструкты и соответствующие им экспериментальные методики. В качестве основного теоретического конструкта, который позволяет описывать характеристики субъективной интерпретации смысла, мы выбрали отношение субъективного сходства по смыслу.

Нас будет интересовать раскрытие собственно человеческих способов переработки сигналов внешнего мира в «смыслы» [3]. В комплексе возникающих при этом вопросов важное место занимает следующий: как человек выделяет и как естественный язык фиксирует такие фундаментальные отношения, как сходство — несходство; тождество — различие; целое — часть; элемент — множество; общее — частное; свойство — носитель свойства и т. д. Полезно при этом задуматься над тем, что мы знаем о простейших, элементарных психических операциях (такой операцией, в частности, представляется на первый взгляд сравнение объектов с целью установления их сходства). При ближайшем рассмотрении и операция сравнения объектов с целью установления их сходства или несходства, и само отношение сходства оказываются вовсе не элементарными. К сходству по смыслу это относится в первую очередь.

Сама по себе задача изучения сходства как отношения между объектами (в том числе между словами) имеет свои традиции, однако не в лингвистике, а в психологии.

Собственно лингвистическая постановка задачи изучения сходства по смыслу как содержательного естественно-семантического отношения была предложена нами в работе [4]<sup>1</sup>. Эта задача в дальнейшем решалась на материале слов-цветообозначений [2, 5, 7, 8] и на материале группы слов, именующих посуду и кухонную утварь [9]. Полученные в этом цикле работ результаты побудили нас поставить некоторые общие вопросы, связанные с изучением сходства как отношения. Ниже мы ограничимся обоснованием использованного нами операционального определения сходства; 2) сущность двух подходов к анализу отношения сходства: «признаковый» подход и «целостный» подход; 3) сходство как ориентированное отношение; 4) перспективы использованного нами подхода.

1. **О п р е д е л е н и е с х о д с т в а ч е р е з о п е р а ц и ю с в о б о д н о й к л а с с и ф и к а ц и и.** Операциональное определение сходства во всех наших работах было основано на следующей процедуре. Участники эксперимента получали инструкцию, где предлагалось разделить слова некоторого набора на любое число непересекающихся классов в соответствии со своими представлениями о том, какие слова похожи между собой по смыслу. Слова предлагались в виде пачки карточек, причем на каждой карточке было напечатано одно слово. Каждый испытуемый

<sup>1</sup> Обзорные данные и критический анализ работ, где слова сравнивались по смыслу с иными целями, см. [6, 7].

(далее — и.) раскладывал карточки на кучки. Количество классов<sup>2</sup> никак не ограничивалось, а понятие «сходства» не пояснялось. Построенный таким образом эксперимент по традиции называется экспериментом по свободной классификации — в противоположность методикам, где или указывается число классов, на которые желательно разделить набор объектов, или как-то поясняется принцип, согласно которому надлежит действовать. Экспериментатор считал похожими те слова, которые оказались помещенными в одну кучку (класс), непохожими — помещенные в разные кучки.

Итак, от отдельного и. в данном эксперименте требуется очень мало: он должен лишь выразить свое мнение о сходстве — несходстве смыслов слов, помещая похожие по смыслу слова в одну группу, а не похожие — в разные. Задачу обобщения показаний многих испытуемых (далее — ии.) для выявления в полученных первичных данных какой-либо структуры должен решать исследователь. Обратим внимание на то, что при такой экспликации сходства участники эксперимента и исследователь занимают как бы противоположные позиции. Для ии. представления о сходстве предшествуют формированию класса: если, по их мнению, слова *тарелка* и *поднос* — похожи, то они помещаются вместе, в один класс; если *серебристый* похож на *серый*, то они оказываются в одной группе. Для экспериментатора все обстоит как раз наоборот: он строит свои умозаключения о сходстве после того, как каждое слово получило какое-либо место в индивидуальных разбиениях, т. е. он идет от класса к сходству.

Специальный анализ показывает, что разные ии. могут руководствоваться самыми разными соображениями при осуществлении акта классификации [10, 11]. Почему мы отвлекаемся от различий в содержании этой психической деятельности и считаем себя вправе обращаться лишь к ее результатам? Просто потому, что при данной операциональной экспликации сходства у нас нет иного способа: ведь процесс вынесения суждения о сходстве не поддается наблюдению, тогда как результат суждений — полученные группировки — можно наблюдать. Но, в таком случае, нет ли более подходящих способов получить от ии. данные о сходстве, чем операция классификации?

Другие способы, действительно, есть, однако они также являются операциональными, т. е. зависят от определенной экспериментальной процедуры и вне ее теряют содержание. Приведем пример операционального определения сходства, основанный на анализе ошибок при восприятии объектов. Используем с этой целью наиболее простой пример — ошибки восприятия букв при опознании в затрудненных условиях. Достаточно предъявить ии. буквы в тахистоскопе, как окажется, что некоторые буквы часто смешиваются между собой, а некоторые — практически не смешиваются [12]. Построим таблицу, где строки соответствуют предъявленным буквам (стимулам), столбцы — ответам, а в клетках записана частота ответов на данный стимул. На главной диагонали полученной матрицы окажутся числа, соответствующие правильным ответам, в прочих клетках — частоты ошибочных ответов. Такая матрица практически всегда оказывается несимметричной. Например, *А* не обязательно столь же часто смешивается с *Л*, что и *Л* с *А*. Теперь можно предложить операциональное определение сходства, основанное на частоте соответствующих смешений: будем считать более похожими те буквы, которые смешиваются чаще, и менее похожими те, которые смешиваются реже. Мы по-прежнему, однако, не знаем ничего о механизмах, обуславливающих те или иные смешения, и судим о похожести букв только на основании частот наблюдаемых смешений.

Может возникнуть вопрос: почему мы не задаем участникам эксперимента прямых вопросов о том, какие слова они считают похожими по смыслу? Ответ состоит в следующем. Для наивного носителя языка прямое сравнение смыслов слов не является естественной операцией — оно требует метаязыковой рефлексии. Но именно рефлексии о языке мы

<sup>2</sup> Слово «класс» здесь и далее употребляется как синоним слова «группа».

старались избежать, поставив своей целью изучение представлений о смыслах у рядовых носителей языка (подробное обсуждение этого вопроса можно найти в работе [4]). Простота задачи, которую решают ии. в экспериментах по свободной классификации слов, позволяет надеяться на то, что мы не привносим в получаемые результаты рефлексии, специфичной для сознания лингвиста. Как правило, однако, чем проще и естественнее задача, которую решает участник эксперимента, тем сложнее бывает извлечь из первичных данных ответ на поставленный вопрос.

Итак, мы полагаем, что использованное нами операциональное определение сходства вполне оправдано целями данного исследования. Более того, оно оправдано и нашими гипотезами относительно механизмов сравнения смыслов. К этому аспекту проблемы мы и перейдем.

2. Два подхода к анализу отношений сходства. Как правило, при изучении сходства вообще, и в частности сходства по смыслу, исследователя интересует не сам факт установления сходства, а выяснение того, почему один объект похож на другой. Констатация сходства или различия — не конец, а начало работы. Например, в работе Филленбаума и Рапопорта [13], где ии. устанавливали отношения сходства на парах слов-цветообозначений, предполагалось, что сравнение смыслов подобных слов ведется в терминах координат «цветового пространства» (color space) — тона, яркости и насыщенности. В том же исследовании при изучении сходства смыслов слов, обозначающих профессии, предполагалось, что носители языка оперируют какими-то характеристиками, «атомами субъективного смысла». В работе Миллера [14], наиболее известной среди тех, которые выполнены в парадигме свободной классификации, в неявной форме также предполагалось, что ии. усмотрят в предъявленных им словах противопоставления по нескольким признакам, — таким, как живое — неживое, предмет — свойство, «конкретное» — «абстрактное». Даже если гипотеза, согласно которой ии. в процессе вынесения суждений о сходстве пользуются определенными признаками, не формулируется на уровне постановки проблемы, она очевидна из характера методики и аппарата, используемого для анализа результатов. В частности, в упомянутой работе Филленбаума и Рапопорта методика получения исходных данных построена так, чтобы для их анализа впоследствии можно было использовать аппарат многомерного шкалирования. Методы многомерного шкалирования в целом как раз и представляют собой совокупность вычислительных процедур, ориентированных на обработку оценок сходства с целью описания признаков, на которых (гипотетически) эти оценки основаны [15]. У экспериментатора при этом обычно имеются некоторые априорные гипотезы относительно признаков, в терминах которых (неосознанно, быть может) ведется сравнение объектов.

В работе [16], в которой автору данной статьи принадлежит раздел «Постановка задачи», мы сочли нужным обратить специальное внимание на то, что при отсутствии исходной содержательной гипотезы относительно характера используемых в процессе сравнения субъективно полезных признаков мы вообще не могли бы рассчитывать на содержательную интерпретацию результатов.

Идея признаков, выделяемых индивидом в процессе сравнения, кажется настолько очевидной, что мы не обнаружили в литературе альтернативных подходов к задаче изучения сходства. Все модели, которые, по замыслу экспериментатора, должны тем или иным образом имитировать интуицию человека, выносящего суждения о сходстве, базируются на «признаковом» подходе. «Признаковый» подход используется и в тех случаях, когда входные данные имеют вид классификации (соответствующий случай разобран в работе А. Ю. Терехиной [17], содержащей очень ясное изложение принципов применения аппарата многомерного шкалирования к задачам изучения сходства).

Но всегда ли «признаковый» подход является адекватным хотя бы на уровне формулировки исходной гипотезы? Покажем на примере, что в ряде случаев сравнение объектов заведомо не может вестись в терминах признаков. Обратимся с этой целью к относительно более простым объек-



там, а именно — к буквам. В работе [18], где для анализа сравнения сходства букв русского алфавита по начертанию используется «признаковый» подход и, соответственно, аппарат многомерного шкалирования, буквы были записаны одинаковым шрифтом — «рубленной гарнитурой». Понятие сходства пояснялось следующей инструкцией. Ии. предъявлялись три пары латинских букв: *I — J*; *N — W*; *O — X* и говорилось, что в первых двух парах буквы похожи, а в третьей — не похожи. Задумаемся над тем, что произойдет, если предъявить ии. буквы, записанные разными шрифтами, так, что в наборе окажутся *a*, *A* и *a*; *B* и *b*; *m* и *T*. Бросается в глаза, что с точки зрения «чистой графики» *a* ближе к *o*, чем к *a*. Тем не менее, нормальный человек при той же инструкции имеет тенденцию объединять в классы эквивалентностей все *a*, все *b*, все *m* и т. д. Опора на «чистую графику», т. е. ситуация, когда человек не в состоянии объединить *a*, *A* и *a*, обычно свидетельствует о патологии — нарушении речевых функций по крайней мере на уровне гнозиса (так называемая агнозия на буквы [19]). Эксперименты в норме и патологии показывают, что буквы знакомого алфавита, как и многие другие хорошо известные изображения, сравниваются и отождествляются не путем анализа (выделение признаков или разложение на элементы), а напротив, именно как неразложимые целостности. Большой материал, полученный в эксперименте по сравнению смыслов слов-цветообозначений, также показывает, что мы не оперируем при этом какими-либо признаками, а сравниваем соответствующие смыслы как целостности [7].

Операции с целостностями — это специфически человеческий (в противовес «машинному») способ сравнения объектов для установления сходства или тождества между ними. Что же следует иметь в виду, говоря о «целостностях» применительно к словам? В качестве примера обратимся к процессам восприятия. Как показывают многочисленные данные экспериментов по изучению зрительного восприятия слов, слова не разлагаются в общем случае ни на буквы, ни на слоги, а воспринимаются как целое. Это особенно ярко видно в экспериментах, где испытуемому говорят, что ему будут предъявлять для зрительного восприятия слова, а на деле предъявляют квази-слова, т. е. объекты, которые ему незнакомы. Примечательно, что даже в этих случаях и. продолжает сохранять установку на восприятие слова как целостной единицы и только в последний момент переходит на побуквенное чтение [20]. Мы сравниваем как целостности изображения знакомых предметов и, быть может, поэтому опознаем их независимо от ракурса. То же относится к изображениям лиц, цветообразцам, фрагментам мелодий. Отсюда, однако, не следует делать вывод о том, что в памяти мы храним полное описание всех объектов, воспринимаемых как целостности. Скорее всего, мы храним некоторые «вырожденные» описания соответствующих «целостностей», эффективные для принятия решений о сходстве, несходстве или тождестве объектов, а тем самым и для выбора нужных действий [3]. Это предположение скорее всего справедливо для операций, связанных не только с задачами узнавания объектов, но и с более сложными операциями и, в частности, с операциями над «смыслами». Мы, однако, до сих пор не знаем, как устроены специфически человеческие описания целостностей, столь простые для человека и столь недоступные для ЭВМ. Мы скорее знаем, чего человек не делает при операциях с «целостностями»: так, он не пользуется понятием «признак» в общепринятом значении этого слова.

Можно полагать, что эксперименты по изучению сходства методом свободной классификации позволят получить интересные данные о том, как носитель языка оперирует смыслами как целостностями. Любопытно, что гипотеза относительно того, что некоторые языковые объекты следует описывать как неразложимые целостности, была выдвинута А. Вежбицкой в ситуации, казалось бы, крайне далекой от предмета обычных экспериментов по изучению сходства. Речь идет о проблеме описания имен естественных родов (*natural kinds* [см. 21, 22]) и вообще о возможности построения иерархической семантической классификации существительных. Процесс отнесения имен *болонка*, *шпиц*, *сенбернар*, *такса* к гипе-

рониму «собака» явно не строится на выделении элементарных смысловых признаков. В определенном аспекте (размер) болонка больше похожа на кошку, чем на сенбернара, а шпиц (пушистость) на лису и т. д.

Итак, имена типа *береза, кошка, собака* и тому подобные мы сравниваем как целостности [23]. Таким же образом, как нам представляется, происходит установление сходства слов-цветообозначений. Представление о цвете, вызываемое у человека словами типа *желтый, гранатовый*, выступает как целостное, и в дальнейшем, при сравнении с другими словами-цветообозначениями не происходит выделения каких-либо элементарных смыслов.

Подтверждается ли гипотеза об операции смыслами как целостностями на материале других лексических групп? Практически во всех экспериментах по свободной классификации мы наблюдали феномен, который можно назвать «сначала класс, потом — принцип его образования». Это означает, что ии. вначале объединяют объекты в классы не путем выделения каких-либо общих признаков, а по степени «вообще-похожести» этих объектов. Лишь после того, как класс образован, ии. придумывают принцип, обосновывающий такое, а не иное решение о сходстве. Иногда этот принцип «сочиняется» как апостериорная вербализация. Рассмотрим следующий класс, образованный в эксперименте по свободной классификации группы слов-наименований посуды и кухонной утвари: *чашка, блюдце, сахарница, чайник, щипчики, конфетница* (заметим, что такая и сходные группы встречаются у разных ии.). Трудно найти какой-либо элементарный смысловой признак, объединяющий блюдце и щипчики, конфетницу и чашку и т. д. Обычный вид обоснования такой группировки — «предметы, используемые при чаепитии» [9]. Слова, обозначающие конкретные предметы, сравниваются как целостности, участвующие в одной и той же жизненной ситуации, а не через признаки, описывающие эти предметы. Это подтверждается большим числом случаев затруднений, возникающих у ии., когда экспериментатор настаивает на эксплицитном объяснении принципа классификации. Ии. достаточно часто говорят: «не знаю, почему, но это должно быть вместе»; «мне кажется, что эти слова нельзя разъединять»; «это никуда не подходит»; «все это, пожалуй, должно быть по отдельности» и т. п.

Объединения по «вообще-похожести» мы наблюдали впервые в экспериментах с классификацией пуговиц [6]. Сходные данные получены М. Аннетт в экспериментах с классификацией слов [24]. Ж. Пиаже, изучавший процессы классификации и выявления сходства в онтогенезе [25], называл такие классификации «эмпирическими», подчеркивая, что они свидетельствуют о несформированности абстрагирующей функции мышления. Если несколько отвлечься от терминологии, то мы увидим, что сходной точки зрения придерживался А. Р. Лурия, изучавший процессы классификации у представителей традиционных сообществ [26]. На самом деле, судя по нашим данным, появление классификаций, в которых нельзя усмотреть «подведения под родовое имя» (т. е. таких, которые Пиаже называет «эмпирическими», А. Р. Лурия, а также Коул и Скрибнер [27] — «ситуационными» или «функциональными»), не обязательно определяется возрастом и, во всяком случае, не связано с образовательным цензом<sup>3</sup>.

Уже в предварительном эксперименте по изучению сходства на материале слов конкретной лексики [9] оказалось, что обычные взрослые ии. с высшим образованием многократно предлагали объединения, заведомо не подводимые под «родовое имя». Более того, предлагавшиеся этими ии. обоснования таких объединений мало чем отличались от приведенных у А. Р. Лурия объяснений неграмотных носителей языка.

С нашей точки зрения, объяснения по «вообще-похожести», о которых мы говорили выше, обусловлены в первую очередь спецификой предъявляемого материала. Примером являются данные, полученные нами в пред-

<sup>3</sup> Обсуждение этого круга вопросов в более широком контексте читатель найдет в работах П. Тульviste [28].

варительном эксперименте по свободной классификации слов, именующих «кушанья». Работая с набором из 72 слов, где наряду со словами *хлеб, булочка, сугари, печенье* есть слово *бутерброд*, а наряду со словами *колбаса, сардельки, сосиски* есть слово *ветчина*, испытуемый — доктор филологических наук — образует класс {*бутерброд, ветчина*} с обоснованием «бутерброд может быть с ветчиной, поэтому я помещаю их вместе». В том же эксперименте другой участник — кандидат филологических наук — объединяет слова *каша* и *пюре* в группу «гарниры» с обоснованием: «кашу я не ем отдельно». Приведенные примеры не являются исключениями. Во всех этих случаях сравнение по «вообще-похожести» объясняется а) тем, что для и. объект (слово) не описывается через признаки (это верно и для слов-цветообозначений, и для слов-существительных «конкретной» лексики); б) тем, что применительно к данному набору объектов или слов задача их классификации безотносительно к конкретной ситуации или цели оказывается неожиданной. «В жизни» мы не делим на классы имена посуды или имена кушаний; но, с другой стороны, «в жизни» эти имена, как и их денотаты, не фигурируют как нечто, описываемое по признакам. «Вообще-похожесть» — это в сущности сугубо человеческий способ сравнения объектов с помощью коротких и нестандартных их описаний, т. е. «вырожденных» описаний, относящихся к объектам как к целостностям. «Вообще-похожесть» может быть обусловлена сходством по функции, участием в одной ситуации, смежностью по нахождению в пространстве (ср. апостериорные обоснования типа: *это я держу в духовке; это у меня стоит в серванте*), сходством по оценке (*это я не использую; это я не люблю*) и многими другими причинами. Объединения по «вообще-похожести» — это «вообще-классы». Задача исследователя — найти закономерности их образования.

3. С х о д с т в о к а к о р и е н т и р о в а н н о е о т н о ш е н и е. Отношение сходства, устанавливаемое на объектах, сравниваемых как целостности, имеет некоторые интересные особенности. Остановимся на асимметрии сходства как экспериментально наблюдаемом феномене. Согласно формальной экспликации сходства [29], сходство как отношение предполагает: а) рефлексивность — объект всегда похож на самого себя; б) симметричность — два объекта сходны или не сходны вне зависимости от порядка сравнения — сравниваем ли мы А с Б или Б с А. Очевидно, что свойство рефлексивности обсуждать не стоит, оно сохраняется, а вот с симметричностью дело обстоит сложнее. Действительно, если сходство между объектами устанавливается путем разложения объекта на признаки и сравнения по значениям признаков, то порядок сравнения безразличен и отношение сходства симметрично. Если же объекты сравниваются как целостности, сходство в ряде случаев целесообразно рассматривать как ориентированное, а не как симметричное отношение [30]<sup>4</sup>.

Сравним следующие утверждения: *Сын похож на отца; Портрет похож на оригинал; Индиговый цвет похож на синий*. Все эти утверждения имеют общую схему: А похож на Б. Если мы, в соответствии с формальными свойствами отношения сходства, попытаемся поменять А и Б местами, эти утверждения не перестанут быть верными, но окажутся неестественными. Например, утверждения типа *Отец похож на сына* или *Оригинал похож на портрет* будут восприниматься как каламбур.

Чтобы описать ориентированность отношения сходства, А. Тверски предложил называть объект, служащий при сравнении «точкой отсчета», референтом сравнения. Акт сравнения, тем самым, состоит в том, что некий объект сравнивается с референтом. Выбор референта чем-то должен быть обусловлен. Референт по сравнению с другим членом пары — объектом, подлежащим сравнению, — видимо, имеет особые свойства. В самом общем смысле можно сказать, что референт должен быть неким эталоном. В англоязычной литературе в этом случае принято говорить о «прототипичном объекте», «центре категории» и т. п. (ср. [31] и другие работы Э. Рош). Интерпретация понятия прототипичного объекта, равно как и

<sup>4</sup> Ср. выше замечание о том, что матрица смешений чаще всего несимметрична.

анализ экспериментальных процедур, позволяющих его выявлять, — тема другой работы. Здесь мы ограничимся комментариями по поводу возможного содержания термина «эталон».

«Эталонность», с нашей точки зрения, может быть обусловлена разными причинами, а именно: 1) «аксиомами действительности», т. е. объективной картиной мира; 2) социокультурными представлениями; 3) глубинно-психологическими закономерностями. К (1) можно отнести все случаи ориентированных сравнений типа *портрет похож на оригинал, изгрушенный поезд совсем как настоящий* и прочие, где асимметрия отношения сходства обусловлена устройством мира: репрезентация объекта вторична по отношению к объекту; потомок потому и похож на предка, что происходит от него, и т. п. К (2) можно отнести случаи, когда выбор эталона обусловлен сугубо культурными факторами. Так, в экспериментах Рош ии. признавали верными утверждения вида *103 — это почти то же самое, что 100*, но не утверждения *100 — это почти то же самое, что 103*. И это понятно: в культуре, где безоговорочно доминирует десятичная система счисления, числа типа 10, 100 и т. п. культурно маркированы. К ситуации (3), когда «эталонность» обусловлена собственно-психологическими закономерностями, можно отнести результаты экспериментов А. Тверского по сравнению геометрических фигур. А. Тверски исходил из известного представления о «хороших» и «плохих» фигурах, сформулированного в гештальт-психологии: из двух однотипных фигур «хорошей» считается фигура с выраженной симметрией, по сравнению с которой фигура без выраженной симметрии будет считаться «плохой». А. Тверски предположил, что если две фигуры с точки зрения наличия симметрии в них могут рассматриваться соответственно как «хорошая» и «плохая», то в качестве референта ии. будут выбирать «хорошую» фигуру. Одновременно, если обе фигуры в равной мере могут считаться «хорошими», но одна из них имеет заведомо более сложную структуру, то более сложная фигура будет выбираться в качестве референта. С целью проверки этих гипотез он составил два набора из геометрических фигур. В первом наборе одна фигура в паре была «лучше» по форме, например, с симметрией, во втором — обе фигуры примерно с равным основанием могли считаться «хорошими по форме», но одна была сложнее другой. Ии. должны были, получив фигуры в парах, где левый и правый члены случайно варьировались, выбрать для каждой пары (как более подходящее) одно из следующих двух суждений: *Левая фигура похожа на правую; Правая фигура похожа на левую*. Эксперимент показал, что во всех случаях в качестве референта в суждении о сходстве ии. указывали на лучшую по форме или более сложную фигуру.

Асимметрия отношения сходства, наблюдаемая при сравнении смыслов отдельных слов, скрывает за собой, как можно думать, все перечисленные выше аспекты «эталонности» одного смысла по отношению к другому, но особый интерес среди них представляют случаи асимметрии, обусловленные переплетением культурно-обусловленных и глубинно-психологических факторов.

Асимметрию отношений сходства мы наблюдали в эксперименте по свободной классификации слов-цветообозначений [5, 7]. Напомним, что в этом эксперименте ии. предлагался большой набор слов-цветообозначений, которые надо было разложить на группы, исходя из своих представлений о сходстве этих слов по смыслу. Каждый и. мог действовать в соответствии со своим представлением о том, что значит «похожий по смыслу» применительно к данному материалу. Как показано в работе [32], интерпретации сходства у разных ии. были весьма разными, классы они образовывали, руководствуясь самыми разными основаниями, и, что важно, в процессе работы один и тот же и. мог использовать разные основания классификации одновременно. Несмотря на это, при объединении полученных результатов в единую групповую матрицу сходства мы получили вполне содержательную картину.

На уровне анализа одной индивидуальной классификации мы можем лишь сказать, что «синий помещен вместе с индиговым, и это значит, что

они похожи». Предложенный А. В. Михеевым метод обработки усредненной матрицы сходства (подробное описание процедуры см. [7, 8]) позволил построить некоторую меру сходства. Введенная мера сходства позволяет констатировать то, что *индиговый* похож на *синий* в большей мере, нежели *синий* на *индиговый*. В примере *синий* — *индиговый* неравноценность членов пары (*синий* — референт) довольно очевидна. В других же случаях несимметричность сходства выявляется только в результате детального анализа. Существенно, что асимметрия сходства в нашем материале наблюдается столь часто, что оказалось необходимым для всех выявленных «сходств» оговаривать, симметричны ли они. В конечном счете мы обнаружили, что есть такие слова, о которых следует говорить, что прочие слова-цветообозначения похожи на них, но не наоборот. Например, в пределах группы слов, указывающих на разные оттенки сиреневого, тем словом, на которое похожи остальные, оказалось *фиолетовый*: это своего рода «центр притяжения» для слов определенной группы. Содержательно это значит следующее: если в каком-либо классе присутствует слово *фиолетовый*, то весьма велики шансы обнаружить там же слово *сиреневый* или слово *лиловый*; обратное же — неверно.

В экспериментах по изучению сходства на материале слов «конкретной» лексики мы предполагаем выяснить степень общности описанных выше наблюдений.

4. Перспективы использованного подхода. В данной работе мы коснулись только трех аспектов, связанных с изучением сходства по смыслу как естественно-семантического отношения. Мы обсудили обоснованность использованной нами экспериментальной методики, поскольку в ее основе лежит определенное операциональное определение отношения сходства. Далее мы подчеркнули, что изучение сходства с помощью методики свободной классификации соответствует предположению о том, что, устанавливая сходство, человек в общем случае оперирует с целостностями, а не разлагает сравниваемые объекты на признаки. Наконец, мы рассмотрели одно важное свойство отношения сходства по смыслу, которое нам удалось наблюдать в эксперименте, — асимметрию отношений сходства по смыслу между словами. У читателя, возможно, возник следующий вопрос: что же изучается в экспериментах, где задача участников — дать классификацию слов с точки зрения их сходства по смыслу, — сходство слов, т. е. имен, или сходство их денотатов? Второй вопрос, который мы также предвидим и который отчасти является продолжением первого, — на какие собственно лингвистические вопросы можно ответить, работая в данной экспериментальной парадигме?

Попробуем ответить на оба вопроса одновременно. Изучать язык как знаковую систему, по нашему мнению, несравненно проще, чем пытаться изучать его как феномен психики. Именно поэтому знаменитый тезис Э. Бенвениста о необходимости постижения «человека в языке» скорее провозглашался, нежели находил реализацию в конкретных исследованиях. Невозможно, однако, изучать язык как феномен психики, игнорируя проблемы мышления: это *contradictio in adjecto*. Естественный язык — одна из форм фиксации нашего знания о мире. Если же говорить не о научной картине мира, а о наивной, т. е. о той целостной картине мира, которая отражена в сознании каждого, то естественный язык здесь обладает несомненным приоритетом. Каждому человеку, вероятно, случалось испытывать неудобство при необходимости оперировать предметами, лишёнными имен, — например, рассматривая цветы, названия которых ему неизвестны, или бытовые предметы неизвестного назначения. Отсюда и рождаются многочисленные экспресс-номинации [33]: давая предмету имя, мы помещаем его сразу в некую клетку сложнейшей наивной систематики, о чем сами, конечно, и не подозреваем. Ономасиологические процессы не менее тесно связаны с мышлением, чем процессы классификационные. По традиции, однако, процессами ономасиологии заниматься положено лингвистам, а процессами классификации — психологам. Именно психологами и выполнены практически все известные нам работы, где участники эксперимента занимались свободной классификацией слов.

Цель этих работ — изучение процессов мышления, а не изучение языка. Так или иначе авторы этих исследований полностью абстрагировались от специфики слов как языковых знаков и вообще от специфики операций со смыслами, в силу чего и результаты этих работ имеют ограниченную обобщающую силу, в том числе и для изучения мышления [6].

Отношения сходства-различия, лежащие в основе любой классификации, принадлежат к наиболее фундаментальным для нашего мышления. Мы тем не менее почти ничего не знаем о механизмах установления этих отношений. Пока мы можем лишь сказать, что как это ни парадоксально, во многих аспектах наивная классификация и наивная систематика намного сложнее научной — прежде всего в силу своей пластичности. Для любых новых задач, моделями которых и служат наши эксперименты, человек умеет вырабатывать «вырожденные» описания объектов, полезные именно для данного случая, эффективные именно в силу своей краткости.

Понять закономерности «наивной» классификации — значит понять закономерности построения нестандартных описаний, специфичных именно для человеческого способа работы со смыслами. В этом мы видим дальнейшие перспективы исследований отношений сходства методами свободной классификации!

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Фрумкина Р. М. О методе изучения семантики цветообозначений. — Семиотика и информатика, 1978, № 10.
2. Фрумкина Р. М. Психолингвистические методы изучения семантики. — В кн.: Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983.
3. Бонгард М. М. Проблема узнавания. М., 1967.
4. Фрумкина Р. М. Об отношениях между методами и объектами изучения в современной семантике. — Семиотика и информатика, 1979, № 11.
5. Фрумкина Р. М., Михеев А. В., Терехина А. Ю. Экспериментальное изучение семантических отношений в группе слов-цветообозначений. М., 1982.
6. Звонкин А. К., Фрумкина Р. М. Свободная классификация: модели поведения. — Научно-техническая информация, сер. 2, 1980, № 6.
7. Михеев А. В. Психолингвистическое исследование семантических отношений (на материале слов-цветообозначений): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1983.
8. Фрумкина Р. М. Цвет. смысл, сходство. М., 1984.
9. Рюмина Н. А. Свободная классификация как метод изучения семантики слов конкретной лексики. — В кн.: Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982.
10. Фрумкина Р. М. Особенности принятия решений в задачах свободной классификации. — В кн.: Системные исследования. 1982. М., 1982.
11. Фрумкина Р. М., Михеев А. В. Модели поведения при свободной классификации (на материале слов-цветообозначений). — Научно-техническая информация, сер. 2, 1982, № 2.
12. Вероятностное прогнозирование в речи. М., 1971.
13. Fillenbaum S., Rapoport A. Structures in the subjective lexicon. New York, 1971.
14. Miller G. A. A psychological method to investigate verbal concepts. — Journal of mathematical psychology, 1969, v. 6.
15. Фрумкина Р. М. Психометрические методы: общие проблемы. — В кн.: Прогноз в речевой деятельности. М., 1974.
16. Герганов Е. Н., Николаева Ц. С., Терехина А. Ю., Фрумкина Р. М., Арапов М. В. Исследование восприятия звуков метода многомерного шкалирования. — В кн.: Звуковой строй языка. М., 1979.
17. Терехина А. Ю. Геометрический подход к построению дескриптивных моделей принятия решений о сходстве. — В кн.: Дескриптивный подход к изучению процессов принятия решений при многих критериях. М., 1980.
18. Андрукович П. Ф., Васильевич А. П., Герганов Е. Н. Исследование субъективного сходства букв русского алфавита. — В кн.: Прогноз в речевой деятельности. М., 1974.
19. Кок Е. П. Зрительные агнозии. М., 1967.
20. Фрумкина Р. М. Вероятность элементов текста и речевое поведение. М., 1974, с. 129 и сл.
21. Wierzbicka A. Lingua mentalis: the semantics of natural language. Sydney, 1980.
22. Розина Р. И. Принципы классификации в лексической семантике (имя существительное). М., 1982.
23. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973.
24. Annett M. The classification of instances of four common class concepts by children

- and adults.— *British journal of educational psychology*, 1959, v. 29.
25. *Пиаже Ж., Инельдер Б.* Генезис элементарных логических структур. Классификации и сериации. М., 1963.
  26. *Лурия А. Р.* Об историческом развитии познавательных процессов. М., 1974, с. 69 и сл.
  27. *Коул М., Скрибнер С.* Культура и мышление. М., 1977.
  28. *Тульвисте П.* О межкультурных различиях в единицах вербального мышления.— В кн.: Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982.
  29. *Шрейдер Ю. А.* Равенство, сходство, порядок. М., 1971.
  30. *Tversky A.* Features of similarity.— *Psychological review*, 1977, v. 84.
  31. *Rosch E.* Cognitive representations of semantic categories.— *Journal of experimental psychology: General*, 1975, v. 104.
  32. *Мухеев А. В.* Количественный критерий оценки «правильности» индивидуальных классификаций.— В кн.: Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982.
  33. *Русская разговорная речь.* М., 1973.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

БИРНБАУМ Х.

О ДВУХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ЯЗЫКОВОМ  
РАЗВИТИИ

1. С тех пор как концепция родословного древа и теория волн были признаны несостоятельными, не предлагалось ни одной приемлемой теоретической модели, с помощью которой можно было бы описать (и тем более объяснить) явление языковых изменений. Это утверждение справедливо даже по отношению к таким перспективным принципам изучения языковых изменений, как, например, абдуктивная модель Х. Андерсена [1, 2]. Что касается теории инноваций, распространяющихся от центра известной языковой области к ее периферии, то она представляет собой лишь вариант теории волн.

В последние десятилетия предметом оживленных дискуссий стали дополняющие друг друга понятия дивергенции и конвергенции. В частности, предпринимаются попытки показать, что эти противоположные тенденции развития лежат в основе дифференциации генетически родственных языков и интеграции типологически близких языковых союзов, определяемых на основе пространственных критериев. Однако указанные понятия часто используются настолько механистично, что исключается возможность достижения полного и адекватного понимания чрезвычайно сложных процессов, связанных с изменениями и инновациями на разных уровнях языковой структуры.

Понятие дивергенции, взятое в изолированном виде и доведенное до своего логического конца, при более тщательном рассмотрении мало чем отличается от понятия генеалогического древа, хотя оно и не отягощено ассоциациями с эволюционным учением Дарвина. Дело в том, что дивергенция также предполагает в сущности единый источник (в данном случае праязык) в качестве отправной точки для возникновения и последующего развития ряда производных (в данном случае дочерних языков как членов языковой семьи). С другой стороны, понятие языкового союза, часто называемого специалистами и областью конвергенции [3] (о возможности терминологического разграничения с сохранением термина «область конвергенции» за языковым союзом в зачаточном, неразвитом виде см. [4]), аналогичным образом основано прежде всего на допущении конвергентного развития строя ряда ранее более или менее различавшихся, но территориально смежных неродственных или родственных языков. Путем выравнивания и последующей интеграции некоторых своих важнейших характеристик эти языки приобретают более или менее единообразный типологический профиль.

Даже на основании этих кратких замечаний можно сделать вывод, что концепции и методы, которые принимают во внимание и используют лишь одно из этих понятий, не учитывая одновременного или последующего действия другого фактора, являются односторонними и поэтому не соответствующими действительности. Они, следовательно, не раскрывают, а, скорее, извращают истинный смысл диахронического процесса языкового изменения. Это относится к изменениям как в контексте генетического родства, так и в рамках типологического сходства языков. Как я уже отмечал в других работах [5—7], генеалогическое родство всегда предполагает и типологическую общность, тогда как обратное, по-видимому, неверно.



типологическое сходство (или тождество) не обязательно предполагает происхождение от общего праязыка, особенно если при этом не может быть применен критерий территориальной смежности. Языковое изменение характеризуется постоянным и неуловимым взаимопроникновением дивергенции и конвергенции, причем доминирующим является то один, то другой процесс. В настоящей статье я попытаюсь показать на конкретных примерах сложное взаимодействие этих двух противоположных, но в то же время взаимообусловленных и уравнивающих друг друга тенденций языкового развития.

2. Прежде чем перейти к конкретному материалу, было бы уместно изложить еще несколько теоретических соображений. Одна из наиболее серьезных ошибок, которую совершают при историко-генетическом изучении языков и, в частности, при реконструкции утраченных праязиков, состоит в том, что язык-основу рассматривают как нечто чисто абстрактное, статичное, не подверженное изменению. Конечно, полезно и даже желательно в первом приближении построить теоретическую систему путем ее проекции, так сказать, на одну временную плоскость, пользуясь имеющимися данными. Речь идет как о свидетельствах ранних памятников, так и последующих источников во всем их пространственном и диалектном разнообразии, обусловленном региональными различиями в темпах развития и в плане соотношения архаизмов и инноваций. Такая абстрактная синхронная модель может быть использована в качестве отправной точки при изучении зафиксированного письменностью развития в рамках определенной языковой семьи. Но было бы серьезной ошибкой не сознавать, что самая ранняя теоретически реконструируемая фаза развития определенного языка-предка сама по себе не могла бы являться результатом более или менее длительного развития того же самого праязыка. Другими словами, реконструированный праязык восходит вместе с другими родственными ему («сестринскими») языками (которые сами могут быть праязыками, лежащими в основе какой-либо другой семьи близкородственных языков) к определенному «предпраязыку» (pre-protolanguage) [8, 9]. До распада на несколько относительно обособленных групп или отдельных языков праязык обладал, как правило, своей собственной, внутренне присущей ему динамикой изменения и обновления.

Следует отметить, кроме того, что наличие или отсутствие письменной фиксации праязыка часто является, конечно, чистой случайностью. Так, например, латынь, язык-основа романской семьи языков, обладает богатой многовековой письменной традицией, тогда как праскандинавский, общий источник скандинавских языков, известен лишь фрагментарно, по нескольким дошедшим до нас надписям, выполненным старшими рунами. В случаях, когда праязык не засвидетельствован, его можно реконструировать лишь частично на основе постоянно совершенствуемых исследовательских приемов сравнительно-исторического языкознания, дополняемых в случае необходимости методами внутренней реконструкции. Хотя данный термин иногда используют в самом широком смысле, я думаю, что он должен предполагать учет ряда функциональных чередований, действующих в рамках определенной синхронной системы; термин «внутренняя реконструкция» в данном контексте не следует рассматривать как синоним собственно лингвистической реконструкции в отличие от экстралингвистической [8, 10, 11, 13].

Проекция некоторых различий, свойственных ряду близкородственных языков (и диалектов), на их общую предисторию позволяет сделать вывод, что некоторые локальные изоглоссы, по-видимому, существовали и приобрели особую значимость в конечной фазе развития по существу еще однородного праязыка. Однако нет никаких оснований утверждать, что другие характерные черты не могли быть утрачены в каком-либо регионе праязыка на более ранней стадии его развития.

Возьмем два показательных примера. Звуковое изменение, известное как «германское передвижение согласных»: [p] > [f], [t] > [θ], [k] > [x]; [b] > [p], [d] > [t], [g] > [k], [bh] > [b], [dh] > [θ], [gh] > [g], было, по-видимому, не самым первым процессом, который отделил германский

от позднего праиндоевропейского. Однако оно принадлежало к самым ранним изменениям германской фонетической системы (фиксация ударения на первом слоге слова и некоторые изменения в системе гласных имели столь же важное значение и, по крайней мере частично, хронологически предшествовали передвижению согласных). Хотя германское передвижение согласных охватило позднее весь германский, мы никоим образом не можем быть уверены, что первоначально оно не затронуло лишь ограниченную область в рамках общегерманского языкового ареала, как это произошло впоследствии, когда имело место верхненемецкое передвижение, которое, как известно, не вышло за пределы области верхненемецкого. Точно так же можно показать, что в славянском первая (регрессивная) палатализация велярных ( $[k], [g], [x] > [č], [ž], [š]$  перед гласными переднего ряда), которую можно сравнить с более ранним процессом, проходившим в индоиранском ( $[k̥], [g̊], [kh̊], [gh̊] > [cā], [jā], [chā], [jhā]$ ), распространилась по всему славянскому языковому ареалу. Однако и в этом случае мы не знаем, ограничилось ли данное изменение на ранней стадии праславянского лишь определенным славянским регионом или проходило непосредственно, аналогично второй (регрессивной) палатализации велярных ( $[k̥] > [cē]$  и т. д.) или третьей (прогрессивной), а, возможно, и более ранней так называемой бодуэновской палатализации ( $[ik̥] > [iʃ/ʊs]$  и т. д.) [12, 13].

3. Оставляя в стороне проблему гипотетической ностратической группы отдаленно родственных языков и рабочую методичку, применяемую для реконструкции ностратического «предпраязыка» или некоторой его части, рассмотрим в самом общем виде индоевропейский и его доисторические стадии, восстанавливаемые с определенной степенью достоверности. Что же касается ностратической проблемы, то здесь следовало бы, возможно, только отметить, что хотя ранее полагали, что праностратический на значительной временной глубине лежит в основе как индоевропейских, так и уральских, алтайских, кавказских (точнее, картвельских), дравидских (точнее, эламодравидских), семитских и хамитских языков [14], ностратический, в соответствии с последними данными [15], охватывает и значительно большую группу языков Африки и Азии, язык-предок которых, названный праафроазиатским (Proto-Afroasiatic), включает семитские, египетские, берберские, кушитские, омотические и чадские языки.

Точка зрения, согласно которой все индоевропейские языки восходят в конечном счете к одному преимущественно однородному праязыку — праиндоевропейскому (эта концепция была выдвинута Ф. Боппом и А. Шлейхером, поддержана и развита младограмматиками и сторонниками сравнительно-исторического направления), подверглась серьезной критике Н. С. Трубецким в его известной, хотя и весьма дискуссионной статье, основные положения которой многими были восприняты как еретические [16]. В докладе Трубецкого, впервые представленном в 1936 г. на заседании Пражского лингвистического кружка, обсуждалась возможность рассмотрения праиндоевропейского не как однородного праязыка, лишь постепенно подвергающегося дифференциации и распаду, а как системы, которая хотя и лежит в основе всех индоевропейских дочерних языков, сама при этом является результатом вторичной конвергенции ряда менее тесно связанных языков. В терминах типологической характеристики Трубецкой был склонен признать, что индоевропейский структурный тип возник в процессе преодоления первичного флективного языкового типа, но достигнув, однако, полностью более развитой стадии агглютинативного языка. Особенно неприемлемым, по мнению многих, было его утверждение, что существование языковой семьи не обязательно предполагает происхождение всех входящих в ее состав групп от одного праязыка. По мнению Трубецкого, понятие языковой семьи, или генетического класса, просто обозначает группу языков, которые, наряду со структурными сходствами и схождениями, обнаруживают также значительное число материальных соответствий на уровне лексических и морфологических элементов, выражаемых регулярными фонологическими соответствиями. Иными словами,

Трубецкой считал возможной и более вероятной альтернативой допущение, что предшественники, или, точнее, праформы разных индоевропейских языковых групп первоначально обладали значительными различиями, но затем, в результате непрерывных контактов, взаимной интерференции и заимствований, сблизилась, не сливаясь, однако, полностью. По мнению Трубецкого, после фазы конвергенции наступил период дивергенции, который привел к последующей дифференциации различных групп индоевропейских языков. Здесь граница, отделяющая языковую семью от языкового союза, установленная впервые самим Трубецким [16, 17], оказывается несколько неожиданно размытой.

Точка зрения, согласно которой отдельные ветви индоевропейского можно непосредственно возвести к неким доисторическим группировкам «преиндоевропейского» или соотнести с ними на одно-однозначной основе, не может быть принята в настоящее время в такой прямолинейной форме. Концепция же, в соответствии с которой сам поздний праиндоевропейский может быть результатом длительного развития, включавшего как конвергентные, так и дивергентные процессы, не является, как кажется, лишеной основания и заслуживает дальнейшего рассмотрения. И хотя мы теперь склонны отвергать индо-хеттскую гипотезу в ее крайней формулировке [18—20], допускаяшей первоначальный раскол между праанатолийским и остальной частью индоевропейского (или собственно праиндоевропейским), мнение о раннем ответвлении или обособленном развитии анатолийской группы, лучше всего засвидетельствованной хеттским языком, тем не менее довольно широко распространено [21—24].

4. Переходя теперь к проблеме позднего праиндоевропейского, или индоевропейского эпохи распада, и исследуя ее в контексте взаимодействия противоположных процессов дивергенции (приводящей к дезинтеграции) и конвергенции (часто имеющей своим результатом реинтеграцию), рассмотрим в общих чертах проблему балто-славянского единства. Подводя итоги собственным размышлениям по данному вопросу, я недавно изложил свою позицию следующим образом: «Отдельные языковые типы, независимо от того, представляют ли они генетические языковые семьи, обязаны своим существованием сочетанию и порядку следования процессов дивергенции и конвергенции, двух противоположных направлений развития, которые иногда настолько тесно переплетаются, что их бывает трудно разъединить... Применение этого тезиса к самому раннему периоду развития славянского или, вернее, ко времени его вычленения из группы тесно связанных диалектов позднего праиндоевропейского со всей очевидностью показывает, что окончательное отделение славянского от его ближайшего соседа, балтийского (или, возможно, от его части), произошло лишь после длительного периода развития, в течение которого дивергентные тенденции чередовались с конвергентными процессами. Что касается хронологии, то распад общепольского (если действительно существовало некогда такое однородное языковое единство) наступил, вероятно, очень рано и, конечно, задолго до распада общеславянского во второй половине I тыс. н. э. Принимая также во внимание поразительно позднее появление балтийской письменности (не ранее ок. 1400 г. для древнепрусского и еще позднее для древнелитовского и древнелатышского), представляется возможным, что, по крайней мере, некоторые из лексических параллелей и синтаксических сходжений между древнепрусским и литовским, с одной стороны, и славянскими (особенно польским и белорусским) языками, с другой, обязаны своим возникновением не некоей ранней балто-славянской этнолингвистической общности, а, скорее, могут объясняться вторичной конвергенцией и даже сосуществованием на одной территории или, во всяком случае, близким соседством как в доисторическую эпоху, так и в ранний исторический период (но до появления каких-либо балтийских языковых письменных свидетельств). Более того, изучая природу и происхождение балто-славянских языковых связей, даже такой эрудированный и осторожный ученый, как Х. Станг, одно время не исключал существования явлений, свойственных языковому союзу, объединяющих славянский не только с балтийским, но, возможно, и с доисторическим германским. Хотя,

как я уже отмечал в других работах, я не считаю, что балто-славянскую проблему следует рассматривать исключительно в свете изложенной выше концепции, не вызывает сомнения, что всегда следует учитывать возможность конвергентных процессов как фактора, лежащего в основе некоторых соответствий [6, с. 12—13].

Можно указать четыре конкурирующих (но частично совместимых, а, следовательно, в известной степени и сочетающихся) подхода к балто-славянской проблеме: а) допущение промежуточной фазы балто-славянского языкового единства, следовавшей за позднепраиндоевропейским и предшествовавшей отдельному развитию балтийского и славянского; б) гипотеза о раздельном, параллельном развитии славянского и балтийского после распада позднего праиндоевропейского; в) «моделирующий» подход, рассматривающий по сути дела абстрактную прабалтийскую модель в качестве отправной точки (или прототипа) также и для общеславянского; г) точка зрения, предполагающая наличие языкового союза, или, скорее, теория конвергенции, согласно которой многие балто-славянские соответствия обязаны своим возникновением в основном вторичным контактам и совместному проживанию носителей соответствующих языков на одной и той же территории. Некоторое время тому назад я предпочитал, с известными оговорками, рассматривать особые балто-славянские черты преимущественно в контексте подходов в) и г). Впоследствии, однако, я стал склоняться к динамической концепции, постулирующей одновременные и чередующиеся процессы дивергенции и конвергенции. После появления моей статьи [6] Г. Э. Майер [25], сторонник теории раздельного развития балтийского и славянского непосредственно из праиндоевропейского, утверждал, что достаточно различать два подхода (а именно, с одной стороны, раздельное, параллельное и, с другой, впоследствии конвергентное развитие). В своей предыдущей работе [26], однако, он фактически продемонстрировал преимущества «моделирующего» подхода. Несколько позднее другой сторонник концепции раздельного развития двух этих индоевропейских семей (допускающий вместе с тем и вторичную конвергенцию) решительно выступил против интерпретации общеславянского как «непротиворечивой модели», а не как живого языка [22, с. 13]. Ряд ученых повторяет в несколько измененных формулировках старые аргументы или выдвигает новые в защиту или теории балто-славянского единства, или концепции раздельного развития этих языков (допуская при этом последующую частичную конвергенцию). Идея первоначального балто-славянского единства в рамках теории распада позднего праиндоевропейского была недавно с существенными оговорками поддержана Э. Голомбом [27, 28]. Близка к этой точке зрения концепция, выдвинутая Стангом [29], тогда как несколько отличная, но не вполне однозначная позиция была позднее занята В. В. Ивановым [30]. На стороне тех, кто выступает против идеи раннего балто-славянского этнолингвистического единства, кроме О. Н. Трубачева [31, 22] и Майера, можно назвать Ф. П. Филина [32] и Ю. Удольфа [33]. В настоящее время я предложил бы рассматривать генетические связи между балтийским и славянским как результат в основном трех факторов: 1) раннего балто-славянского единства, по существу восходящего к балто-славянскому праязыку, который лучше всего рассматривать как диалект позднего праиндоевропейского; 2) последующей дивергенции и отделения двух ветвей индоевропейского, которым сопутствуют или за которыми следуют вторичные конвергентные процессы, сближающие по отдельности балтийский и особенно славянский с другими ветвями индоевропейского (особенно с индо-иранской, германской, италийской и кельтской, хотя и необязательно в указанном порядке) и 3) позднейшей, вторичной конвергенции между балтийским и славянским, которая предполагает совместное проживание или сосуществование на одной территории носителей соответствующих языков и мощную интерференцию между этими двумя языковыми группами, заимствование и взаимное влияние, направленное в основном от славянского к балтийскому. Данный процесс по времени совпадал, вероятно, с миграцией славян из первоначального ареала их расселения (или предполагаемой исконной ро-

дины, хотя последняя и остается предметом дискуссий) в глубь бывшей балтийской территории. Завершившийся до появления первых памятников балтийской письменности (т. е. до ок. 1400 г. н. э.), этот процесс продолжался, по всей вероятности, вплоть до периода ранней славянской письменности (IX—XIV вв.). Таким образом, из четырех возможных подходов к балто-славянской проблеме, приведенных выше, в настоящее время я отдал бы предпочтение сочетанию подходов а) и г), скорее чем в) и г), т. е. концепции, включающей как (раннюю) дивергенцию, так и (позднейшую) конвергенцию, причем последняя, по-видимому, предшествовала полному расколу между балтийским и славянским.

Скептически относится к проблеме балто-славянского языкового единства (или праязыка) Г. Пол [34]. Вместе с А. Зенном он считает, что только несколько черт, унаследованных от праиндоевропейского диалекта северо-восточного региона Европы, восходят к периоду до разделения прагерманского, прабалтийского, праславянского и, возможно, также праязыка, лежавшего в основе индоевропейского древнебалканского. Однако большинство соответствий между балтийским и славянским Пол объясняет ареально обусловленной интерференцией и взаимопроникновением этих двух ветвей индоевропейского в более позднее время. Поэтому он придает методам ареальной лингвистики и ареальной типологии гораздо большее значение, чем чисто генетическим соображениям.

5. Развитие праславянского языка, которое привело к его окончательному распаду на отдельные подгруппы и конкретные языки, не совершалось, как известно, последовательно и прямолинейно в виде ничем не возмущаемой дивергенции и непрерывного разветвления [6, с. 13—14; 35, 36; 37, с. 20—35; 38]. Так, совершенно очевидно, хотя бы на основании ряда поразительных фонетических процессов (особенно развития групп плавных), что диалекты общеславянского, которые лежат в основе чешского и словацкого языков, относящихся в целом к западнославянской группе, должны были на определенном этапе принимать участие в процессе развития, которое впоследствии привело к образованию южнославянских языков. В других случаях определенные изоглоссы или даже пучки изоглосс пересекали линии, разделяющие основные подгруппы славянских языков. Так, например, изоглосса, отражающая развитие общеславянских *Cl'C* и *CelC*, дает *ColC > ColoC* не только во всех восточнославянских языках, но и в небольшой северной части лехитских языков (кашубский). Интересно тройное развитие группы *tl, dl*: часть южнославянских языков северо-западного ареала (а именно часть словенских диалектов) сохраняет указанную группу, как это наблюдается в западнославянских языках, в то время как во всех южнославянских и в большинстве восточнославянских языков эта группа упрощается в *l* (регионально, в русских говорах псковской и некоторых других областей того же района ограниченным вариантом развития является изменение в *kl, gl*). В данной связи следует также отметить, что Мареш [40] несколько лет тому назад предложил заменить традиционное тройное деление славянских языков, получаемое на основании генетических (в первую очередь, фонологических) критериев, более адекватной, по его мнению, тетрахомической (или, точнее, двойной дихотомической: северные/южные vs. западные/восточные) классификацией современных славянских языков на основании как генетических, так и типологических соображений.

Переходя к рассмотрению некоторых явлений в современных славянских языках, остановимся еще на нескольких примерах, связанных с действием самых последних по времени дивергентных и конвергентных тенденций развития, противодействующих или уравнивающих друг друга [6, с. 14—24].

Исключительно ярким примером того, как язык или диалект, который сам был результатом процессов разветвления и последующего деления, может потом вновь интегрироваться единой языковой общностью, от которой он первоначально отделился, служит современный кашубский язык, который так и не достиг статуса полноправного славянского литературного языка, но который в настоящее время может быть назван самостоятельным

диалектом. Кашубский, которому одно время угрожала насильственная германизация, является единственным дошедшим до нас представителем западнолехитской, или поморско-полабской, ветви западнославянской группы, т. е. словинский язык, который, по мнению некоторых ученых, являлся лишь его диалектным вариантом, исчез в конце XIX в. Польский язык, единственный представитель восточной, или, точнее, юго-восточной лехитской группы, является ближайшим современным родственником кашубского.

Если обратиться теперь к южнославянскому ареалу, то следует отметить, что число нерегулярных процессов, не являвшихся прямолинейными и сочетавших дивергентные и конвергентные тенденции развития, а также перекрещивающихся явлений здесь даже больше, чем на славянском севере. Прежде всего рассмотрим проблему македонского языка. Как я уже писал [6, с. 18—20], хотя и не может быть, конечно, никакого сомнения в независимом статусе современного македонского как литературного языка, нет оснований допускать существование древнемакедонского (или даже среднемакедонского) в средние века или в начале новейшего периода. Другими словами, современный македонский вместе с современным болгарским восходит к древнеболгарскому языку (который в своем литературном виде известен как старославянский), хотя и на другой, а именно западной, диалектной основе. В этом отношении, следовательно, предыстория македонского в общем аналогична предыстории словацкого, за исключением того, что последний сложился как литературный язык к середине XIX в., тогда как македонский — лишь в середине двадцатого столетия. В то же время несомненно, что некоторые изоглоссы, характерные для обоих языков, — древнего, позднеславянского происхождения. Однако такие изолированные черты, как *dz* из праславянского *dj* (для словацкого и польского) или *o* как рефлекс праславянского *ъ* в определенной позиции (это явление объединяет македонский не только со старославянским, но со всеми восточнославянскими языками), сами по себе не являются достаточным основанием для выделения известных языковых подгрупп и идентификации отдельных языков.

В данном контексте еще больший интерес представляет современный сербскохорватский язык. Совершенно очевидно, что то, что до сих пор рассматривается в сущности как один язык, хотя и в двух равноправных стандартных вариантах (сербский и хорватский), является конечным результатом длительного и сложного процесса исторической эволюции, включавшего моменты и конвергентного, и дивергентного развития, особенно на диалектном уровне. Так, общепризнано, что кайкавский диалект сербскохорватского языка был первоначально близок к раннесловенскому языку или, скорее, к предсловенскому языковому единству. Его интеграция с сербско-хорватским является следствием вторичного развития, включающего как дивергенцию (от основной части словенского), так и конвергенцию (с хорватским компонентом сербскохорватского). Точно так же торлацкий диалект, признанный в настоящее время четвертым диалектом сербскохорватского наряду со штокавским (с которым его раньше объединяли), чакавским и кайкавским и являющийся в то же время членом балканского языкового союза, впоследствии отошел от основного направления, по которому шло развитие сербскохорватского, и приобрел ряд специфических черт, которые сближают его с болгарским (и македонским). Кроме того, многое говорит в пользу допущения, что и основные диалекты сербскохорватского языка являются не столько «веточками» одной и той же ветви, сколько самостоятельными языковыми ветвями (возможно, отражающими различные миграционные пути прошлого), которые лишь позднее сблизились, т. е. подверглись конвергенции, не слившись, однако, полностью.

6. Перейдем теперь к другой индоевропейской языковой ветви и рассмотрим соответствующие аспекты германской группы языков. С генетической точки зрения германские языки по традиции делятся на три подгруппы: западногерманскую, северногерманскую (или скандинавскую, называемую иногда и северной) и восточногерманскую. Как и в случае со славян-

скими языками, здесь также предлагалось и другое деление: например, считали, что прагерманский первоначально распался только на две группы — западногерманскую и северогерманскую, причем от последней позднее отделилась восточногерманская группа, представленная главным образом готским языком (это связывается с предполагаемым скандинавским происхождением готов и других восточногерманских племен).

Что касается положения готского среди других германских языков, то его взаимоотношения с северногерманской и западногерманской подгруппами уже давно являются предметом дискуссии, и разные ученые по-разному оценивают отдельные изоглоссы, связывающие готский с той или иной частью германской этнолингвистической общности. До сих пор, однако, не подвергался сомнению тот факт, что готский является основным и единственным письменно зафиксированным представителем восточногерманской подгруппы (независимо от того, восходит ли данная подгруппа непосредственно к прагерманскому или она образовалась в результате вторичной дивергенции северногерманского на прасеверный и восточногерманский). Недавно высказанная В. Маньчаком мысль о происхождении готов с самого юга древней Германии мной не разделяется; моя дискуссия с Маньчаком на эту тему ведется в другой работе.

Что касается северногерманской (скандинавской) группы языков, то хотя она, по-видимому, достаточно четко определена в терминах локализации и идентификации, следует все же отметить, что ее специфические языковые связи с восточногерманской (готским) и западногерманской группами очень сложны и еще не исследованы полностью. Следовательно, отдельные детали взаимоотношений между северной и двумя другими ветвями германского также остаются дискуссионными [см. 41].

Что касается деления скандинавских языков на подгруппы, то можно привести несколько интересных примеров взаимодействия дивергенции и конвергенции как факторов языкового развития, используя данные генетической классификации этих языков и их письменно зафиксированной истории. Как известно, древнескандинавские языки делятся на две основные группы: западноскандинавскую (norrøn), в которую входят древнеисландский и древненорвежский (включая фарерский, т. е. слегка измененный древненорвежский, т. к. фарерский как более или менее развитый литературный язык сложился только в конце XVIII в.), и восточноскандинавскую, состоящую из древнедатского, древнешведского и древнегутнического, первоначально существовавшего в виде отдельного языка (на нем говорили и писали на острове Готланд). Начнем с того, что древнегутнический в свое время, еще в период средневековья, объединился с древнешведским, причем современный гутнический диалект шведского языка, отличаясь архаическим характером, сохраняет четко выраженные дифференциальные признаки вплоть до настоящего времени.

Важнее, однако, тот факт, что один из двух норвежских литературных языков, получивший более широкое распространение вследствие многовекового датского правления в Норвегии — bokmål, ранее носивший название riksmål (другим литературным языком является nynorsk, ранее известный как landsmål), — является своеобразным датско-норвежским конгломератом: его фонологическая система в значительной степени приспособлена к местным нормам произношения, а грамматическая структура и сегодня близка к структуре современного датского. Более того, сам датский язык, испытавший влияние нижненемецкого и других языков, постепенно утрачивает близкородственные отношения с литературным шведским языком, тогда как южношведский диалект провинции Сконе, долго находившейся под датским правлением, продолжает сохранять много соответствий и сходных черт с датским (особенно с говором острова Шелланд) в звуковой системе, морфосинтаксисе и лексике. Современный норвежский также имеет некоторые общие черты со шведским языком, причем наиболее поразительными среди них являются смягчение велярных ( $[k] > [x]$ ,  $[g] > [j]$ ) перед гласными переднего ряда и музыкальное ударение (акцент I vs. акцент II). Историческим и функциональным аналогом последнего в датском является stød, смычка голосовых связок, свойствен-

ная данному языку. Вследствие этого некогда четкое деление скандинавских языков на западные и восточные в настоящее время стерто или, вернее, затемнено рядом черт, сделавших это разграничение фактически несущественным.

7. Обратившись, наконец, к языковой группе, которая определяется на основе прежде всего типологических, а не генетических критериев (как это было в случае с индоевропейским, балто-славянской и германской группами), рассмотрим теперь в общих чертах языки, которые принято называть балканскими, в связи с тем, что они входят в так называемый балканский языковой союз. Как известно, в состав балканского языкового союза входят болгарский, македонский, торлацкий диалект сербскохорватского (остальные диалекты сербскохорватского связаны с балканским языковым типом только по периферии [42, 43]), албанский, румынский и новогреческий. Из этих языков румынский и новогреческий рассматриваются иногда как более периферийные по сравнению с основными балканскими языками — болгарским, македонским, торлацким диалектом сербскохорватского языка (так называемый «балканский славянский») и албанским. Турецкий язык, хотя он и сыграл важную роль как фактор, способствующий процессам интеграции на Балканах (особенно благодаря его проникновению в лексику балканских языков: в этой роли его можно сравнить с поздней латынью первых столетий н. э. на Балканском полуострове [44, с. 64—170]), в структурном отношении не является балканским языком, как и его гагаузский диалект, встречающийся в особенности в Болгарии. Нет полной уверенности и в том, что такая глагольная категория болгарского, македонского и торлацкого диалекта, как нарратив, а также аналогичные или подобные грамматические средства глагольной системы румынского (презумптив) и албанского (результатив, адмиратив), которые часто приписывают османскому влиянию [44, с. 173—174], действительно имеют своим источником турецкий язык.

Рассматривая балканские языки в терминах дивергентных и конвергентных тенденций развития, следует отметить, что если в развитии генетически родственных языков доминирующей является в основном дивергенция, а конвергенция действует как нерегулярный (или, по крайней мере, менее регулярный) фактор, то при возникновении и формировании такого языкового союза, каким является балканский, взаимосвязь и взаимодействие дивергенции и конвергенции становятся обратными. Это, в частности, находит выражение в термине «область конвергенции», употребляемом в том же или почти в том же значении, что и термин «языковой союз», поскольку, очевидно, конвергенция является предпосылкой языкового выравнивания, объединения и взаимного приспособления. В то же время здесь необходимо подчеркнуть, что хотя конвергенция действительно является важнейшим фактором формирования балканского языкового союза, входящие в него языки, которые представляют различные группы и подгруппы определенных языковых семей, также подвержены дивергентным тенденциям развития [45]. Это относится как к языкам, которые являются единственными сохранившимися представителями определенной индоевропейской ветви (например, греческий или албанский), так и к языковым семьям, большинство членов которых не входит в состав балканского языкового союза (например, румынский как самая восточная подгруппа романских языков). Другими словами, во всех этих языках можно наблюдать одновременное (или, лучше сказать, сопутствующее) развитие, направленное как к большому структурному (типологическому) сродству с другими балканскими языками, так и к большому их разнообразию (если этому не препятствуют другие конвергентные процессы в пределах отдельных языковых семей). Так, не все черты, отличающие, например, румынский от остальных романских языков или болгарский от славянских, можно рассматривать как балканизмы [46].

Наконец, следует упомянуть в этой связи, что характерные особенности балканского языкового союза не только проявляются на «поверхности» языковой структуры, но обладают также своим собственным «глубинным» измерением. Иллюстрацией данного положения могут служить следующие



явления: 1) замена синтетических средств выражения аналитическими в склонении, т. е. распад и полное разрушение падежной системы (в конечном счете унаследованной от индоевропейского) и, в частности, ранний синкретизм генитива/дativa; 2) постпозитивный артикль (хотя он и не встречается в новогреческом); 3) описательное будущее время со вспомогательными глаголами (частично отраженными в виде «окостеневших» частиц) с изначальным волитивным (а также притяжательным) значением, т. е. конструкции с глаголами типа *volo* и *habeo*, восходящие к разговорным постклассическим греческому и латинскому; 4) утрата инфинитива и его замена подчинительными предложениями с личными формами глагола — явление, распространяющееся и за пределы балканского языкового ареала (особенно в сербскохорватском, где оно постепенно охватывает и хорватский литературный язык); 5) так называемая редупликация объекта, предполагающая как бы плеонастическое (но фактически не полностью избыточное) употребление клитической формы личного местоимения при одушевленном объекте [47].

8. В заключение следует отметить, что понятия дивергенции и конвергенции не являются, конечно, новыми в историческом языкознании. В явной или скрытой форме они признаны в качестве решающих факторов большинства процессов, связанных с языковым развитием и изменениями в языке. Но конкретная роль, которую играют эти две противоположные тенденции в развитии генетически родственных и типологически сходных языков, обладающих общей судьбой в том или ином ареале, и в особенности сложный механизм, определяющий взаимоотношения и часто неустойчивое равновесие данных тенденций, их одновременное или последовательное действие — все эти факторы еще нуждаются в дальнейшем изучении и адекватном понимании. Подвергнув критическому рассмотрению ряд примеров дивергенции и конвергенции в различных языках и языковых группах, я пытался по мере возможности способствовать углублению знаний в данной области и лучшему пониманию природы и функций указанных факторов. Именно эти факторы определяют постоянную, непрерывную динамику развития языка как в синхронии, так и в диахронии.

Перевела с английского *Сизова И. А.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Andersen H.* Abductive and deductive change.— *Language*, 1973, v. 49.
2. *Birnbaum H.* Ongoing sound change and the abductive model: Some social constraints and implications.— In: *Proceedings of the Ninth Congress of Phonetic Sciences*. Copenhagen, 6—11 August 1979. V. 2. Copenhagen, 1979.
3. *Weinreich U.* On the compatibility of genetic relationship and convergent development.— *Word*, 1958, v. 14.
4. *Schaller H.* Neue Überlegungen zum Begriff des Sprachbundes und seiner Anwendung auf die Balkansprachen.— In: *Ziele und Wege der Balkanlinguistik*. Hrsg. von Reiter N. Berlin — Wiesbaden, 1983, S. 213—214.
5. *Birnbaum H.* Typology, genealogy and linguistic universals.— *Linguistics*, 1975, v. 144.
6. *Birnbaum H.* The Slavonic typological language community as a genetic and typological class.— *Die Welt der Slaven*, 1982, Bd. 27.
7. *Birnbaum H.* Language families, linguistic types, and the position of the Russian microlanguage within Slavic.— *Die Welt der Slaven*, 1983, Bd. 28.
8. *Birnbaum H.* Linguistic reconstruction: Its potentials and limitations in new perspective. Washington, 1977.
9. *Birnbaum H.* On protolanguages, diachrony, and «preprotolanguages» (Toward a typology of linguistic reconstruction).— In: *Езиковедски проучвания в чест на акад. В. И. Георгиев*. София, 1980.
10. *Kuryłowicz J.* On the methods of internal reconstruction.— In: *Proceedings of the Ninth International Congress of linguists*. Ed. by Lunt H. G. The Hague — Paris, 1964.
11. *Birnbaum H.* Problems of typological and genetic linguistics viewed in a generative framework. The Hague — Paris, 1970.
12. *Журавлев В. К.* К проблеме балто-славянских языковых отношений.— *Baltistica*, 1968, вып. 4, с. 89, 170, 173—175.
13. *Birnbaum H.* O możliwości utworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej (Kilka uwag o stosunku różnych podejść).— In: *American Contributions to the Seventh International*

- Congress of Slavists. V. 1: Linguistics and Poetics. Ed. by Matejka. L. The Hague — Paris, 1973, p. 43—44.
14. Ностратические языки и ностратическое языкознание: Тезисы докладов. М., 1977.
  15. *Bomhard A. R.* Toward Proto-Nostratic: A speculative reconstruction of the parent language of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam — Philadelphia, 1983.
  16. *Trubetzkoy N. S.* Gedanken über das Indogermanenproblem.— *Acta linguistica*, 1939, № 1.
  17. *Trubetzkoy N. S.* Proposition 16.— In: *Actes du Premier congrès international de linguistes*. Leiden, 1928—1930.
  18. *Sturtevant E. H.* The Indo-Hittite laryngeals. Baltimore, 1942.
  19. *Sturtevant E. H.* The Indo-Hittite hypothesis.— *Language*, 1962, v. 38.
  20. *Cowgill W.* More evidence for Indo-Hittite: the tense-aspect systems.— In: *Proceedings of the Eleventh International Congress of linguists*. Ed. by Heilmann L. V. II. Bologna, 1975.
  21. *Schmid W. P.* Das Hethitische in einem neuen Verwandtschaftsmodell. In: *Hethitisch und Indogermanisch. Vergleichende Studien zur historischen Grammatik und zur dialektgeographischen Stellung der indogermanischen Sprachgruppe Altkleinasiens*. Hrsg. von Neu E. und Meid W. Innsbruck, 1979.
  22. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики.— *ВЯ*, 1982, № 4—5.
  23. *Adrados E. R.* The archaic structure of Hittite: the crux of the problem.— *The Journal of Indo-European Studies*, 1982, v. 10, № 1.
  24. *Benveniste É.* The classification of languages.— In: *Benveniste É. Problems in general linguistics*. Coral Gables (Florida), 1971.
  25. *Mayer H. E.* Die Divergenz des Baltischen und des Slavischen.— *ZSlPh*, 1978, Bd. 40.
  26. *Mayer H. E.* Kann das Baltische als das Muster für das Slavische gelten? — *ZSlPh*, 1977, Bd. 39.
  27. *Gołqb Z.* Stratyfikacja słownictwa prasłowiańskiego a zagadnienie etnogenezy Słowian.— *Rocznik slawistyczny*, 1977, t. 38.
  28. *Gołqb Z.* The ethnogenesis of the Slavs in the light of linguistics.— In: *American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. V. 1. Linguistics*. Ed. by Flier M. S. Columbus (Ohio), 1983.
  29. *Stang C. S.* Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo, 1966.
  30. *Иванов В. В.* К пространственно-временной интерпретации балто-славянского диалектного континуума.— В кн.: *Балто-славянские исследования*. 1980. М., 1981.
  31. *Трубачев О. Н.* Реплика по балто-славянскому вопросу.— В кн.: *Балто-славянские исследования*. 1980. М., 1981.
  32. *Филин Ф. П.* О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков.— *БЯ*, 1980, № 4, с. 38—39.
  33. *Udolph J.* Studien zu den slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979, S. 637—639.
  34. *Pohl H. D.* Die balto-slavischen Einheit areal gesehen.— In: *Wiener Slavistisches Jahrbuch*, 1982, Bd. 28.
  35. *Birnbaum H.* On some problems of Common Slavic dialectology.— In: *International Journal of Slavic linguistics and poetics*, 1965, v. 9.
  36. *Birnbaum H.* The dialects of Common Slavic.— In: *Ancient Indo-European dialects*. Ed. by Birnbaum H. and Puhvel J. Berkley — Los Angeles, 1966.
  37. *Birnbaum H.* Zur Problematik der zeitlichen Abgrenzung des Urslavischen (Über die Relativität der Begriffe Baltoslavisch/Frühurslavisch und Spätgemeinslavischer Dialekt/Ureinzelslavine).— *ZSlPh*, 1971, Bd. 35.
  38. *Birnbaum H.* Über unterschiedliche Konzeptionen der slavischen Ursprache und ihrer mundartlichen Gliederung (Entgegnung zum Diskussionsbeitrag E. Weihers).— *Anzeiger für slavische Philologie*, 1974, Bd. 7.
  39. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков.— В кн.: *Исследования по славянскому языкознанию*. Под ред. Толстого Н. И. М., 1961.
  40. *Mareš F. V.* Die Tetrachotomie und doppelte Dichotomie der slavischen Sprachen.— In: *Wiener Slavistisches Jahrbuch*, 1980, Bd. 26.
  41. *Haugen E.* The Scandinavian languages: An introduction to their history. Cambridge (Mass.), 1976.
  42. *Birnbaum H.* Balkanslavisch und Südslavisch: Zur Reichweite der Balkanismen im südslavischen Sprachraum.— *Zeitschrift für Balkanologie*, 1965, Bd. 3.
  43. *Šimić R.* Das Serbokroatische zwischen den balkanslavischen Sprachen und den übrigen Slavinen.— *Zeitschrift für Balkanologie*, 1982, Bd. 18.
  44. *Solta G. R.* Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen. Darmstadt, 1980.
  45. *Reiter H.* Balcanologia quo vadis? — *Zeitschrift für Balkanologie*, 1981, Bd. 17.
  46. *Schaller H.* Das Bulgarische und seine Bedeutung für die Balkanphilologie.— *Linguistische balkanica*, 1983, v. 26, № 2.
  47. *Birnbaum H.* Tiefen- und Oberflächenstrukturen balkanlinguistischer Erscheinungen.— In: *Ziele und Wege der Balkanlinguistik*. Hrsg. von Reiter N. Berlin—Wiesbaden, 1983.

ЛУЦЕНКО Н. А.

## ВИД И ВРЕМЯ

(Проблемы разграничения и взаимодействия)

До сих пор достаточно отчетливо не сформулированы различия между такими существенными для глагола категориями, как время и вид. Применительно к одним языкам до сих пор еще не решено, признаки какой из названных категорий отображены во всех или некоторых глагольных формах данного языка, применительно к большинству других — где проходит граница между сферами аспектуальности и темпоральности [1, 2]. В настоящей статье высказывается ряд соображений по указанным вопросам, причем эти соображения ориентированы прежде всего на факты русского и некоторых других родственных ему языков.

Актуальность изучения вопроса о соотношении в языке сфер времени и вида определяется прежде всего тем, что в зависимости от конкретных особенностей его истолкования находится характер выдвигаемой концепции вида. В связи с этим авторы некоторых работ не без оснований считают указанный вопрос центральным вопросом аспектологических исследований [3].

Многообразие имеющихся толкований взаимоотношения между видом и временем охватывается перечислением нескольких обобщенных случаев. Применительно к какому-либо языку в литературе обычно:

(1) постулируется избыточность одной из категорий — вида или времени (вид//время);

(2) указывается на трансформируемость признаков вида в признаки времени и наоборот, из чего вытекает (выводится) возможность представлять признаки вида в терминах времени, а временные различия в терминах вида (вид  $\rightleftharpoons$  время) [4; отчасти 5, с. 41 и сл.];

(3) считается, что между видом и временем имеет место отношение взаимодополнения (сосуществования и независимости: вид; время) [6; 7, с. 41; 8, с. 75];

(4) отмечается, что между видом и временем существует отношение взаимовлияния (связи и зависимости — /вид: + :время/) [9, с. 60, 68; 10, с. 235; 11, с. 50; 12, с. 129—130; 13, с. 80].

Между указанными точками зрения не наблюдается абсолютных границ ни в теоретическом, ни в историко-лингвистическом смысле<sup>1</sup>.

Глагол представляет собой конструктивное ядро, организующий центр предложения [14, с. 84]. Именно в предложении как единице коммуникации формируются критерии и признаки его грамматической оформленности, возникает и стабилизируется потребность в выражении того или

<sup>1</sup> В плане истории разработки проблемы укажем, что М. В. Ломоносов (1757), как известно, видовые отношения растворял во временных. Позднее К. С. Аксаков (1855) и Н. П. Некрасов (1865) выдвинули вызвавшую оживленные отклики идею вневременности русского глагола, подчеркивая главенствующее положение в нем именно видовых признаков. В западноевропейской лингвистике, наоборот, В. Штрайтберг (1891) выступил со столь же неожиданной теорией, в которой попытался обосновать видовой (перфективный) характер некоторых приставочных и бесприставочных глагольных образований в германских языках. Вопреки очевидной необходимости и тому интересу, с каким обычно рассматривалось соотношение вида и времени, принципы разграничения сфер этих категорий не были сформулированы достаточно отчетливо. Пытаясь выйти из тупика, некоторые лингвисты пришли к идее трансформируемости видовых значений во временные и наоборот. Этот подход, однако, сам по себе не снял проблемы разграничения сфер аспектуальности и темпоральности и скорее лишь обострил необходимость поисков непосредственных и опосредованных звеньев их связи.

инного грамматического значения. Вполне оправданно поэтому стремление лингвистов при определении сущности вида и времени исходить из предикативного (коммуникативного) значения этих категорий.

В разрешении этого вопроса, однако, обычно не делается поправок на те сдвиги, которые могли и/или должны были произойти в структуре языка со времени возникновения грамматической категории. В результате таких сдвигов изначальные факторы возникновения категории или видоизменялись, или вовсе исчезали из сознания, становились трудноопределимыми (ср. категорию рода существительных). Очевидно, что теория таких преобразований еще не может считаться достаточно разработанной, однако ее принципы и частично понятийный аппарат уже намечены в работах А. А. Потебни [14], А. И. Стендера-Петерсена [15], В. А. Богородицкого [16], Л. Ельмслева [17] и др. Следует отметить, что в трудах этих и других авторов изложены, — с нашей точки зрения, вполне убедительно — основания такого подхода, представлены конкретные образцы его реализации на материале различных структурных языковых подразделений, в том числе и на материале глагола. Опыт названных выше исследователей убеждает в следующем: осуществляя многоаспектный анализ какой-либо категории, необходимо исходить из нескольких трансформирующихся друг в друга вариантов отношения категории к ее коммуникативно-реальной основе.

Что из этого следует для нас конкретно? Очевидно, то, что точка зрения (1) и близкая к ней (2), предполагающая трансформируемость признаков вида в признаки времени и наоборот, могут быть объяснены функциональным и/или историческим видоизменением факторов, вызвавших к жизни одну из обсуждаемых категорий. Соответственно, точки зрения (3) и (4), поскольку они (за редкими исключениями) выдвигаются обычно применительно к разным языкам, могут представлять различные функциональные и понятийные ступени перехода друг в друга факторов, определяющих коммуникативное назначение данных категорий.

Задача, следовательно, заключается в том, чтобы, во-первых, установить сущность упомянутых факторов, во-вторых, проникнуть в механизм их взаимопереходов, на основании чего в дальнейшем окажется возможным объяснить взаимоотношения между видом и временем.

Все сказанное свидетельствует о том, что теоретически в каком-либо языке первичной может быть любая из обсуждаемых категорий — вид или время [ср. 8, с. 73]. Представляется, однако, что движение в какой-либо языковой области от системы времени к системе вида и, наоборот, движение в другой языковой области от системы вида к системе времени практически не может давать одинаковых результатов. Для индоевропейской семьи языков, вслед за рядом лингвистов, с нашей точки зрения, целесообразно принять тезис о первичности вида по отношению ко времени (И. Нетушил, В. Штрайтберг, Г. Хербиг, Э. Кошмидер, П. С. Кузнецов, Я. Сафаревич и др.). «С научной... точки зрения, — писал, например, И. Нетушил, — категория эта (вида. — Л. Н.) должна быть положена прямо в основание всякого рассуждения о временах того или другого индоевропейского языка, в особенности когда дело касается исторического развития значения и употребления глагольных форм» [18, с. 85; ср. 19, с. 163].

Существенно, однако, что вопреки этому требованию реально дело чаще обстоит иначе: лингвисты стремятся характеризовать не время на основе вида, а, наоборот, вид на основе времени. Речь прежде всего идет о том, что при попытке определить предикативное (предикатно-коммуникативное) значение вида лингвисты, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, сводят его к коммуникативному значению категории времени; в большинстве современных исследований понятие времени оказывается едва ли не решающим при определении сущности вида [4, с. 6 и сл.; 12, с. 126, 130]. В аспекте синхронии подобный подход не может не вызывать недоумения и вопросов [20]. Некоторые языковеды после критического обсуждения указанных позиций пришли к выводу, который, безусловно, заслуживает внимания: вид — это категория, выражающая

отношение действия не только ко времени, но и к пространству [11, с. 52]. Отношение к пространству при этом восстанавливается теоретически — на основе методологических предпосылок, а не обнаруживается в самом материале [11, с. 51—53]. Все это дает основания полагать, что в области индоевропейских языков произошло перераспределение отношений между категориями вида и времени в пользу второй категории [ср. 9, с. 68—69, 21, с. 6], вследствие чего употребление каждой из них и определяется теперь тем «субъективным» (Л. Ельмслев) отношением, которое составляет коммуникативную основу категории времени. Отметим интересный и важный факт, так или иначе подтверждающий этот вывод: из двух обсуждаемых нами категорий к категориям, формирующим понятие предикативности, причисляется, как правило, только категория времени. Там же, где вид добавляется ко времени при пояснении сущности предикативного отношения, с ним не связывается никаких особых характеристик, которые бы отличали его в этом плане от времени. «Функцию локализации субъекта во времени, — пишет, например, И. Пете, давая характеристику предикативным отношениям, — выполняют в русском языке категории времени и вида, в пространстве же — категория лица» [22; ср. 12, с. 130, 23, с. 121].

Что, однако, составляет действительную, реально-детерминированную основу вида как категории? И. Нетушил пытался найти эту основу в обозначении пространства, понятия которого, по его мнению, послужили образцом для постепенной выработки временных понятий. «Многочисленные факты индоевропейских языков, — писал И. Нетушил, — доказывают, что... индоевропеец представлял себе время в образе места, то есть переносил свои представления о конкретных обстоятельствах пространства на понятие времени. Так, например, предлоги по большей части служили первоначально наречиями, но потом стали употребляться также и для обозначения времени...» [18, с. 86]. Древние индоевропейцы рассматривали пространство динамически, оценивая его двояко: 1) «как исходную или заключительную точку движения»; 2) «как линию, пройденную каким-либо движением». На этой основе, считал Нетушил, возникло представление о двойном виде действий, что и дало содержание соотносительным элементам вида: понятие совершенного вида, согласно Нетушилу, сводится к представлению о пространственной точке, для несовершенного вида существенным является представление о пространственной линии. Отдавая должное глубине этих рассуждений, отметим, что И. Нетушил, однако, не смог, на наш взгляд, уберечься от влияния на его исследовательскую мысль модели отношений, характеризующих современное индоевропейское языковое состояние. Автора можно упрекнуть и в том, что он не предполагает изменяемости во времени сущности вида. Ближе к нашему времени факт подобной изменяемости, однако, обусловил не только понятийную, но и терминологическую дифференциацию «пространственно-целевого» («объективного», «семантического») и «темпорологического» («субъективного») толкования вида [24, с. 3 и сл.]. «Совершенный и несовершенный виды, — писал И. Нетушил, — употребляются соответственно с тем, желает ли говорящий отметить только исходный или заключительный момент какого-либо действия или же, наоборот, он намеревался обратить внимание на все протяжение времени, в течение которого развивалось это действие» [18, с. 87]. Использование понятия времени тут еще вряд ли уместно, но обратим внимание, как интересно заканчивает И. Нетушил свою мысль: «Таким образом, — отмечает исследователь, — глагольные виды — не что иное, как только выраженные своеобразных представлений примитивного индоевропейца о времени действия, резко отличающихся, конечно, от того, что теперь называем „временем действия“, подразумевая под этим отношение действия к моменту, в который говорящий упоминает об этом действии» (там же). К тому, что здесь как бы мимоходом высказывается важнейшая мысль о трансформационной (исторической) связи между категориями вида и времени, можно добавить следующее. Рациональный смысл приведенных суждений состоит еще, во-первых, в том, что предметно-содержательной основой вида признается

понятие пространства или, точнее, — отношение говорящего к пространству, во-вторых, в том, что речь должна идти именно о динамической (по Балли — феноменистической) оценке пространства. При этом ничто не мешает считать, что видоизменение указанного отношения и составляет действительную (изначальную) основу перехода от вида ко времени, поскольку прежде всего особенностями и характером отношения субъекта и действия (функцией субъекта относительно действия) определяется ракурс грамматической видо-временной интерпретации процесса [25, 26]. Подчеркнем, что предпосылки отмеченного видоизменения обусловлены именно тем, что речь должна идти не о действии как таковом, а только об отношении к действию. В индоевропейских языках видоизменение подобного отношения представлено в виде перехода от точки зрения на действие деятеля (активного субъекта) к точке зрения наблюдателя (пассивного субъекта), т. е. перед нами сдвиг в сторону представления о пассивном (созерцающем) субъекте. Чтобы это понимать не только в общем, но и в частности, необходимо отдавать себе отчет в том, что позиции таких субъектов различаются не только тем, что они используют различные ориентиры (критерии) для измерения интенсивности движения (действия). Позиция деятеля характеризуется напряженным отношением к действию, для него первостепенное значение имеет, как это отражено в некоторых аспектологических концепциях (Л. П. Размусена и др.), момент достигнутой цели. Действие оценивается именно с точки зрения этого момента, с точки же зрения данного момента важно, насколько приближено действие к нему, в какой фазе своего протекания пребывает. Указанный момент — вершина не только развития, но и интенсивности действия. Поэтому чем ближе действие к завершению, тем более интенсивным оно представляется. Так называемые мгновенные глаголы в русском языке (*сверкнуть, рвануть*) — это одновременно и «интенсивные» глаголы, поскольку момент достижения цели включен в содержание подобного глагола как фазовая характеристика обозначенного им действия. Развивающееся действие, предшествующее моменту достижения цели, осмысливается как предпосылка его, подготовка к нему, следующее за ним (достижение цели) — пауза, являющаяся предпосылкой нового цикла действия. В известном речении *тянут-потянут* из русской сказки «Репка» *потянут* функционирует как знак паузы, поскольку импульсно-напряженный (снимающий возможность деления на фазы) характер действия здесь выражен другой формой (*тянут*) [27].

В соответствии с тем, что, как отмечено, позиция наблюдателя вторична по отношению к позиции деятеля и, — отсюда — признак прекращенности базируется на признаке законченности (достижения цели, предела), а не наоборот, — совершенно правильными следует считать выводы тех лингвистов, которые отмечают, что относительная временная функция глагольных форм изначально обусловлена видовым признаком законченности [9, с. 69]. Сравнительно позднее образование форм перфекта от имперфективных глаголов [9, с. 63] объясняется тем, что сравнительно поздним для языкового сознания является и признак прекращенности действия, который заместил (но еще не вытеснил) признак законченности, вследствие чего образовалась возможность в перфекте представлять признак «чистой» прекращенности, используя для этого имперфективные глаголы. Однако во взаимосвязи вида и времени время вторично, и конституирующее временное понятие прекращенности мыслится производным от видового понятия законченности, что, например, в русском языке проявляется в употреблении некоторых несовершенных форм — формы прошедшего времени, инфинитива, сослагательного наклонения и др. Функциональную соотношенность таких форм с формами совершенного вида объясняют обычно по-разному: ее сводят к немаркированности несовершенного вида, говорят о присоединении грамматического значения формы (изначально перфективной) к грамматическому значению основы; называются также и внешние причины — социально установившаяся традиция употребления. И. Г. Милославский, в частности, говоря о причинах последней разновидности как о «фактах, относящихся к presupпозиции», и

предлагая учитывать в конкретном анализе такие факторы, отмечает: «Например, в предложении *Кто-нибудь покупал сахар?* налицо перфектное значение глагола (ср. *Есть ли у кого-нибудь сахар?*). Однако это перфективное значение невозможно вывести ни из вида, ни из времени, ни из лексического значения глагола. Это перфектное значение следует из знания того, что практическое участие в „покупании“ такого общедоступного продукта уже гарантирует положительный результат этого действия — приобретение, обладание» [28]. Подчеркнем, что такие факты мы предлагаем объяснять, все-таки исходя из взаимосвязи вида и времени, из того, что в конкретном речевом употреблении [17, с. 122; 15, с. 3—4] позиция деятеля стремится обнаружить себя, в связи с чем конситуативно происходит подмена признака прекращенности признаком законченности. В частности, во фразе типа *Кто строил этот дом? Кто писал эту записку?* характером и формой вопроса актуализируется позиция деятеля; вследствие этого признак прекращенности (время) трансформируется в признак законченности (достигнутости цели) — происходит как бы конситуативная регенерация видого значения<sup>2</sup>.

Специфические морфологические глагольные формы типа *постоял, почитал*, польск. *poszytał* и т. п., наоборот, отражающие мироощущение наблюдателя, по-видимому, по той же причине (на основе процесса подмены признаков) обычно без оговорок относят к совершенному виду. Однако если признаком совершенного вида считать достигнутость предела, цели действия (позиция деятеля), то подобные формы этот признак не выражают [ср. 29]; они указывают только на то, что действие прекращено. В этой связи следует отдать должное языковому чутью тех лингвистов, которые глаголы указанного типа характеризуют как «претеритивные» [30].

Аналогичным типом актуализации — конситуативным сдвигом позиций (наблюдатель → деятель) в русском языке объясняется также сближение по признаку связи с настоящим форм простого и сложного будущего (*Она сейчас оденется! Как долго ты будешь заниматься?* — в обоих случаях действие начато), вопрос о чем до сих пор относился к числу неразрешенных и спорных [31].

Подобным образом могут быть объяснены и другие своеобразные случаи взаимоотношений видо-временных образований (см. ниже).

С точки зрения наблюдателя любое законченное (ненаблюдаемое) действие будет прошедшим. Наблюдатель отчуждает от себя ненаблюдаемое действие, поэтому в маркированных глагольных формах прошедшего (русск. *писал*, укр. *писав*, чешск *psal* и т. п.), как правило, не отражен факт присутствия субъекта речи при осуществлении действия. Отметим, что альтернативой позиций деятеля и наблюдателя («принципа вида» и «принципа времени») объясняются на первый взгляд непонятные совпадения, например, в болгарском языке форм аориста и перфективного презенса (*помогна, повя* и т. п.), употребление тех же аористов для выражения различных семантических вариантов настоящего совершенного в ряде других языков: санскр. *astoshi* «(по)хвалю» (аор.); греч. *ἀπέμωξα* «(по)клянусь» (аор.); кабард. *естуц* «отдаю, отдана мною» (аор.) и т. д. [32].

В числе отношений между функциями глагольных форм, располагающихся в рамках общей проблемы взаимоотношения вида и времени, наиболее сложным и одновременно достаточно показательным с точки зрения рассмотренного выше является отношение *praesens historicum* к другим функциям глагольных форм (настоящего и прошедшего).

Принимая тезис структурной грамматики о том, что настоящее — это темпорально немаркированная форма (+А, где А — признак прошед-

---

Морфологическим элементом, относительно которого осуществляется это преобразование, является показатель *-л*, имевший первоначально, как следует из наших рассуждений, не временное, а видовое (перфективное) значение. В русском и других славянских языках перфективный характер данного показателя «законсервирован» в образованиях на *-лый*, выражающих, независимо от характера основы, перфективно-статальное значение (*стылый, вялый, зрелый* и т. п.).

шего), легко прийти к заключению, что настоящее историческое — это употребление немаркированной формы в функции А (+А). Обозначение конкретно протекающего действия (актуальное настоящее) — это функция не-А (-А). Однако, как известно, то, что называют настоящим историческим, по крайней мере в русском языке, включает две разновидности: 1) историческое настоящее на месте совершенного претерита; 2) историческое настоящее на месте несовершенного претерита [34].

В отличие от второй разновидности настоящего исторического и функционально эквивалентной ей в данном плане формы прошедшего несовершенного (и ранее — имперфекта [34, с. 179; 11, с. 48—49]), настоящее историческое первой разновидности — это прошедшее деятеля (участника), который не отчуждает действие от себя (иначе — не «овторостепенивает» его [11, с. 48—49]), а представляет только как прекратившееся. Для лица-деятеля (участника ситуации) действие, однако, может прекратиться, только будучи законченным, поэтому настоящее историческое данной разновидности — аналог формы прошедшего совершенного вида. Ср.: *И дева падает* (= упала. — Л. Н.) *на ложе...* (А. Пушкин, Полтава). Настоящее историческое данной разновидности вместе с тем представляет собой и определенный компромисс между деятелем (говорящим) и наблюдателем (слушающим). А. Лескин не был столь уж неправ, как утверждают [35, с. 252], говоря о том, что в немецком предложении *Da blitzt ein Licht auf* «Вот вспыхивает свет» глагол перфективен. Как и в настоящем историческом первой разновидности, в данном случае речь идет об употреблении говорящим формы перфективного вида для слушающего, который не в состоянии представить в восприятии мгновенное действие одновременным акту мысли. Из этого следует, что, употребляя актуальное настоящее совершенного вида, говорящий, наоборот, игнорирует позицию слушающего (наблюдателя) и/или избегает компромисса, или трактует слушающего как деятеля. Ср.: *А ты чего огня-то не зажжешь?* (Н. Лесков, Разбойник); *Что же ты не расскажешь, как твоя служба?* (А. Малышкин, Люди из захолустья).

Настоящее историческое наблюдателя (вторая разновидность) — это всего лишь «оживленное» прошлое, представленное им как протекающее, совершающееся на глазах. Ср. пример с двумя обсуждаемыми разновидностями настоящего исторического, где различие форм-субститутов отчетливо отображает характер различия между обозначением совершенного (связанного с субъектом-деятелем) и обозреваемых (связанных с субъектом-наблюдателем) действий: *И вдруг видит* (= увидел. — Л. Н.) *звеньевой: по жнивью бежит* (= бежал. — Л. Н.) *парень, а чуть дальше полыхает* (= полыхал. — Л. Н.) ДТ-75 (Правда, 1983, 16 окт.). Следует, однако, отметить, что эволютивно имперфективное настоящее историческое деятеля (аналог совершенного вида) вторично по отношению к перфективному настоящему историческому [ср. 36]. Если исходить из смысловой соотносительности этих форм, а также соотносительности актуального и неактуального планов, то необходимо признать, что и в актуальном плане форма презенса изначально представляла, очевидно, интенсивно-недискретное действие, с точки зрения вида однозначно не характеризуемое (ср. *тянут* в *тянут-потянут*, а также общие суждения Н. Ван-Вейка [35, с. 241]). Как свидетельство изначальной немаркированности форм презенса относительно признака перфективности могут толковаться примеры типа — *Вы скоро едете (поедете)? — Завтра еду (поеду)*: здесь под влиянием условий контекста в форме со значимостью  $\pm A$  (где А — перфективность), по-видимому, актуализируется элемент (+А), благодаря чему формальное выражение перфективности становится излишним.

Как вытекает из сказанного, постановка вопроса о том, что выражают в языке те или иные формы — вид или время, вполне правомерна, как и правомерен вопрос о том, где проходит и чем определяется граница между аспектуальностью и темпоральностью. В системе глагола индоевропейских языков «принцип вида» [35, с. 238] (позиция деятеля) постепенно был вытеснен «принципом времени» (позиция наблюдателя). Нам уже



приходилось писать о вторичности категории времени по отношению к категории вида, о тех аспектных (проспекция — ретроспекция) сдвигах в системе, к которым приводило вхождение в парадигму признака времени. Благодаря формированию категории времени система изменяет доминантную — проспективную — свою ориентацию (соответствующую позиции деятеля) и приобретает новую (соответствующую позиции наблюдателя), определившую собой сложную семантическую природу (вследствие усложнения аспектной основы системы) глагольных форм [37].

Исчезновение из системы русского глагола простых глагольных времен произошло, очевидно, вследствие того, что в системе уже были формы, отражающие интерпретацию действия наблюдателем (перфект), и острой необходимости в соответствующем переосмыслении аориста (хотя период его смешения с имперфектом все же имел место; ср. такие формы, как ст.-слав. *послаше, приведоуху, взяху*, лужицк. *rišo, rožedašo* и др. [38; 7, с. 51]) не было; вместе же с аористом исчезал и его морфологический коррелят — имперфект. Необходимо отметить, однако, что в русском языке исчезновению аориста и имперфекта предшествовал ряд не менее интересных процессов. Как известно, материал памятников вначале дает примеры употребления форм аориста и имперфекта от основ как перфективных, так и имперфективных глаголов (*приходиша, идоша, вложашу, растреляху* и т. п.). В дальнейшем развитие происходит таким образом, что формы аориста начинают образовываться от перфективных основ, а формы имперфекта — от имперфективных основ. Этот и другие факты, в том числе упомянутые выше, на наш взгляд, свидетельствуют о двух тенденциях: 1) об установлении определенного равновесия между «принципом вида» и «принципом времени», выступавшими на начальном этапе их взаимодействия как «принцип аориста» (вид, динамика) и «принцип имперфекта» (время, статика); 2) о постепенном формировании обусловленности видовых значений временными (переходе к «принципу времени», шире — смысловой трансформации системы), благодаря чему лингвисты в настоящее время говорят о временном распределении видов [13, с. 85]. Эти две тенденции получили неодинаковое проявление в различных славянских (и не только славянских) языках, поэтому следует считаться с тем, с каким языковым материалом «работает» лингвист, выдвигая тот или иной тезис о соотношении в языке времен и видов. В частности, утверждение Б. Гавранка о том, что в старославянском языке различие между аористом и имперфектом не имеет ничего общего со значениями глагольных видов [34, с. 177], а также подобные утверждения современных болгаристов, безусловно, ориентированы на факты, связанные с реализацией первой тенденции, из чего, естественно, никоим образом не может выводиться общий принцип независимости категорий вида и времени [см. 8, с. 72—73]. К тому же этот или ему подобный другой принцип должны быть тщательно проверены на всех формах исследуемого языка. Опыт же показывает, что на этом пути как раз труднее всего добиться единства оценок и взглядов<sup>3</sup>.

Разумеется, мы коснулись только части вопросов и фактов, формирующих предметную область проблемы взаимоотношения вида и времени [ср. 39]. Разрешение этой проблемы, теоретически не только важной, но и весьма сложной, требует поисков новых методических путей, методологической осторожности и строгости. Только в этом случае удастся найти необходимые объяснения и успешно пройти сквозь лабиринт имеющихся противоречий.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Маслов Ю. С. К основаниям сопоставительной аспектологии.— В кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978, с. 5.
2. Никитевич В. М. Грамматические категории в современном русском языке. М., 1963, с. 149.
3. Dombrowsky J. Über den Ursprung und die Herausbildung des Aspekt-Tempussystem des slavischen Verbums.— Slavica, 1967, VII, S. 42.

<sup>3</sup> В русистике такими спорными формами являются, например, причастия и деепричастия, в болгаристике — аорист и имперфект, в славистике — грфект и т. п.

4. *Harweg R.* Aspekte als Zeitstufen und Zeitstufen als Aspekte.— *Linguistics*, 1976, 181.]
5. *Мигирин В. Н.* Язык как система категорий отображения. Кишинев, 1973.
6. *Бункина И. К.* История глагольных времен в болгарском языке. Времена индикатива. М., 1970, с. 12.
7. *Ермакова М. И.* Значение форм прошедшего времени в нижнелужицком языке (по памятникам XVI—XVIII вв.).— В кн.: Краткие сообщения Ин-та славяноведения, 1961, № 30.
8. *Дешериева Т. И.* К проблеме соотношения глагольных категорий вида и времени.— ВЯ, 1976, № 4.
9. *Рябова Г. М.* Соотношение категорий вида и времени в процессе их развития в немецком языке (на материале прошедших времен глагола).— Уч. зап. 1-го ЛГПИИЯ, 1955, новая серия, вып. II.
10. *Бондарко А. В.* Вид и время русского глагола (значение и употребление). М., 1971.
11. *Ковачев Ст.* К вопросу о категориях времени и вида.— Болгарская русистика, 1977, № 3.
12. *Мартынов В. В.* Категории языка. М., 1982.
13. *Домов А. М.* Время и вид русского глагола: особенности взаимодействия.— В кн.: Русский язык в науке и учебной практике. Воронеж, 1981.
14. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. 1-2. М., 1958.
15. *Стендер-Петерсен А. И.* О пережиточных следах аориста в славянских языках, преимущественно в русском.— In: Acta et commentationes universitatis Tartuensis (Dorpatensis). V. Humaniora, XVIII. Tartu, 1930.
16. *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. М.— Л., 1935.
17. *Ельмслев Л.* О категориях личности-неличности и одушевленности-неодушевленности.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
18. *Нетушил И. В.* Об основных значениях греческих времен.— ЖМНП, 1891, июнь.
19. *Herbig G.* Aktionsart und Zeitstufe.— IF, 1896, Bd. VI.
20. *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983, с. 79.
21. *Milewski T.* O genezie aspektów słowiańskich.— Rocznik slavistyczny, 1939, XV.
22. *Пете И.* Типы синтаксической модальности в русском языке.— *Studia slavica*, 1970, t. XVI, fasc. 3—4, s. 222.
23. *Kothaj I.* K otázke triedenia gramatických kategorii slovesa. Studie z porovnavej gramatiky a lexicologie. Bratislava, 1974.
24. *Koschmieder E.* Aspekt und Zeit.— *Opera Slavica*. IV. Slavistische Studien zum V. Internationalen Slavistenkongress in Sofia. Göttingen, 1963.
25. *Золотова Г. А.* К понятию предикативности.— В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975, с. 150—151.
26. *Луценко Н. А.* О перфектной функции глагольных форм настоящего (на материале причастий современного русского языка).— ФН, 1983, № 5, с. 74.
27. *Филатова-Хелльберг Е.* Дедка за репку (структура одной русской сказки).— In: *Studia Slavica Gunnaro Jakobsson sexagenario a discipulus oblata*. Göteborg, 1980, s. 33.
28. *Милославский И. Г.* О соотношении номинативных и синтаксических свойств языкового знака.— ИАН СЛЯ, 1975, № 4, с. 361.
29. *Koschmieder E.* Zeitbezug und Sprache. Ein Beitrag zur Aspekt- und Tempusfrage. Leipzig—Berlin, 1929, S. 31.
30. *Koschmieder E.* Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarzysie. Proba syntezy. Wilno, 1934, s. 168.
31. *Шелякин М. А.* О спорных вопросах видо-временной системы современного русского глагола.— Уч. зап. Тартуского ун-та, 1980, вып. 524, с. 4.
32. *Debrunner A.* Sprachwissenschaft und Klassische Philologie.— IF, 1930, Bd. 48, Hf. 1, S. 11—12.
33. *Авдеев Ф. Ф.* Роль имперфективного презенса в историческом настоящем единичного действия.— Изв. Воронежского гос. пед. ин-та, 1976, т. 172, с. 100.
34. *Гауранек Б.* Вид и время глагола в старославянском языке.— В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962.
35. *Ван-Вейк Н.* О происхождении видов славянского глагола.— В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962.
36. *Стрекалова Э. Н.* Употребление форм настоящего времени в польском языке XVI века.— В кн.: Краткие сообщения Ин-та славяноведения, 1961, № 30, с. 79.
37. *Луценко Н. А.* Категория вида в русских причастиях (значение и употребление): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982, с. 8.
38. *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. М., 1903, с. 232.
39. *Věličová-Křížková H.* Ke vztahu kategorie vidu i času v spisovných slovanských jazycích.— *Slavia*, 1981, № 2.

ЕРШОВ А. П.

**МАШИННЫЙ ФОНД РУССКОГО ЯЗЫКА**

(Внешняя постановка вопроса)

Между экономикой и языком как системами существует немало сходных черт [ср. 1]. И та и другая в миллиардах единичных актов человеческой деятельности обнаруживают одновременно как изменчивость, так и устойчивость. Объективные законы каждой из этих систем складываются из интегрирования индивидуальных актов сознания, которые тем не менее подчиняются общим закономерностям системы. Было бы очень важно, чтобы в лингвистике, как и в экономике, произошел переход от методов наблюдения к методам измерения. Ведь только измерительный подход в экономике позволил создать экономические модели, выдвинуть экономические методы управления и приблизить экономику к разряду точных наук. Конечно, этот переход давно наметился, но появление вычислительной техники дает этой проблеме совершенно новую постановку. Аналогия с экономикой показывает лингвистике как диапазон возможностей, так и величину дистанции, которую надо преодолеть, чтобы получать от языка прямые ответы на огромное количество нерешенных вопросов. В этом плане весьма продуктивным было бы осуществление диалога человека с ЭВМ на естественном языке при условии ограничения этого диалога так называемой «деловой прозой». Надежда на продуктивность этой гипотезы основана на другой гипотезе — о внутренней формализованности любого устойчивого процесса производства и возникающих в нем человеческих отношений. Любой прогресс в области построения моделей и алгоритмов останется, однако, академическим упражнением, если не будет решена важнейшая задача — создание **Машинного фонда русского языка**. Это — фундаментальная проблема, решение которой будет иметь очень большую научную, общекультурную и прикладную ценность и окажет огромное влияние на саму лингвистику и ее место в обществе. По существу должна произойти некоторая смена парадигмы этой науки. Создание **Машинного фонда языка**, безусловно, станет могущественным средством нашего знания о языке, знания полного, не отстающего от хода времени, детального и обобщенного вместе, подвижного и инерционного, накапливающего все предыдущие временные срезы. При этом **Машинный фонд языка** должен, по крайней мере, содержать полный словарь и генератор словоформ, а также формализованный словарь (тезаурус) языка.

Еще один аспект отношения «ЭВМ в языке» — это проблема овладения языком. Прежде всего следует отметить явное увеличение в настоящее время роли печатного, услышанного и произнесенного слова. Круг словесного общения сейчас очень интенсивен. Средства массовой информации многократно повышают интенсивность такого общения, хотя, возможно, и делают его не столь прямым. Феноменальный рост личных книжных собраний дополняет эту интенсификацию. Есть ряд свидетельств тому, что широкое внедрение учебных ЭВМ в школе позволит радикально изменить ситуацию с изучением русского языка. Первые опыты применения ЭВМ в школе показывают, что машина может стать активным партнером в учебном процессе, создавая, где нужно, игровую обстановку, увеличивая элемент состязательности, обеспечивая индивидуальность и мгновенность реакции, побуждая к сознательному знанию и одновременно стимулируя и тренируя всяческую моторику, закрепляющую добытое знание.

Другой аспект интенсификации работы с русским языком я бы назвал проблемой экспансии языка, имея в виду его роль как языка межнацио-

нального общения и как мирового языка. И здесь я не вижу никаких причин для того, чтобы уклоняться от культурного соревнования с другими мировыми языками, и прежде всего с английским. Большое значение приобретает в этой связи создание различных словарей, в том числе энциклопедических. Конечно, мы делаем в этом плане очень много. У нас есть замечательные словари. Например, вышел великолепный однотомный «Советский энциклопедический словарь». Но ведь его нужно издавать каждый год, поддерживая конъюнктурные изменения. Праздником нашей культуры стало появление Лермонтовской энциклопедии, но где энциклопедии Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, Горького? Почему Академический словарь русского языка должен выходить один раз в пятнадцать-двадцать лет? Можно этому найти много причин и обнаружить их объективность. Вопрос, однако, состоит в том, как можно преодолеть обстоятельства, этими причинами вызванные.

Нельзя забывать, что словарное и, вообще, лексикографическое дело для ведущих европейских языков — английского, французского, немецкого — уже давно поставлено на машину и соединено с достижениями полиграфии, прежде всего с фото- и электронным набором. Можно и должно дорожить накопленными фондами в их теперешнем виде, развивать сложившиеся методы работы. Мне эта задача представляется очень важной. Она важна не только для повышения культурного уровня нашего общества и не только для усиления интегративных процессов в нашей стране, но и для реализации функции русского языка как языка международного общения. А для того, чтобы понять, что тут все не так просто, достаточно просмотреть международные научные журналы, которые публикуют статьи как на русском, так и на английском языках, и посмотреть, как изменилось соотношение языков опубликованных текстов за последние двадцать лет.

Продолжая эту линию, я хотел бы поговорить о «языке в ЭВМ». Сначала небольшое философское отступление. За последние десятилетия начинает складываться представление о трех формах существования материи — вещества, отражающего постоянство материи, энергии, отражающей движение материи, и информации, отражающей структуру материи и сам процесс ее познания. Эти три формы дают определенную периодизацию развития человеческой цивилизации: освоение вещества, создание материального производства, овладение принципом единства материи (от глубины тысячелетий до начала XX в.); затем освоение энергии, создание энергетического изобилия, овладение принципом единства энергии и ее связи с веществом (от XVIII до XXI вв.) и, наконец, освоение информации, создание полной информационной доступности, овладение принципом единства процессов обработки информации в естественных и искусственных системах (от XX века в будущее). Через развитие средств электро-связи, вычислительных средств, автоматизации и робототехники нам предстоит где-то в середине XXI века войти в период «сплошной информатизации», который в своем внешнем выражении будет характеризоваться следующими показателями: грандиозной сетью электронной связи с полумиллиардом входов; полной автоматизацией техносферы с несколькими миллиардами встроенных микро-ЭВМ, двумя или тремя сотнями миллионов персональных ЭВМ и интеллектуальных терминалов, подключенных к сети связи; десятимиллионной иерархией универсальных ЭВМ, поддерживающих управление обществом и сетью связи; переносом на машинные носители практически всей информации, циркулирующей в обществе.

Все это должно не только существовать, но и воплощать полноту и доступность знания, хранить в себе достоверную информационную модель мира, быть в постоянном употреблении всеми людьми, реализуя на новой основе принцип единства человеческого рода. Возникает вопрос: как человек будет общаться с этой «инфосферой», как он будет побуждать машины к действию, как он будет черпать из этого грандиозного фонда знания, как он будет относиться к новому жителю своего дома — компьютеру? При первых же размышлениях над этим вопросом сразу возникает уже достаточно хорошо известная номенклатура конкретных технических

проблем: организация диалога с базами данных; составление баз знаний и общение с ними (база знаний отличается от базы данных, грубо говоря, тем, что представляет теорию более высокого порядка: если в базе данных — конкретные факты, то в базе знаний — общие суждения и определенные дедуктивные свойства); извлечение смысла из текста в виде команд, фактов, энциклопедических знаний и т. п.; пополнение знаний (очень сложная задача, т. к. речь идет не о механическом добавлении нового факта или суждения, а об установлении всех возможных связей с уже накопленной системой знаний); машинный перевод; синтез текста. О последней проблеме я хотел бы поговорить несколько подробнее. Каждый из нас сейчас читает много текстов, которые почти исключительно написаны людьми. Мы должны готовиться к тому, что это человеческое начало в текстовой информации начнет уступать заметное место машине. Хочу предупредить, что я не имею в виду машинного стихосложения или любовных писем, составленных роботом. Я говорю о реальных вещах, связанных прежде всего с деловой прозой. Сейчас, например, автоматизация проектирования становится стержнем технического прогресса. Но неотъемлемой частью автоматического проектирования становится синтез технических описаний. Причем это не отдельные фразы или перечни слов в каких-то фиксированных таблицах. Это нормальный связный текст. Уклониться от рассмотрения такой проблемы нет никакой возможности. Во всем большем количестве конструкторских бюро изготовление технической документации — узкое место. Профессия «технического писателя» — самая дефицитная. Нет людей, которые имеют вкус к такой работе. Устранить человеческий язык из технической документации никак нельзя.

Кроме технической документации к этой синтетической прозе нужно будет отнести большое количество сводок, отчетов и других текстовых свидетельств. Здесь — мой особый призыв к лингвистам. Очень не хотелось бы обречать деловую прозу на посредственность. На первый взгляд деловая проза бесконечно далека от интереснейших задач внутреннего изучения русского языка, например, от изучения поэтических рядов. Есть ли у деловой прозы коммуникационная сверхфункция, есть ли у нее одухотворенность и чем она может быть красива — все это тоже, как мне кажется, достойнейшая задача науки о русском языке.

Я позволю себе закончить еще одной аналогией. Надеюсь, что она подчеркнет объем и размах предстоящей работы.

Мы хотим как можно глубже познать природу языка и, в частности, русского языка. Одним из выражений этого познания должна стать модель русского языка. Это формальная система, которая должна быть адекватной и равнообъемной живому организму языка, но в то же время она должна быть анатомически препарированной, доступной для наблюдения, изучения и изменения. Я хочу сопоставить эту еще не существующую модель с другой моделью, созданной человечеством для изучения неживой природы, — математическим анализом и даже с одной лишь его ветвью — дифференциальными уравнениями. Нет никаких сомнений в том, что по сравнению с русским языком — это куда более скромная область. И в то же время интеллектуальный багаж этой части науки огромен. Сколько мы имеем разных руководств, теорий, сколько методов решений дифференциальных уравнений, как велик поток литературы, как тщательно мы учим этому в университетах и технических вузах. Если сравнить размах области знаний, связанных с моделированием форм неживой материи, с нынешним статусом и объемом науки о языке, то станет ясно, что мы только в самом начале пути. Думается, что лишь сознание необходимости и неотвратимости качественного перелома в науке о языке, сознание ее общенаучной и государственной важности смогут создать тот запал и энтузиазм, без которого проблему Машинного фонда русского языка решить невозможно.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Rossi-Landi F. Linguistics and economics. The Hague-Paris, 1975.
2. Еришоа А. П. Методологические предпосылки продуктивного диалога с ЭВМ на естественном языке. — ВФ, 1981, № 8.

АНДРЮЩЕНКО В. М.

### МАШИННЫЙ ФОНД РУССКОГО ЯЗЫКА: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ \*

1. Впервые задача создания машинного фонда русского языка была сформулирована А. П. Ершовым в докладе «К методологии построения диалоговых систем: феномен деловой прозы» в 1978 г. [1]. В связи с проблемой взаимодействия человека и ЭВМ на естественном языке, прежде всего в производственных и иных регламентирующих отношениях, А. П. Ершов поставил задачу научить машину полностью воспринимать и понимать деловую прозу как языковой носитель модели производственных отношений. Социально-экономическая посылка необходимости решения этой задачи состоит, говоря словами автора, в следующем: «Мне кажется нереальным насытить производственные отношения вычислительными машинами, расставляя во всех стыках бесчисленные интерфейсы в виде формализованных предписаний, стандартных бланков и других средств предварительной подготовки информации для машины. Время на обработку или синтез документа будет почти всегда соизмеримо со временем его исполнения, подрывая тем самым все выгоды автоматизации. Мы не можем внедрить машины в повседневную жизнь, выделяя касту жрецов-посредников, но в таком случае должны быть готовы к тому, что число человеко-машинных интерфейсов в диалоговых системах возрастет с течением предстоящих 50 лет на несколько порядков. Не хватит никаких сил на то, чтобы снабдить эти миллионы интерфейсов специализированными языками и процессорами» [2, с. 6].

Рассмотрев конструктивные следствия, вытекающие из этой посылки, а также накопленные знания и технологические приемы системного программирования в области построения языковых процессоров, А. П. Ершов пишет далее: «Любой прогресс в области построения моделей и алгоритмов останется, однако, академическим упражнением, если не будет решена самая важная задача создания машинного фонда русского языка. Это фундаментальная проблема, решение которой будет иметь большую научную, общекультурную и прикладную ценность... Очень хотелось бы видеть, что создание машинного фонда русского языка квалифицированными лингвистами опережало бы создание производственных лингвистических систем, потому что это не только бы позволило избежать дублирования больших усилий, но и защитило бы здоровую ткань русского языка от самоуправства и неквалифицированного подхода» (разрядка наша. — А. В.) [2, с. 11].

Идея создания Машинного фонда русского языка как технологической основы для разработки систем общения с ЭВМ и обработки данных на естественном языке нашла отклик в среде системных программистов и разработчиков ЭВМ, послужила предметом дискуссий на конференциях и семинарах, была поддержана лингвистической общественностью. Языковедческая мысль связывает с этой идеей возможности подлинной и комплексной автоматизации лингвистических исследований и разработок, прежде всего в области лексикографии, и на этой основе — возможности

\* В основу данной статьи положен доклад автора «Концепция и архитектура машинного фонда русского языка», прочитанный им на Конференции по проблемам создания машинного фонда данных для автоматизированной системы лексикографических исследований (Москва, 21—23 февраля 1983 г.), а также материалы состоявшейся дискуссии.

более широкого участия лингвистов в решении задач, сформулированных в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве» от 18 августа 1983 года (№ 814) (опубликовано в Правде 28 августа 1983 г.). Актуальность проблемы автоматизации лингвистических исследований с каждым днем возрастает: сегодня эта проблема может быть также рассмотрена в связи с обсуждением проектов ЭВМ пятого поколения, которые должны обладать встроенными языковыми процессорами и программно-аппаратными средствами обеспечения банков знаний [3].

Осенью 1982 г. Научный совет по лексикологии и лексикографии АН СССР совместно с Секцией лингвистических проблем обработки информации Научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» АН СССР распространил вопросник, посвященный проблемам создания Машинного фонда русского языка, с целью собрать и систематизировать мнения специалистов. Полученные ответы на вопросы, записи бесед и обсуждений, замечания к предложениям Комиссии по машинным фондам языка помогли сформулировать излагаемую ниже концепцию Машинного фонда русского языка<sup>1</sup>.

Прошедшая в феврале 1983 г. Конференция по проблемам создания Машинного фонда русского языка и обсуждение результатов этой конференции и выработанных по ее решению предложений на заседании Бюро Отделения литературы и языка АН СССР показали глубокую заинтересованность академических и вузовских языковедов в реализации этой программы, их готовность к освоению технологических средств «безбумажной информатики» [см. 4] с целью повышения производительности своего труда, более широкого участия в решении прикладных задач современности.

2. Предложения по созданию Машинного фонда русского языка определяют фонд как систему комплексной автоматизации научных исследований и прикладных разработок в области языкознания, опирающуюся на ряд лингвистических банков данных, реализуемых на средних и мини-ЭВМ в нескольких наиболее крупных академических и отраслевых институтах и вузах под единым координирующим руководством Института русского языка АН СССР. Предусматривается создание следующих фондов-составляющих:

- Генеральный словарь Машинного фонда русского языка;
- Иллюстрационно-текстовый фонд русского языка;
- Терминологический фонд русского языка;
- Академический словарно-грамматический фонд русского языка;
- Лексикографическая база Машинного фонда русского языка;
- Лингвостатистическая база Машинного фонда русского языка;
- Фонд процессоров русского языка;
- Фонд лингвистических алгоритмов и программ;
- Информационно-справочный фонд по русистике.

Каждый из этих фондов-составляющих может быть организован как подсистема единой системы, называемой Машинный фонд русского языка,

<sup>1</sup> Ответы на вопросы по проблемам создания Машинного фонда русского языка прислали А. Б. Антопольский, Ю. Д. Апресян, М. А. Балабан, К. Б. Бектаев, Л. Н. Беляева, И. Г. Бидер, И. А. Большаков, В. В. Бородин, А. С. Герд, Б. Ю. Городецкий, В. П. Григорьев, Т. А. Грязнухина, А. В. Зубов, Л. П. Крысин, Н. Н. Леонтьева, М. Г. Мальковский, Т. М. Николаева, Ю. К. Орлов, В. И. Перебийнос, Р. Г. Пиотровский, Р. П. Рогожникова, Ю. В. Рождественский, В. Ю. Розенцвейг, А. А. Романовский, В. Ш. Рубашкин, Л. В. Сахарный, В. Н. Телия, Б. В. Сухотин, Г. С. Цейтлин, А. Я. Шайкевич, З. М. Шаляпина, Д. Н. Шмелев, И. Б. Штерн. Предложения Комиссии автор обсуждал с А. П. Ершовым, Ю. Н. Карауловым, Ю. Д. Апресяном, И. А. Большаковым, А. С. Гердом, О. С. Кулагиной, М. Н. Реммелем, Г. С. Цейтлин, мнения которых оказали наибольшее влияние на формирование точки зрения автора, который стремился в той или иной мере учесть и обобщить все предложения и замечания. Автор искренне благодарен всем участникам обсуждения этой проблемы.

и состоять из частных баз лингвистических данных, таких, как собрание полных авторских текстов, статистических выборок из текстов, цитат и т. д. в составе Иллюстрационно-текстового фонда; собрание информационно-поисковых тезаурусов, стандартизированной лексики, отраслевых научно-технических номенклатур, лексики, зафиксированной наиболее крупными русскими словарями, такими, как БАС, МАС, словари В. И. Даля, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова; справочный фонд, образованный рядом ортологических словарей и справочников, справочный фонд русских академических грамматик — в составе Академического словарно-грамматического фонда; собрания статистических данных о лексике, грамматике, текстообразовании в составе Лингвостатистической базы Машинного фонда русского языка.

В состав Академического словарно-грамматического фонда должны войти наряду с данными о современном языке данные о лексике и грамматике предшествующих периодов развития русского языка, соотнесенные с текстами памятников, образующих отдельные базы данных в составе Иллюстрационно-текстового фонда, а также данные диалектологии, социо- и психолингвистики, соотнесенные со средствами обработки анкетных форм в составе Информационно-справочного фонда.

Фонд процессоров русского языка может быть образован системами программ, формальных словарей и формальных грамматик русского языка, разработанных в наиболее развитых системах автоматического перевода и в системах общения с ЭВМ на русском языке. Языковые процессоры, т. е. программы автоматического анализа и синтеза русского текста, будут использоваться и как средство автоматизации лингвистических, прежде всего лексикографических, работ и будут развиваться в составе Машинного фонда русского языка как его собственные продукты, предназначенные для поставки заинтересованным организациям в качестве лингвистических подсистем автоматизированных систем управления, обработки информации и проектирования. Лингвистическое обеспечение процессоров русского языка — формальные словари и грамматики — будет служить также образцом для постепенного преобразования основных данных о современном русском языке в форму автоматических словарей и грамматик, используемых лингвистическими программами.

Фонд лингвистических алгоритмов и программ может быть образован находящимися в эксплуатации и созданными в рамках Машинного фонда русского языка программами и руководствами по их использованию, предназначенными для автоматизации основных видов работ, — текстовыми редакторами, автокорректорами, программами издательской подготовки, синтеза табличных форм, статистической обработки языкового материала, обучения русскому языку, анализа и синтеза русской речи [5].

Информационно-справочный фонд по русистике должен состоять из нескольких информационных систем: библиографической системы, документальной системы для учета документации самого фонда, информатора фонда, систем обработки анкетных форм и др.

Лексикографическая база Машинного фонда русского языка может быть образована типовой автоматизированной лексикографической системой, снабженной основными программными средствами автоматизации лексикографических работ: средствами формального проектирования словарей, образования словника, подбора иллюстрационного материала, процессорами русского языка и др.

Источником для образования словников новых словарей должен служить Генеральный словник Машинного фонда русского языка, в основу которого может быть положен Сводный словник словарей русского языка, составленный коллективом сотрудников Словарного сектора ЛО Института языкознания АН СССР [6]. В дальнейшем состав сводного словника может пополняться путем учета в нем всех слов, адресующих словарные модули всех компонентов Машин-



ного фонда русского языка. Генеральный словарь должен содержать наряду со сведениями о вхождении слов в те или иные словари и частные фонды также сведения, необходимые для порождения формальных частей словарных статей, зависящих от характера соответствующей вокабулы — часть речи, лексико-грамматический класс, состав форм, если необходимо, исключения и нерегулярности форм, общенормативные сведения и др.

Особенностью излагаемого проекта создания Машинного фонда русского языка является то, что он должен реализовываться как распределенный банк лингвистических данных, т. е. его компоненты могут физически находиться в разных местах и дублироваться в соответствии с потребностями их использования. Это относится также и к пользовательским базам данных, которые будут создаваться в рамках фонда, в качестве продукта исследователей, работающих в фонде. Это означает, что вновь созданные в среде фонда словари и грамматики как бы автоматически включаются в фонд, расширяя его возможности. Единство фонда будет поддерживаться единством проекта, регламентом обмена информацией, однородностью систем управления базами данных, соглашениями о применении технических и программных средств. Предложения включают также задачи по проектированию машинных фондов национальных языков народов СССР. Проект создания Машинного фонда русского и национальных языков в полном объеме рассчитан на 15 лет, в течение которых во всех институтах языкознания и крупных вузах должны быть внедрены типовые системы комплексной автоматизации лингвистических работ и информационно-справочного обслуживания языковедов, средства автоматизированной подготовки изданий и автоматизации редакционно-издательского процесса на базе мини- и микро-ЭВМ.

Изложенная концепция и архитектура Машинного фонда русского языка является обобщением многочисленных работ, проводившихся как в нашей стране, так и за рубежом в области автоматизации лингвистических исследований, автоматического перевода, автоматической лексикографии, автоматизированного терминологического обслуживания, автоматической обработки текстов и общения с ЭВМ на естественном языке. Основной предпосылкой создания Машинного фонда является дальнейшее согласованное ведение этих работ в рамках единой программы, возможность обмена данными и программами, возможность комплектации этих материалов в пакеты программ, в автоматизированные системы обработки лингвистических данных, в лингвистические базы и банки данных. В настоящее время в различных организациях накоплены на машинных носителях значительные текстовые и словарные фонды на русском языке, имеются разнообразные программы обработки лингвистических данных. Эти программы и данные при известных организационных и технологических условиях могут быть объединены в фонды, аналогичные фондам алгоритмов и программ, и, таким образом, могут стать основой для дальнейшего развития перечисленных выше компонентов Машинного фонда.

**3.** Изложенный проект создания Машинного фонда русского языка направлен на решение следующих основных и взаимосвязанных задач:

Создать возможность эффективной централизованной разработки и поставки промышленности и НИИ лингвистического обеспечения для разрабатываемых систем общения с ЭВМ на русском языке и систем обработки документов в естественной языковой форме<sup>2</sup>;

<sup>2</sup> Одной из основных характерных черт проекта ЭВМ пятого поколения является ориентация на взаимодействие пользователя и ЭВМ на естественном языке. В число базовых прикладных систем этих машин планируется включить многоязычные системы автоматического перевода со словарем объемом порядка 100 тыс. словарных статей, запросно-ответные системы с естественно-ограниченным языком общения, системы понимания письменной и устной речи. Это означает, что в ближайшие 10—15 лет потребуются формализованный словарь русского языка, сравнимый по своему объему с БАС, и формальная грамматика, сравнимая по полноте с Академической грамматикой русского языка. Такие труды не могут быть подготовлены лишь силами отраслевых подразделений, необходима надотраслевая лингвистическая организация, ответственная за разработку лингвистического обеспечения ЭВМ пятого поколения.

составления словарей, поиска и обработки научной информации, анализа текстов, проведения классификационных работ, подготовки аппарата изданий и т. п.;

заложить на машинных носителях сокровищницу данных о русском языке во всем объеме этого понятия, во всех его временных и территориальных формах.

Переход к новым методам сбора, хранения, анализа и сопоставления данных о языке, новые методы создания и новые формы лингвистических источников, таких, как автоматические словари и грамматики, могут быть жизнеспособными и эффективными, если они опираются на общую филологическую традицию и культуру, на глубокое изучение языка и учет информации о нем во всех формах его существования. Однако соединение традиции и новых задач практики нужно искать на путях новой информационной технологии, развиваемой системами обработки данных на естественном языке в интеллектуальной среде человеко-машинного общения.

Представляется необходимым уже на ранних этапах осуществления этого проекта зафиксировать те исходные теоретические установки, которые будут определять в дальнейшем его лицо и сущность. В основе проекта Машинного фонда русского языка лежат идеи «безбумажной информатики», соединенные с принципами концепции «лингвистического конструирования», как они изложены в книге [7, с. 16—17]: «Лингвистическое конструирование — это совокупность обобщенных способов и приемов компиляции и комбинирования „образцов решений проблем“, экстраполяции уже имеющихся, готовых теоретических и практических результатов, полученных в разных областях лингвистики, и их прямого или эвристического использования для преодоления трудностей и решения проблем, возникающих в тех же или других областях при построении новых лингвистических объектов. Создать, построить какую-то „вещь“, значит не только уметь объяснить те свойства языка, которые в ней использованы и на которых она основана, не только объяснить определенные закономерности языковой структуры, но и выявить новые свойства построенного объекта, так или иначе характеризующие исследуемый язык, а значит — расширить наши знания о человеческом языке вообще. Таким образом, новым лингвистическим объектом будем называть такое представление фактов, языковых данных, которое генерирует новую информацию о языке. Как правило, такие объекты получают не в результате описания некоторого материала, а возникают как результат эксперимента, причем эксперимента, понимаемого широко. В этом смысле и ностратическую теорию, и порождающую грамматику, имеющие целью каждая создание нового объекта, следует трактовать как лингвистический эксперимент».

Концепция «лингвистического конструирования» связывает воедино две цели: удовлетворение насущных потребностей практики использования языка в компьютерных системах и развитие самой лингвистики путем преодоления ее собственных трудностей и противоречий. О наличии таких трудностей свидетельствует тот факт, что наиболее фундаментальные лингвистические труды, каковыми являются академические словари и грамматики, оказываются в наименьшей степени пригодными в качестве источников для словарей и грамматик прикладных систем обработки данных на естественном языке. Это приводит к тому, что в прикладных областях возникает собственная «кибернетическая» лингвистика, собственная «машинная» лексикография, собственное отраслевое терминоведение и т. д. Причины этого явления следует искать в сложившемся противоречии между реальным атомизмом исследовательской практики и уже хорошо осознанной целостностью и системностью лингвистического объекта. Не раз отмечалось в литературе, что ни в одном словаре не удается последовательно провести принцип системности описания лексики даже в пределах уже известных приемов ее отражения — это, несомненно, связано с атомистическим подходом к конструированию словарных статей [см. 7,

с. 24; 8]. Несмотря на то, что давно осознана и теоретически изучена динамичность языковой синхронии, в рамках теоретической лингвистики нет ни одной реальной динамической грамматики языка — это, несомненно, связано с «маломерностью» лингвистического восприятия: чтобы понять конструктивную суть генеративной лингвистики и развить далее этот аппарат, необходимо было выйти в вычислительный эксперимент, размерности которого превышают обычную в исследовательской практике двумерность бумажного листа<sup>3</sup>.

Переход к использованию ЭВМ, т. е. к «безбумажной информатике», снимает противоречие двумерности бумаги как традиционного носителя лингвистической информации и многомерности лингвистического объекта; противоречие статичности описания и динамичности существования объекта и результатов конструирования; реальности традиционного результата как неперемного условия существования научной истины и виртуальности существования объектов, описываемых порождающими механизмами, алгоритмами и реализующими их программами; исторически обусловленной кумулятивности лингвистических данных и избирательности их использования.

Последнее противоречие характерно для лексикографии. Ф. П. Сороколетов писал в [10, с. 40], что понятие системы словарей в советском языкознании возникло и разрабатывалось в связи со стремлением сохранить гуманитарную традицию, ставящую естественный предел допустимым объемам словарных статей и их сложности. Это приводит к физическому многообразию типов словарей, каждый со своим составом лексикона, схемами словарных статей и рубриками лексикографического описания. В свое время лексикографическая концепция системы словарей, которые «в совокупности... должны выполнить задачу, которую ставил перед своим словарем-тезаурусом А. А. Шахматов» [10, с. 41], стала значительным достижением лексикографической мысли. Действительно, собрать в одном словаре, в одной словарной статье все мыслимые данные о каком-либо слове и при этом согласовать между собой структуры словарных статей по всем вокабулам не представляется ни возможным, ни практичным с точки зрения использования словаря. С другой стороны, использовать в практике множество словарей, рассогласующихся<sup>4</sup> между собой в составе словников и в методах подачи, не менее непрактично, а создать серии согласующихся между собой словарей по всем параметрам еще менее возможно, чем один словарь-thesaurus в смысле А. А. Шахматова. Ярким примером тому является наличие многих ортологических словарей, изобилие которых вряд ли намного лучше, чем их недостаток [11].

Переход к методам «безбумажной информатики», к средствам современной автоматической лексикографии позволяет вернуться к шахматовской традиции, спрятать внутри базы данных всю действительную сложность и объемность описания, сделав для пользователя «видимой» каждый раз ту часть thesaurus'a и в том представлении, которое ему необходимо и соответствует его лексикографическому восприятию. В автоматической лексикографии понятию типа словаря соответствует понятие режима обращения к нему: путем ограничений на выдачу словарных статей и их компонентов словарь может быть во внешней форме представлен в нужном объеме (большой, средний, малый) и в нужном аспекте (толковый, переводный, семантический, словообразовательный и т. д., синонимов, антонимов, конверсивов, фразеологизмов и т. д.).

Дальнейшую конкретизацию соединение идей «безбумажной информатики» и «лингвистического конструирования» находит в систематическом применении концепции реляционных баз данных [см. 12] и тезиса о лексикографируемости любого языкового факта [13]. Этот тезис обоснован тем, что любой факт может быть представлен в форме его имени, соединенном с набором значений его атрибутов. Следовательно, понятие факта обра-

<sup>3</sup> Результатом является то, что все современные эффективные методы полного автоматического грамматического разбора оказались основанными на идеях порождающей и трансформационной грамматики и являются дальнейшим развитием этих идей [см. 9].

зует отношение, т. е. множество кортежей, состоящих из значений атрибутов данного факта, так что каждый кортеж является определенной реализацией соответствующего факта<sup>4</sup>. В этом легко усматривается аналогия со словарем, для которого фактом является слово, а атрибутами факта — конкретные реализации слова как вокабулы с определенными дефинициями, в определенных контекстах и т. д. Словарная статья есть кортеж из отношения СЛОВО, доменами которого (отношения) являются лексикографические параметры, описанные в книге [7, с. 75—77]. Если каждый факт представим как отношение, то он представим также и в лексикографической форме. Должно быть верно и обратное: любая лексикографическая форма представима в виде реляционной базы данных. Следовательно, и Машинный фонд русского языка может быть в своей лексикографической части сконструирован в виде системы реляционных баз данных, согласованных между собой именами отношений и доменов, а также значениями доменов. Более того, операции над отношениями, используемыми в реляционных базах данных, хорошо моделируют лексикографические работы, такие, как отбор словника (операции ВЫБОР или ДЕЛЕНИЕ), компоновка словарной статьи из имеющихся источников (операции СОЕДИНЕНИЕ и ПРОЕКТИРОВАНИЕ), добавление и исключение словарных статей (операции ОБЪЕДИНЕНИЕ и РАЗНОСТЬ) [см. 12, с. 104—109]. Задавая определенные модификации этих операций, можно получить реальные лексикографические операции, такие, как ПЕРЕУПОРЯДОЧЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ, ПЕРЕСТАНОВКА и ИСКЛЮЧЕНИЕ компонентов словарных статей и т. д.

Однако реализация реляционных лексикографических баз данных требует от лексикографии четкой разработки не только полного перечня параметров (доменов) лексикографических отношений и полного набора значений каждого домена, но и полного перечня и описания видов лексикографических работ (операций).

Реляционный подход к автоматической лексикографии позволяет также разработать методы автоматизации проектирования словарей и самого Машинного фонда путем использования формальных описаний словарей в программах, реализующих операции над словарями: их размещение в базах данных, поиск словарных статей, их коррекцию, слияние и переупорядочение и т. д.

В отличие от традиционных реляционных систем управления базами данных, в лексикографических системах требуются и необычные операции. Речь идет о специфических для лингвистики проверках условий и специфических операциях преобразования лингвистических объектов. К ним относится прежде всего лемматизация, т. е. перевод словоформы в вокабульное представление, проверка условий реализации синтаксической связи и семантических ограничений и т. д. С наибольшей полнотой эти методы в алгоритмическом плане сейчас разработаны в некоторых системах автоматического перевода и общения с ЭВМ на естественном языке [см. 14, 15]. Поэтому представляется необходимым расширить систему реляционных операций процедурами, заимствованными из этих реализаций.

Проектирование реляционных лексикографических баз данных для Машинного фонда русского языка ставит перед вычислительной лексикографией задачу конструирования автоматизированных лексикографических систем (АЛС) нового типа.

До сих пор практически освоенными являются лишь тексто-ориентированные и информационно-справочные АЛС [см. 16], реализующие автома-

<sup>4</sup> В старом определении отношением  $R_n$  называется декартово произведение множеств  $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ , не обязательно различных. Сами множества  $D_1, D_2, \dots, D_n$  называются доменами отношения  $R_n$ . Отличие домена от атрибута состоит в том, что атрибут представляет использование домена внутри отношения. Атрибуты, используемые в отношении, уникальны, но двум или более атрибутам может соответствовать один домен. Так, слово может иметь несколько значений, каждое из которых принадлежит своему атрибуту отношения СЛОВО, но все значения слов входят в один домен ЗНАЧЕНИЕ. Понятие домена почти соответствует понятию лексикографического параметра, сформулированному в книге [7].

тизированное составление словоуказателей, частотных словарей и конкордансов и использование, в основном терминологических, словарей в автоматическом режиме [17—20]. В настоящее время в практике осваиваются инструментальные АЛС, в которых реализуется интерактивная подготовка и коррекция словарных статей [21]. В стадии проектирования находятся исследовательские АЛС, снабженные языковыми процессорами, которые позволят автоматически формировать образы словарных статей на основе автоматического анализа и синтеза текста. Для двуязычной терминологической лексикографии эта задача представляется достаточно реальной. Схема ее решения такова: берется представительная совокупность пар текстов, один из которых является переводом другого, и осуществляется машинный перевод «наоборот»: анализируются параллельно оба текста, результаты анализа сопоставляются, выявляются «переводные соответствия», из которых, а также из наличного цитатного материала, синтезируется образ словарной статьи согласно заданному формальному описанию ее структуры, причем для проверки может привлекаться какой-либо имеющийся словарь, по отношению к которому входной материал рассматривается в качестве дополнения.

Реализация таких систем позволит перейти к постоянному «ведению» словаря в машинном представлении, в котором он в каждый момент времени находится в готовом для полиграфического воспроизведения виде. Соединение АЛС с системами автоматического набора даст возможность резкого увеличения периодичности и снижения стоимости переизданий словарей, а переход в микрокомпьютерную (безбумажную!) форму существования словарей приведет к их массовому, индустриальному тиражированию в «карманном» исполнении.

Новым типом АЛС, который можно было бы назвать генерирующим, является тип, подсказываемый идеями «лингвистического конструирования» и реляционных баз данных. Действительно, если каждый языковой факт лексикографируем и каждый факт выступает как отношение, то число потенциальных типов словарей не меньше числа различных отношений, которые мы в состоянии сформировать на лингвистических данных. Систематически используя операции СОЕДИНЕНИЯ и ПРОЕКТИРОВАНИЯ над уже зафиксированными отношениями, можно получать разнообразные типы словарей, не меняя базы данных. Например, если в базе данных хранятся отношения словообразования, то из них выводимы словари морфов, основ, гнезд слов и т. д. Если хранится информация о синтаксических отношениях, то возможны словари словосочетаний, грамматических конструкций, управления, моделей предложения и т. д. Практически по любому лексикографическому параметру возможно формирование словарного входа и определение нового типа словаря.

4. На пути создания Машинного фонда русского языка лежит, конечно, и много трудностей и препятствий, которые нужно преодолеть.

Парадоксальным образом многих лингвистов, для которых, очевидно, пишущая машинка является нормальным рабочим инструментом, смущает необходимость ручного ввода большого количества данных. Процедура ввода данных этим лингвистам представляется чем-то в высшей степени не соответствующим их основной специальности. Большие надежды возлагаются на читающие автоматы будущего и даже на голографию (ср.: «Вероятно, большие успехи по механизации лексикографических работ будут достигнуты с привлечением голографии и созданием подлинно читающих автоматов, т. е. таких автоматов, которые смогут распознавать и обрабатывать любой книжный шрифт, любой почерк» [22, с. 24]). В связи с этим заметим, что реальные успехи не только механизации, но и подлинной автоматизации лексикографических работ были достигнуты без читающих автоматов. За 20 лет во Франции был создан машинный фонд французского языка, намного превышающий по своему объему картотеку цитат Словарного сектора. Это те самые 20 лет, в течение которых мы вполне удовлетворились так называемой «малой механизацией» [22, с. 18].

Сегодня автоматические картотеки и словари стали реальностью<sup>5</sup>, но, к сожалению, вне стен лингвистических институтов. Думается, что использование терминальных устройств непосредственно на рабочих местах, создание автоматизированных рабочих мест лингвиста (АРМЛ)<sup>6</sup>, тесное сотрудничество с издательствами и типографиями — вот реальный путь накопления больших массивов данных о языке. Опыт показывает, что во многих случаях подготовка данных непосредственно исследователями — лучший способ обеспечить их высокое качество.

Высказываются также суждения о недостаточности дисплея как устройства для отображения картотечной информации. Действительно, типовые алфавитно-цифровые видеотерминалы сегодняшнего дня способны отображать на экране 8, 12, 16 или 24 строки по 80 символов. Однако не следует забывать о возможности выдачи синоптической распечатки любого объема, содержащей нужным образом упорядоченный цитатный материал, о возможности использования графопостроителей для компоновки словарного материала сложной структуры на листах большой площади.

Технология автоматизации в лексикографии не может быть создана умозрительным путем: необходимо интенсивное внедрение всех подходящих средств обработки информации и реальная лабораторная отработка наиболее удобных технологических приемов.

Проект Машинного фонда русского языка не предусматривает перевода в память ЭВМ существующих картотек, однако новые картотеки предлагается вести машинным способом, ибо ЭВМ — это и есть в сущности автоматизированная картотека огромной емкости. В машинной среде теряет смысл цитатная карточка как физическая единица: она может быть сгенерирована в любой момент на основе имеющегося в памяти текстового материала, выдана на экран или на бумажный носитель при любом объеме цитируемого материала.

Что касается существующих картотек, то нам представляется целесообразным постепенный перевод их, с целью сохранения и лучшего использования, на фотоносители, хранилище которых может управляться ЭВМ, что обеспечивает автоматизированный или автоматический доступ к информации непосредственно с рабочего места. Такая же схема, видимо, наиболее целесообразна и для хранения памятников, и для автоматизации работ по составлению словарей.

В обсуждениях проблем создания Машинного фонда русского языка большое место занимали также проблемы шрифтов и шрифтовых выделений. Действительно, современные устройства ввода и вывода информации в большинстве случаев используют лишь один шрифт со сравнительно небольшим числом знаков и только заглавные литеры<sup>7</sup>. Эти трудности со временем, конечно, будут преодолены. Для вывода информации они преодолимы уже и сейчас, даже тремя способами: выводом на фотонабор, или на программируемые знаковосинтезирующие или растровые устройства печати, или на графопостроители. Для ввода информации пока единственным методом является кодирование отсутствующих знаков и управляющих символов для знаковыведения с помощью комбинаций знаков, имеющих в клавиатуре, или путем использования функциональных клавиш. Поэтому для лингвистических работ, налагающих жесткие ограничения на знаковый состав текста или его расположение, представляется целесообразным<sup>\*</sup> преимущественное использование терминального оборудования ЭВМ, а не устройств подготовки данных

<sup>5</sup> В мире сейчас насчитывается более 50 автоматизированных терминологических банков данных и автоматических словарей [см. 23], из них 10 содержат около 100 тыс. словарных статей, а три — более 1 млн. описаний терминов; существует несколько издательских систем подготовки словарей, начинается выпуск обычных словарей на машинных носителях.

<sup>6</sup> Устройство чтения и копирования микрофилм ISI-4000, управляемое ЭВМ, способно хранить в своей памяти 75 тыс. страниц. АРМЛ целесообразно комплектовать таким устройством, терминалом для связи с ЭВМ и персональным микрокомпьютером для ведения индивидуальных баз данных исследователя.

<sup>7</sup> Впрочем, уже начался массовый выпуск дисплеев, имеющих наборы заглавных и строчных литер; очевидно, что этим принципиально решена также задача смены наборов литер, что дает возможность отображения более 200 различных алфавитов.

Создание Машинного фонда русского языка будет ускорено, если ведущие лингвистические институты Академии наук уже сейчас будут оснащаться вычислительными комплексами, создаваемыми на базе мини-ЭВМ, расширенных внешней памятью на магнитных дисках большой емкости и сопряженных с фотонаборными автоматами<sup>8</sup>. В связи с этим возникают естественно проблемы стоимости и финансирования затрат на оборудование и его эксплуатацию. И здесь надо признать, что академические лингвисты, в отличие от вузовских, мало используют возможности хозяйственных работ, возможности хозяйственного расчета. Думается, что заказы отраслевых НИИ и издательств на выполнение хозяйственных работ на научные исследования, на подготовку словарей и грамматик уже сейчас способны дать значительные средства для оснащения академических институтов вычислительной техникой.

Такой союз — в интересах и промышленности, и языкознания. В связи с этим уместно процитировать слова В. М. Глушкова: «Одним из наиболее важных результатов научно-технической революции является бурная „компьютеризация“ практически всех областей человеческой деятельности. Развитие сетей ЭВМ и систем терминального доступа к ним приводит к тому, что все большая часть информации, прежде всего научно-технической, экономической и социально-политической, перемещается в память ЭВМ.

Большинство выполненных к настоящему времени прогнозов сходится на том, что к началу следующего столетия в технически развитых странах основная масса информации будет храниться в безбумажном виде — в памяти ЭВМ. Тем самым человек, который в начале XXI века не будет уметь пользоваться этой информацией, уподобится человеку начала XX века, не умевшему ни читать, ни писать» [4, с. 7]. Это означает, с одной стороны, что основная масса материала для исследований по современному языку, независимо от воли и желания языковедов, будет находиться в компьютерной форме, а большая ее часть никогда не увидит бумаги. Языковед может попросту потерять основной источник знаний о современном языке, если вовремя не перейдет к компьютерным формам обработки источников. Более того, основные продукты лингвистического труда — словари и грамматики — потеряют ценность, если они не станут доступными для использования в компьютерной форме, даже в издательской практике, не говоря уже о системах автоматизированного обучения и обработки данных на естественном языке. С другой стороны, в участии языковедов в создании систем обработки информации на естественном языке и систем человеко-машинного общения должны быть заинтересованы разработчики таких систем, ибо чем больший языковой материал охватывают такие системы, тем большее место в них начинают занимать чисто лингвистические проблемы. Одной из самых серьезных проблем уже сейчас является оперативное пополнение словарей таких систем в процессе эксплуатации. Здесь автоматизация лексикографической работы приобретает форму производственной службы по сопровождению лингвистического обеспечения. Элементарный анализ этой проблемы показывает, что для ее решения необходимы локальные машинные фонды языка, ресурсы которых должны оперативно использоваться для пополнения словарей в ситуации, когда система встречается с незнакомой лексикой.

Наконец, организационные трудности. О них больше всего говорилось на февральской конференции 1983 г. В связи с этим уместно вспомнить слова вице-президента АН СССР академика П. Н. Федосеева: «Учитывая тенденции развития современного научного знания, нужно, по-видимому, шире использовать практику организации научных коллективов и подразделений, создаваемых из представителей различных отраслей естественных, технических и общественных наук для решения той или иной четко определенной комплексной научно-технической проблемы. Такие функциональные гибкие подразделения были бы свободны

---

<sup>8</sup> По примеру того, как это сделано в Институте языка и литературы АН ЭССР.

от недостатков жесткой, иногда десятилетиями неизменной структуры научных учреждений отраслевого типа» [24].

Нам представляется, что одной из современных форм организации таких работ является временный коллектив по решению научно-технической задачи, который мог бы быть создан из представителей заинтересованных ведомств и организаций при Институте русского языка АН СССР как базовой организации. Главная задача такого коллектива по созданию Машинного фонда русского языка состояла бы в разработке принципиальных положений, касающихся обмена данными и программами среди участников решения этой проблемы, комплектования аппаратных и программных средств фондов-составляющих, установления технологических режимов эксплуатации фондов, изготовления проектной, программной и общесистемной документации, выполнения заказов и поручений коллективами-соисполнителями. Соблюдение этих требований, соблюдение единой технологии и нормативов, определенный уровень исполнительской дисциплины — залог сохранения единства фонда в условиях физической разобщенности его компонентов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Ершов А. П. К методологии построения диалоговых систем: феномен деловой прозы. Новосибирск, 1979.
2. Ершов А. П. К методологии построения диалоговых систем: феномен деловой прозы. — В кн.: Вопросы кибернетики. Общение с ЭВМ на естественном языке. М., 1982.
3. ЭВМ пятого поколения. Концепции, проблемы, перспективы. Под ред. Т. Мотока. М., 1984.
4. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. М., 1982.
5. Большаков И. А. Составляющие и принципы формирования программного обеспечения для машинного фонда русского языка (в печати).
6. Рогожникова Р. П. Машинный фонд русского языка и словарное дело (в печати).
7. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.
8. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи. М., 1966, с. 27.
9. Parsing natural languages. Ed. by King M. London, 1983.
10. Сороколетов Ф. П. Традиция русской советской лексикографии. — ВЯ, 1978, № 3.
11. Гак В. Г. О типах ортологических словарей. — В кн.: Переводная и учебная лексикография. М., 1979.
12. Дейт К. Введение в системы баз данных. М., 1980.
13. Караулов Ю. Н. Методология лингвистических исследований и машинный фонд русского языка (в печати).
14. Попов Э. В. Общение с ЭВМ на естественном языке. М., 1982.
15. Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л., Крысин Л. П., Лазурский А. В., Перцов Н. В., Самшинов В. З. Лингвистическое обеспечение в системе автоматического перевода ЭТАП-1. — В кн.: Разработка формальной модели естественного языка. Новосибирск, 1981.
16. Андрущенко В. М. Автоматизированные лексикографические системы. — В кн.: Теоретические и прикладные аспекты вычислительной лингвистики. М., 1981.
17. Guckler G., Müller E., Wahrig G. Wörterbuch als Datenbank. Ein komplexes linguistisches, logisches und technisches Problem. — Sprache und Datenverarbeitung, 1977, № 2.
18. Hitzemberger L., Konrad W., Krause J., Schneider C. Das Regensburger Textverarbeitungssystem COBAPH. — Sprache und Datenverarbeitung, 1977, № 1.
19. Krollmann F. Linguistic data banks and the technical translator. — Meta, 1971, v. 16, № 1—2.
20. Schulz J. A terminology data bank for translators (TEAM). — Meta, 1980, v. 25, № 2.
21. Андрущенко В. М. Автоматизированная лексикографическая система UNILEX (Основные проектные решения). — В кн.: Вычислительная лингвистика. М., 1982.
22. Петушков В. П. О возможных пределах механизации лексикографических работ. — ВЯ, 1981, № 5.
23. Preliminary feasibility study of a U. J. T. A. terminology data bank. — Union of international technical Associations. UNESCO, December, 1982.
24. Федосеев П. И. В. И. Ленин и проблемы интеграции естественных, общественных и технических наук. — Вестник АН СССР, 1978, № 9, с. 27.



ГИГИНЕЙШВИЛИ Б. К.

## К ПРОБЛЕМЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Все возрастающее значение лингвистической реконструкции связано не только с чисто языковедческими интересами, но и с ее важной ролью в исследованиях культурно-исторического характера. Именно это обстоятельство налагает особую ответственность на лингвистов-компаративистов, представляющих вместе с историками и археологами ведущее звено в подобного рода разысканиях.

Как известно, сравнительно-историческое изучение группы родственных языков своей основной целью считает построение такой гипотетической системы языка-основы, исходя из которой было бы возможно путем последовательных трансформаций уяснить пути развития родственных языков, указать на процессы, которые способствовали дифференциации форм этих языков, начиная с периода их общности вплоть до их последней фиксации. Реконструкция преследует именно эту цель. Реконструкция сама по себе гипотетична, но она опирается на реально существующие соответствия между родственными языками. Мы не можем ограничиться констатацией этих соответствий. Как справедливо отмечал Ф. де Соссюр, «если мы не хотим, чтобы установленные нами соответствия между несколькими формами оказались бесплодными, мы должны поместить их во временную перспективу и прийти к восстановлению их единой праформы» [1]. Однако невозможно реконструировать праязык в том виде, в каком он функционировал, не столько из-за его большой хронологической давности, сколько из-за невозможности реконструкции всех его уровней. Мы в основном разделяем известное мнение, согласно которому «можно полагать, что только те уровни, которые содержат единицы, данные закрытым списком, допускают реконструкцию глобальную; к таким уровням относятся фонетический (фонемный) и морфологический (морфемный) уровни; синтаксический и лексико-семантический содержат единицы или конститутивные элементы, данные открытым списком; тем самым, можно было бы полагать, что эти уровни не допускают реконструкции» [2]. Следует, однако, заметить, что и в этом направлении можно надеяться на лучшее при наличии соответствий между сложными словами<sup>1</sup> или твердо сложившимися выражениями.

Одной из традиционных является проблема достоверности реконструированных форм. Два противоположных мнения, согласно одному из которых реконструируемые формы представляют собой только лишь выражение в формулах меняющихся воззрений на объем и характер языкового материала и не дают нашему знанию никакого нового материала (Б. Дельбрюк), согласно же другому реконструированные формы приравниваются к «фактам» (Ф. Ф. Фортунатов, В. Поржезинский), в последнее время заменены более реалистичной трактовкой. Согласно Г. А. Климову, реконструкция всегда представляет собой более или менее приближенное отражение стоящей за формулой звукосоответствия языковой реальности прошлого [4, с. 42]. О. Семеренья полагает, что «...каждая реконструкция отражает соответствующий уровень в развитии лингвистики. Следовательно, реконструированную форму, как и естественно-научную теорию, надлежит модифицировать и улучшать по мере новых открытий» [5, с. 45]. Далее он пишет: «Только в случае признания реальности различных реконструированных форм имеет смысл

<sup>1</sup> О такой попытке на материале картвельских языков см. [3].

ставить вопрос о том, как они соотносятся друг с другом, то есть как выглядела система. Реализм играет в этом плане решающую роль, поскольку реконструирование фонетически невозможных звуков или их последовательностей (= слов) явилось бы не более как пустым занятием» [5, с. 45]. Из рассуждения автора следует, что реконструированные формы должны признаваться реальными. Вместе с тем он считает, что реконструкции разных этапов развития лингвистики неравноценны. Следовательно, то что было «реально» во времена младограмматиков, не столь реально в настоящее время. Однако реальность, зависящая от интерпретатора, уже не реальность, и поскольку методика сравнительно-исторических исследований по существу не претерпела сколько-нибудь серьезных изменений, приходится считать, что, по-видимому, не все исследователи применяли ее с достаточной строгостью. Такое заключение поддерживается еще и тем неоспоримым фактом, что на одном и том же уровне развития языкознания встречаются взаимоисключающие или очень различные реконструкции. Прежде чем назвать конкретные примеры, считаем нужным указать на общеизвестные необходимые предпосылки надежности реконструкции: 1) строгое соблюдение принципов регулярности и системности при установлении звукосоответствий; 2) непротиворечивость при толковании формул звукосоответствий; 3) умелое использование дистрибутивной информации; 4) выбор архетипа, исходя из систем сравниваемых языков с учетом наличных в этих языках тенденций модификации звуков. Эти казались бы азбучные истины довольно часто грубо нарушаются и подменяются вероятностными критериями.

На наш взгляд, в современной компаративистике непомерно возросла роль ассоциативности в этимологических разысканиях. Нередко сопоставляются словоформы разных языков, схожие лишь на слух, причем допускаются довольно большие амплитуды в плане содержания. Иногда стремление к охвату возможно большего количества языков (родство которых еще не доказано) заставляет исследователей пренебречь основными постулатами сравнительно-исторического языкознания. Наконец, подмена приемов и процедур сравнительно-исторического языкознания критериями типологического и статистического порядка также весьма ощутима.

Выше говорилось о достоверности реконструируемых форм. Как может быть проверена такая праформа? Критериями могут служить: 1) насколько точно она отражает картину звукосоответствий в исследуемых языках, 2) насколько возможно в отдельных составляющих ее фонемах совмещение тех дифференциальных признаков, которыми они представлены, 3) привлечение материала неродственных языков в случае возможности допущения исторических контактов с ними.

Привлечение материала неродственных языков как один из способов проверки реконструированных форм полностью оправдало себя в области прагерманских заимствований в финском [6, 4, с. 44—45]. В настоящей статье мы попытаемся прибегнуть к такому «внешнему сравнению» с целью выяснения степени достоверности реконструированных форм пракартвельского и прадагестанского языков.

В картвельстике объектом разных интерпретаций стали соответствия сибилантов. За последние тридцать лет высказаны разные предположения о звуковых архетипах трех рядов соответствий:

- 1) груз. *s* (свистящий): зан. *s* (свистящий): сван. *s* (свистящий)
- 2) » *s* (свистящий): » *š* (шипящий): » *š* (шипящий)
- 3) » *š* (шипящий): » *šʰ* (шип. — вел.): » *šg* (шип. — вел.)<sup>2</sup>.

Наиболее распространенными являются интерпретации Г. И. Мачавариани [7] и К. Х. Шмидта [8]. Г. И. Мачавариани реконструирует систему пракартвельских сибилантных фонем в виде трех рядов: ряд *\*s* (свистящие), ряд *\*s<sub>1</sub>* (свистяще-шипящие, наподобие аналогичных звуков адыгских языков), ряд *\*š* (шипящие). Следовательно, в грузинском пра-

<sup>2</sup> Символы *s* и *š* в данном случае соответственно обозначают свистящую и шипящую фонемы вообще, а не только фрикативные сибиланты.

картвельские \*s и \*s<sub>1</sub> совпали в свистящий s, в занском и сванском свистящий остался без изменения, а свистяще-шипящий \*s<sub>1</sub> изменился в шипящий. Что касается исконно шипящего \*š, он сохранился в грузинском, а в занском и сванском развился в комплекс š + велярный той же серии. В отличие от Г. И. Мачавариани, К. Х. Шмидт предложил другую схему, постулировав соответственно \*s, \*š и \*šk, т. е. те фонемы и комплексы, которые сохранились в занском и несколько модифицировались в сванском. При такой трактовке снимался вопрос о том, как совместить разную рефлексию грузинского и занского при наличии грузинско-занской языковой общности после распада картавельского праязыка. Согласно интерпретации К. Х. Шмидта, все получается как нельзя лучше: после распада картавельского языка на две ветви — грузинско-занскую и сванскую — сибиланты в обеих ветвях сохранились в исконном виде, т. е. груз.-зан. \*s: сван. \*s, груз.-зан. \*š: сван. \*š, груз.-зан. \*šk: сван. \*šk (> šg). Лишь после расщепления грузинско-занского языка произошли сдвиги в грузинском: \*s/\*š > s, \*šk > š. Несмотря на всю логичность и элегантность такого решения, оно оказалось не вполне удовлетворительным, возникли новые трудности, на которые указал Г. И. Мачавариани [9, с. 58—59]. Они состояли в том, что при соответствии гармоничных групп согласных, состоящих из шипящего и задневелярного (груз. čx: мегр. čx, груз. čx: сван. šx, груз. čq: мегр. čq), для пракартавельского появилась нужда в реконструкции трехфонемных групп типа \*čkx, \*čkq, поскольку грузинские č и č могли быть рефлексами только лишь комплексов čk, čk, по К. Х. Шмидту. Но поскольку примеров таких соответствий немного, с некоторых пор этому контраргументу особенного значения не придается. Весьма интересна попытка рассмотрения вопроса реконструкции пракартавельской сибилантной системы с точки зрения функциональной фонологии, предпринятая И. Г. Меликишвили. На основе фоностатистического анализа она пришла к заключению, что интерпретация Г. И. Мачавариани не соответствует общим типологическим закономерностям в смысле относительной частотности щелинных и аффрикат разных рядов. По этой причине предпочтение отдается интерпретации К. Х. Шмидта, которая лучше согласуется с данными фоностатистики [10]. Немецкий лингвист Х. Фенрих по поводу аргументов И. Г. Меликишвили пишет: «Бросается в глаза, что квантитативные соображения, рассмотрение с точки зрения частотности у нее (И. Г. Меликишвили. — Г. Б.) играют решающую роль. Однако количественные подсчеты не могут иметь такой ценности, какая свойственна количественным аргументам. Тем более, что квантитативные параметры, принимаемые ею за универсальные, весьма сомнительны с точки зрения их универсальности ..., по нашему мнению, только частотность фонем не может служить решающим основанием в пользу или против достоверности реконструкции. Когда И. Г. Меликишвили на основе своих соображений решает вопрос в пользу реконструкции К. Х. Шмидта в ущерб таковой Г. И. Мачавариани, этим, по нашему мнению, последнее слово не сказано» [11, с. 40]. Разделяя мнение Х. Фенриха, мы согласны, однако, с заключительной фразой работы И. Г. Меликишвили, в которой сказано, что дополнительные аргументы для реконструкции картавельской системы сибилантных фонем может дать «внешнее сравнение» картавельских языков [10, с. 55]. Именно такое «внешнее сравнение» дается и в цитируемой статье Х. Фенриха. Он указывает на то обстоятельство, что ряд общекартавельских корневых морфем находит параллели в нахско-дагестанских языках. Безотносительно к тому, как интерпретировать этот материал — как заимствование или как общее наследие, — факт остается фактом: в данном случае нахско-дагестанские формы показывают грузинское состояние, а не занское или сванское, т. е. грузинские заднесибилантные противостоят нахско-дагестанским без всякого следа велярных [11, с. 40].

Из приведенных автором сопоставлений наиболее убедительны: 1) груз. čat- «кушать», зан. čkot- — корень čat- андийских языков и арчинского со значением «жевать»; 2) груз. čed- «ковать», зан. čkad-, сван. škad- — лезг. ččad- «кузнец», таб., рут. žad-; 3) груз. maržwen- «правый», мегр.

*marzguan-*, сван. *lersgwen* — анд. *hanččil* «правый», лак. *určū-*, лезг. *erči-*, таб. *arččul*, арч. *orč*, чеч. *ätu* [11, с. 40—41].

Особенно интересным нам кажется этот последний пример. Попробуем поэтому подробнее проанализировать его. Основа со значением «правый, правая» закономерно дифференцирована в нахско-дагестанских языках и дает возможность реконструировать ее для нахско-дагестанского праязыкового уровня в виде *\*arččw-*. Основанием для подобной реконструкции служит соответствие: анд. *hančči-*, ахв. *ōāci-* : лак. *určw-a* : арч. *orčū-* : лезг. *erči* : таб. *arčču-* : ар. *harčča-* : рут. *harča-* : цах. *hatta-* : уд. *ača* : чеч. *ätu* : инг. *atta* : бацб. *aŋi*<sup>3</sup>. Грузинское слово *maržwene/maržwena* содержит, по нашему мнению, основу *aržw-*, из которой образованы вышеуказанные формы циркумфиксом *m-* — *-e*, к которому добавляется частица *-ne/-na*. Такое предположение поддерживается наличием формы *maržwe* «ловкий, искусный, проворный». Модель *ma* — *ē* в грузинском непродуктивна (ср. *ma-sn-e* «вестник»). Сама основа *\*aržw-* для пракартвельского нетипична из-за гласного алаута. Не исключено, что нах.-даг. слово *\*arččw* «правый» было заимствовано пракартвельским и использовано для разных дериватов, образованных по продуктивной модели *m* — *e*. Озвончение *čč* > *ž*, должно быть, произошло в собственно картвельском. Даже допуская обратное заимствование, мы не можем исходить из форм занского и сванского, так как фонемные группы *zg*, *sg* в нахско-дагестанских языках не представлены. Нахско-дагестанские формы покрывают грузинские. Поскольку это сходство не может быть отнесено к более позднему хронологическому уровню (контактов грузинского с отдельными восточнокавказскими языками), реконструкция пракартвельского *\*m-aržw-e-n* более достоверна.

К приведенным Х. Фенрихом примерам мы хотели бы добавить:

1) груз. *činčar-/žinčar-* «крапива», чан. *di(n)čkiži* (<*\*žinčkiri*) — нах.-даг. *\*miž(ar)* «крапива» (конечное *-ar* засвидетельствовано в агульском *mažar*). По мнению Х. Фогта [13, с. 544], в грузинском имеет место редупликация.

Т. Е. Гудава допускает связь картвельских форм с соответствующим нахско-дагестанским материалом [14, с. 706]. По нашему мнению, в грузинском корень *\*miž* редуплицирован: *\*žimžar* > *\*žimčar*. Оглушение происходит из-за несовместимости в основе типа *CVmC-Vr* двух звонких аффрикат одного ряда и требования создания удобной для картвельских языков последовательности звонкий + сонорный + глоттализированный. Очевидно, что нахско-дагестанская форма ближе к грузинской, чем к чанской.

В двух случаях дагестанские интенсивные глоттализированные свистящие находят параллели в картвельских языках в виде груз. *ç*, зан. *č*: сван. *č/š*:

2) груз. *çw-a* «боль, жжение», мегр. *çu-a*, сван. *a-č-i* «печет» — прадаг. *\*çç-* «боль, жжение»,

3) груз. *çabl-* «каптан»: зан. *čibur-/čubr* : сван. *heb* «черешня» — прадаг. *\*ççabil/ççabal* «виноград». Правда, семантическое расхождение ощутимо, но не меньшее расхождение в значении наличествует в самих картвельских языках.

И в этих случаях дагестанский материал ближе к грузинскому звучанию, в отличие от занского и сванского.

Имеются также весьма впечатляющие примеры близости грузинских форм с индоевропейскими<sup>4</sup>, в отличие от других картвельских:

1) и.-е. *\*sū-s* «домашняя свинья, дикая свинья» [15, с. 1038], ср. груз. *e-šw* «дикая свинья, кабан», мегр. *\*a-skw* в слове *o-sk-u* «свинарник» (<*\*o-askw-u* [16, с. 81]);

2) и.-е. *\*seu-/su-* «рождаться» [15, с. 913], ср. др.-груз. *šev-/šv-* «рождать(ся)», *šv-il-i* «дитя», зан. *sk(w)* «нести яйца» (о птице), мегр. *sk-ir-i*, *sku-a*

<sup>3</sup> Реконструкция этого слова, предложенная С. А. Старостиным в виде *\*<sup>h</sup>VnžžV* (привлекается Вяч. Вс. Ивановым — см. [12]), несостоятельна уже потому, что геминированный или интенсивный звонкий чужд всем кавказским языкам, поскольку признак интенсивности несовместим с признаком звонкости.

<sup>4</sup> Индоевропейские праформы здесь и далее приводим из этимологического словаря Ю. Покорного [15].

«дитя»), сван. *əm-sg-e* «сын». Близость этих основ была замечена еще Ф. Боппом, как указывает Г. А. Климов [16, с. 215].

3) и.-е. *\*sed-* «сидеть, садиться» [15, с. 884—885]. На наш взгляд, с этой формой можно увязать др.-груз. *šet-/št-/šed-/šd-* «оставаться», мегр. *skid-*, чан. *skud-/skid-*.

Все эти примеры наглядно показывают, что индоевропейские формы более сходны с грузинскими, а не с занскими или сванскими, так как в индоевропейских словах не видно ожидаемого в таких случаях комплекса *sk*. Так как собственно грузинский не мог иметь контактов с праиндоевропейским, надо полагать, что эти контакты имели место между индоевропейским и пракартвельским. Следовательно, для пракартвельского более вероятно реконструкция не комплексов типа *с и б и л я н т † в е л я р н ы й*, а простых шипящих и свистящих сибиллянтов. Тем самым интерпретация сибиллянтных соответствий, принадлежащая Г. И. Мачавариани, лучше отвечает требованиям реконструкции и поэтому более приемлема, чем любая другая, известная в картвелистике.

Не менее интересны нахско-дагестанские лексические параллели с индоевропейскими языками, что, на наш взгляд, также дает возможность верификации реконструированных нахско-дагестанских форм:

1) и.-е. *\*por̥ko-* «свинья» [15, с. 841] — прадаг. *\*bort'i'o* «свинья»;

2) и.-е. *\*kēn-* «покрывать, устилать» [15, с. 556] — нах.-даг. *\*t'am/\*t'om* «крыша»;

3) и.-е. *\*onogh-/\*ongh-/\*nogh-* «ноготь» [15, с. 780] — прадаг. *\*mVl'(w)/\*nVl'(w)* «ноготь»;

4) и.-е. *\*jugom* «ярмо» [15, с. 508] (по глоттальной теории *\*ju̯kom*) — нах.-даг. *\*jut'i'o* «ярмо».

Приведенные примеры иллюстрируют передачу индоевропейских гуттуральных латеральными аффрикатами, причем глухих — глоттализованными, аспирированной же звонкой — аспирированной глухой. Не лишено интереса и то обстоятельство, что в первых двух случаях индоевропейские формы содержат палатализованные гуттуральные.

Исследуя индоевропейско-семитские языковые контакты, В. М. Илич-Свитыч обратил внимание на то, что в некоторых случаях индоевропейскими палатализованным *\*ĝ*, *\*k̄* соответствуют протосемитские фонемы *\*d̄*, *\*š*, для которых многие исследователи предполагают латеральную или латерализованную артикуляцию... преобразование латеральных в задненебные — весьма распространенный процесс. В самом афроазиатском аналогии индоевропейской рефлексации представляет египетское соответствие семитскому *\*d̄* — палатализованный *d̄* ...звук, отражающий также афроз. *\*g* перед гласными переднего ряда» [17, с. 9]. Автор приводит дополнительный аргумент в пользу латеральной артикуляции семитского *\*š* — его субституцию в греческом сочетании *ls* в древнем заимствовании: греч. *bálsamon* «бальзам, благовонное масло» < сем. (др.-ханаан.) *\*bašamu* «благовоние» [17, с. 9]. На это указывает также Д. Коэн, приводя евр. *bošem*, пунич. *bšm*, араб. *bašam*, для которых он восстанавливает форму *\*bšm* «благовоние». Греч. *bálsamon* он считает проникшим из арамейского [18, с. 88].

Точно такую же картину имеем и в приведенных нами примерах индоевропейско-восточнокавказских соответствий. Мы не будем обсуждать вопрос, где могли контактировать указанные языковые семьи. Однако несомненно, что время очень дальнее, поскольку контакт имел место на уровне праязыков. Не вдаваясь в подробности интерпретации этих (и многих других) лексических совпадений между указанными семьями языков, мы хотим подчеркнуть правильность реконструкции латеральных в нахско-дагестанском праязыке: «соответствия» латеральных именно с палатализованными гуттуральными дают право на такое заключение.

Верификация реконструированных форм с привлечением материала неродственных, но контактирующих языков тем самым является одним из важнейших компонентов методического аппарата сравнительно-исторического языкознания. Однако, пользуясь им, не следует забывать, что

оно лишь вспомогательное средство. Основным все-таки остается «внутреннее сравнение» в пределах родственной группы языков, достоверность которого обуславливается надежностью этимологических сопоставлений.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Соссюр Ф. де*. Курс общей лингвистики.— В кн.: *Соссюр Ф. де*. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 255.
2. *Макаев Э. А.* Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977, с. 89.
3. *Gignieschwili B.* Die Reihenfolge der Kompositionsglieder in der kharthwelischen Grundsprache.— In: [Abstracts of the] 5-th International Conference of historical linguistics. Galway. 5—10.VI.1981. Galway, 1981, S. 20—21.
4. *Климов Г. А.* Вопросы методики сравнительно-генетических исследований. Л., 1971.
5. *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
6. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968, с. 337.
7. *Мачавариани Г. И.* О трех рядах сибилантных спирантов и аффрикат в картвельских языках.— В кн.: XXV Международный конгресс востоковедов: Доклады делегации СССР. М., 1960.
8. *Schmidt K. H.* Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der sudkaukasischen Grundsprache. Wiesbaden, 1962, S. 54.
9. *Мачавариани Г. И.* Общекартвельская консонантная система. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
10. *Меликишвили И. Г.* Общекартвельская сибилантная система с точки зрения функциональной фонологии.— В кн.: Вопросы современного общего языкознания. V. Тбилиси, 1980 (на груз. яз.).
11. *Fähnrich H.* Zur Rekonstruktion der gemeinkartwelischen Sibilanten.— *Georgica*, 1982, Hf. 5.
12. *Иванов Вяч. Вс.* Хурритские и хаттские этимологии.— В кн.: Этимология. 1981. М., 1983, с. 141.
13. *Vogt H.* Structure phonémique du géorgien.— *NTS*, 1958, b. XVIII.
14. *Гудава Т. Е.* О лексических встречах между грузинским и аварским языками.— *САН ГрузССР*, 1954, т. XV, № 10.
15. *Рокорну Ж.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern — München, 199.5
16. *Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
17. *Иллич-Свитыч В. М.* Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты.— В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
18. *Cohen D.* Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques comprenant un fichier comparatif de J. Cantineau. Paris, 1976.

ГОВЕРДОВСКИЙ В. И.

## ДИАЛЕКТИКА КОННОТАЦИИ И ДЕНОТАЦИИ (Взаимодействие эмоционального и рационального в лексике)

Как и в других отраслях знаний [1—6], проблема рационального и эмоционального и соотносимая с ней проблема конкретно-чувственного и абстрактного находит место в языкознании. Немногочисленные языковедческие работы, однако, имеют общий характер и склоняются к философскому осмыслению этой проблемы [7—12]. Между тем было бы крайне привлекательно рассмотреть взаимоотношение эмоционального и рационального на конкретном языковом материале. Тем самым абстрактные философские категории получили бы конкретно-материальное воплощение.

В качестве такого материала в настоящей статье рассматриваются морфемы русского языка. При необходимости привлекался для сравнения и материал украинского языка. Аффиксы оказались удобными для анализа потому, что они воплощают в себе двойное отношение человека к миру: рациональное и эмоциональное.

Термин «денотация» употреблен здесь в общепринятом в лингвистике смысле, идущем из логики и философии, — как основное логико-информативное содержание языковой единицы [13—15]. Что касается коннотации (созначений), то, отвлекаясь от ее исследований в других науках [16—27], подчеркнем, что в последнее время ее сфера в собственно лингвистике сильно расширилась: выйдя далеко за пределы экспрессивно-оценочно-стилистических рамок, в которых она начинала свое существование [28—43], она захватила уже социально-политические, морально-этические, этнографические и культурологические понятия, так или иначе отражающиеся в языке [44—45]. Психологической основой коннотации являются ассоциации. К настоящему времени в лингвистике выделены с достаточной четкостью группы коннотаций, существование которых обусловлено различными причинами: ситуативно-психологическими (коннотации ироничности, эвфемистичности, мелиоративности, пейоративности, усиления), социально-лингвистическими (коннотации жаргонистичности, разговорности, книжности), локальными (коннотация диалектности), культурными (коннотации идеологичности, культуры) и собственно языковыми (коннотации новизны, иноязычности, архаичности, терминологичности) [56]. Коннотативность понимается здесь как выраженность в служебной морфеме именно эмоционального в противоположность рациональному содержанию, заключенному в служебной морфеме.

Предметом рассмотрения в статье не являются чисто денотирующие функции служебной морфемы, но только такие, семантика которых включает в себя различные пропорции «предметного» и «чувственного» содержания. Актуализация этого содержания служебного аффикса происходит в сочетании с корневым аффиксом, который в силу этого выступает как бы в качестве минимального контекста для служебной морфемы.

Диалектику коннотации и денотации можно показать на примерах морфологического состава различных частей речи. Так, преф. прилагательных *небез-/небес-* мы можем определить как биморфему, выражающую умеренную, но достаточную степень признака: *небездарный, небезсправный, небезупречный*. Это денотативная характеристика. Она показывает логическую направленность значения приставок и вызывается рациональными потребностями передачи информации. Напротив, коннотация

показывает направленность не значений, а созначений (добавочных значений) слов. Коннотативная характеристика идет не от рациональной, а от эмоциональной сферы психики говорящего. В данном случае — это эвфемистическая направленность созначений префиксов, когда не хотяя прямо говорить об отсутствии у человека некоторой способности или признака, а выражают это иным языковым способом, но не искажая денотативной направленности подразумеваемого.

С другой стороны, приставка существительных и глаголов *пере-* не может считаться коннотативно-усилительной, ее значение денотативно-усилительное (*перегрев, переутомление*), т. к. она выражает чрезмерную интенсивность самого действия, но не эмоциональное отношение говорящего к этому действию. Коннотативное же усиление наступает тогда, когда морфема не оказывает «физического» воздействия на денотат, оставаясь на уровне эмоций говорящего, как это происходит с глагольной приставкой *на-* (в сочетании с приставной *по-*): *понаписать, понавестить, понастроить*. Здесь происходит усиление только коннотации, чувств говорящего, потому что денотативно слова *понаписать* и *написать, понавестить* и *навестить, понастроить* и *настроить* равноценны.

Уже из этих предварительных примеров видно, что служебная морфема может оказывать воздействие как на само значение корневой морфемы и производить новый денотат как элемент рационального содержания, так и на созначение и производить новый коннотат как элемент эмоционального содержания, а также то и другое одновременно. В первом случае она будет называться денотирующей, во втором — коннотирующей, или обобщенно коннотемой. Коннотема как абстрактная (инвариантная) единица языка, стоящая в одном ряду с другими эмическими типами (фонемой, морфемой, лексемой, семемой), соотносится с соответствующей единицей плана содержания — коннотатом.

Перечисленные выше виды коннотаций являются вследствие этого коннотатами. Рассмотрим теперь их реализацию. Для контраста, однако, приведем сначала пример денотирующего префикса. Приставка *сверх-*, сохраняя благодаря связи с омонимом-наречием прозрачную внутреннюю форму, усиливает степень признака денотативно, но не коннотативно. Так, по сравнению со словами *короткий, мощный* у слов *сверхкороткий, сверхмощный* меняется денотат, потому что мы одинаково можем сказать *очень короткий* и *очень мощный*, но в этих словах, как видно, никакой коннотации нет. Другое дело со словом *ультракороткий*, встречающимся в устной речи. Неясная для среднего носителя русского языка этимология заимствованной приставки уже коннотирует, а не только денотирует слово, придавая ему некоторый налет иноязычности и новизны на первых порах освоения его слушающим. Здесь, однако, важно отметить, что данные служебные морфемы, производя какой-либо вид коннотации в слове, одновременно изменяют и денотат. Этот последний случай особенно интересен в ракурсе соотношения коннотации и денотации.

Так, мы говорим о коннотации мелиоративности не во всех случаях, когда слово имеет суффиксы, называемые обычно уменьшительно-ласкательными. Эти суффиксы можно условно разделить на два класса. Одни из них «уменьшают» сам предмет, например, суф. *-инк(а)*: *крупинка, лысинка, дождинка* (ср.: *лысина, дождина* и более наглядно в украинском: *ікринка, пиліна, піщина*). Суффиксы этого класса можно назвать денотативно-уменьшительными. Собственно коннотации они не создают. Они модифицируют тот же денотат.

Другой же класс составляют суффиксы коннотативно-уменьшительные, или мелиоративные. Это тот же суф. *-инк(а)* в словах *шпротинка, горчинка* и т. п., *-ик* в русском и украинском языках или суф. *-иц(а)* в русском языке. В то время как *-ик*, подобно суф. *-инк(а)*, одинаково может быть и денотативно-различительным, и коннотативным (ср. *братик*), суф. *-иц(а)* в русском языке более коннотативен, чем денотативен (ср. *сестрица*), а в украинском *-иц(я)* исключительно коннотативен, т. е. предметной уменьшительности не выражает, а заключает в себе чистую мелиоративность: *сестриця, земляця, крупиця*.



В современном русском языке суф. *-иц(а)* в большинстве случаев лишён коннотативной функции, признака уменьшительности он четко не выражает, хотя по традиции и продолжает считаться уменьшительным, как, например, в слове *рыбица*. Можно в связи с этим поставить вопрос: если этот суффикс в словах *белорыбица* и *безрыбица* не выражает денотативной уменьшительности (а это именно так), то может ли он ее выражать в слове *рыбица*? Очевидно, нет. Но в чем тогда различие между *рыбицей* и просто *рыбой*? При исчезновении денотативной уменьшительности (в диахронии) остается, однако, уменьшительность коннотативная, что и позволяет, например, назвать *сестрицей* старшую сестру. Ср. также слова *просьбица*, *девица*, *непогодица*, *метелица*, где «уменьшительность» сводится лишь к коннотации.

Эти примеры показывают, что непроходимой грани между коннотацией и денотацией не существует: в диахронии могут быть взаимопереходы. При высокой частоте использования лексемы или морфемы коннотация может исчезать или переходить в денотацию. Очевидно, иллюстрацией этого служит суф. *-ух(а)* в русских словах *молодуха* и *старуха*, где первое коннотативно (коннотация разговорности), а второе только денотативно. Украинское *молодуха* также коннотативно (коннотация диалектности), потому что противопоставляется литературному *молодиця*. С другой стороны, в ходе функционирования лексической единицы может происходить усиление коннотации (ср. укр. *свекруха*) [57].

Диалектика коннотации и денотации прослеживается на взаимоотношении терминов и терминологизированных слов с коннотирующими суффиксами. Если первые выражают понятия, т. е. являются строго денотативными и с трудом терпят эмоциональность, то вторые, помимо воплощения рационального понятия, несут еще и общеязыковые значения, которые уже допускают коннотацию. Это терминоподобные слова, представленные также и в общем употреблении, например, с «престижным» сейчас суф. *-ир*: *синтезировать*, *анестезировать*, *экспедировать*. Распространенные в общеязыковой среде, эти так называемые термины получают значения, а следовательно — и созначения. Так, в общем употреблении могут использоваться слова: *синтезировать* (со словом *опыт*), *импровизировать* — не только по отношению к музыке или сценической постановке, *торпедировать* — по отношению к переговорам и т. д. Использование таких лексем вне терминологического контекста позволяет усмотреть в них нетерминологическое содержание, а в речи — коннотацию, идущую от их параллельного употребления как терминов. Эти коннотации суть собственно впечатления от таких слов как более «строгих», «престижных» и, следовательно, наиболее действенных (независимо от того, осознано или не осознано это говорящим). Тем самым и определяется выбор терминологично-коннотативных слов в речи. Причина всеобщей экспансии технического языка, о которой сейчас много пишут, заключается не столько в экстралингвистических факторах (всеобщая грамотность, научно-технический прогресс), сколько в большей коммуникативной действенности терминологизированных слов, которые сочетают в себе четкость денотативно-рационального содержания и легкость коннотативно-эмоционального. Суть коннотации как психолингвистического явления состоит именно в том, что она вносит в речь легкость и разнообразие, а в сознание говорящего — оживление, становящееся особенно привлекательным в нейтральном контексте.

В группе слов с суф. *-ир* в русском и украинском языках при изменении суффикса меняется и денотат. Ср. русск. *газировать* — *газовать*, *командировать* — *командовать*, укр. *репетировати* — *репетувати* («громко кричать»). Среди 170 слов русского языка с этим суффиксом [58] только одно (как термин) не изменило денотата: *пеленгировать* — *пеленговать*, но при изменении денотативной направленности (при употреблении слова как нетермина) возникает и коннотация (*Тебя вчера запеленговали там-то с той-то*). Проблема взаимосвязи коннотации и контекста требует специального рассмотрения.

В украинском языке большинство глаголов этой группы не принимает *-ир* (ср. русск. *планировать* — укр. *планувати*, русск. *формировать* — укр. *формувати* и т. д.), поэтому русские коннотативно различные *пеленгировать* и *пеленговать* передаются на украинский однозначно — *пеленгувати*, и, следовательно, в отношении коннотации украинская лексема более насыщена, т. к. объединяет в себе и терминологичность одного, и разговорность другого русского слова. Отсюда, кстати, следует, что проблемы выразительных возможностей языка непосредственным образом входят в сферу исследования коннотации. Так, в украинском имена существительные с денотирующим суф. *-инн(я)* (*буракиння* «свекольная ботва»), *квасолиння* («стебли фасоли») или прилагательные с денотирующим преф. *за-* (*завеликий* «большего, чем нужно, размера», *заширокий* «шире, чем нужно») не находят в русском языке однословного эквивалента. Подобные слова, когда они переводятся описательно, обычно называют безэквивалентной лексикой.

Факт отсутствия денотативно эквивалентной лексики не является указанием меньшей гибкости данного языка. Например, отсутствие в украинском языке слова *оговориться* не дает основания для подобных умозаключений. Иное дело, если мы замечаем, что в русском языке существует к этому слову коннотативный синоним *обмолвиться* (коннотация архаичности). Именно здесь, при наличии дополнительных коннотативных возможностей мы можем говорить о тонкостях в строгом смысле, потому что оба русских слова украинский передает только денотативно: *помилитися на слові*. Точно так же не говорят ни о каких преимуществах ни русское *благодарить*, ни его украинский денотативный эквивалент *дякувати*. Вопрос денотативной адекватности возникает лишь тогда, когда существует потребность передать слово *благодарствовать*, для которого *дякувати* оказывается коннотативно недостаточным. Коннотативную недостаточность или ее преобладание можно найти сравнением слов в любом языке. В том же украинском языке слову *парубота* денотативно адекватны русские слова *парни*, *юноши*, *ребята*, но пейоративная и ироническая коннотации по-русски невыразимы.

Между тем отдельные примеры как будто показывают, что речь идет о денотации, а не о коннотации, например, у русских слов с суф. *-яга*: *ветряга*, *сотняга*, *штормяга*. В самом деле, ведь *ветряга*, *штормяга* — это слова, отличные от слов *ветер* и *шторм* не только коннотативно, но и денотативно, т. к. выражают чрезвычайно ветренную или штормовую погоду. Несомненно, между этими словами имеется денотативное отличие, но оно тесно связано с коннотирующим действием суффикса. Дело в том, что денотаты у слов *шторм* и *ветер* представляют сами по себе «силы природы», и усилительная коннотация суффикса, накладываясь на денотат, еще более усиливает это значение. Сравним примеры, где коннотация представлена в «чистом» виде, потому что денотат нельзя усилить: *холостяга* (холостяком нельзя быть в большей или меньшей степени, а если это бывает, то относится уже к области этики или морали), *сотняга*, *парняга* и т. д. Поэтому суф. *-яга* здесь прежде всего коннотативен, а изменение денотата основы — это следствие, вторичное явление. Указанный суффикс выражает чувства говорящего, старающегося в речи охарактеризовать предмет эмоциональнее. Менее характерно для этого суффикса изменение одного лишь денотата. Подобные примеры снова говорят о диалектической связи денотации и коннотации. Если сравнить *тудяга*, *хитряга*, *шустряга*, где коннотация и денотация существуют неразрывно, то трудно решить — что здесь преобладает.

В то же время нельзя сказать про *дельягу*, что он по деловым качествам превосходит *дельца*. Здесь после вычета денотатов остается чистая коннотация. Подобно этому остается одна коннотация, если отнять у слов *коняга*, *парняга*, *чертяга* денотаты *конь*, *парень*, *черт*.

Есть, правда, два примера, где денотаты формально (т. е. морфологически) не поддаются вычитанию: *бодяга* и *бродяга*. Этот случай показывает, что коннотативные качества суффикса могут «растворяться» в морфологических основах. В то же время все приведенные примеры

подтверждают коннотативную производность суфф. *-яга*. Ведь именно благодаря коннотативным свойствам этого суффикса было образовано и получило широкое распространение в шестидесятые годы новое слово *стиляга*, где, как и в слове *бродяга*, денотация и коннотация ни формально, ни содержательно неразделимы.

Взаимодействие коннотации и денотации можно наблюдать на примере префикса прилагательных *про-* в словах типа *прозападный*, *проамериканский*. Вполне очевидно, что слова *западный* и *американский* сами по себе, вне сочетаний, исключительно денотативны. С прибавлением к ним приставки *про-* их денотативная соотнесенность меняется: у них уже такой денотат, который непосредственно не относится ни к «западному», ни к «американскому». Такой переориентации сопутствует коннотативность, т. к. «включается» менее частотное «второе» прочтение: идеологическое. Возникает коннотация идеологичности. Что же касается собственно политической лексики, например, слова *фашистский*, то его денотат сам идеологичен, точнее, в нем мощная коннотация полностью поглотила денотат, поэтому появление дополнительного коннотирующего признака в виде приставки *про-* не производит здесь ожидаемого коннотативного эффекта.

Рассмотрим теперь приставку *пре-* прилагательных. Вполне очевидно, что при соединении этой приставки со словами *глубокий*, *добрый* и т. д. мы изменяем тем самым денотат (изменение происходит количественное: *предостаточный*, *преглубокий*, *предобрый*). Но, как и в предыдущем примере с приставкой *про-*, здесь возникает также и новое качественное отношение говорящего к денотату: налет фольклористичности и архаичности.

В отличие от служебных морфем, оказывающих на морфологическую основу в одних случаях денотативное и коннотативное воздействие и только коннотативное — в других<sup>1</sup>, встречаются и более сложные случаи взаимодействия коннотации и денотации. Так, русский и украинский суфф. *-аст(ый)*, *-яст(ый)* отличаются от *-ат(ый)* коннотацией усиления, но трудно решить, что он больше «усиливает», — сам денотат или отношение говорящего к денотату. Затруднительность ответа обусловлена тем, что подобные слова приближаются по своему характеру к разряду оценочной лексики. Если оценка является в данных случаях основным назначением слов, то, видимо, этот признак становится денотативным. Однако оценка говорящего может быть и в том, и в другом случае одинакова. Еще труднее решить — насколько денотат и коннотат (они здесь едины) различны в словах *языкатый* и *языкастый*. Языковой опыт говорящих оказывается здесь бесполезным. Теоретически же можно только высказать предположение, что *языкастый* экспрессивнее, чем *языкатый* (коннотация усиления). В таких случаях разграничение может быть установлено при помощи психолингвистических методик. Наконец, провести коннотативно-денотативное различие слов *мордатый* и *мордастый* совершенно невозможно. Ср. также: *губастый* — *губатый*, *брюхастый* — *брюхатый*. Указанные случаи, видимо, относятся к неупорядоченным явлениям в языке (в аспекте рассматриваемой темы), поскольку языковая тенденция здесь еще не определилась. Практическая же целесообразность параллельного существования этих суффиксов необъяснима ни семантически, ни стилистически.

Очевидно, первопричину неравнозначности рассматриваемых слов можно объяснить статистически: первые слова менее частотны, а так как коннотативный эффект обратно пропорционален частотности (исходя из общей закономерности соотношения стимула и реакции), то объяснение в конечном счете лежит в коннотативной плоскости. Если языковая интуиция говорящего не всегда проводит различие между подобными единицами лексики, то компетенция лингвиста позволяет усмотреть в них слабую коннотативную диспропорцию. Остается только решить,

<sup>1</sup> Напомним, что чисто денотирующее воздействие служебных морфем здесь не рассматривается. Примеры такого рода многочисленны и хорошо известны.

насколько коннотативная неравнозначность пар отражается на их денотативном расхождении: ведь в оценочных словах денотация и коннотация практически нерасчленимы.

В теоретическом плане этот вопрос касается принципов выражения в языке/речи категорий субъективного и объективного. Субъективность решений свидетельствует, видимо, о принципиальной ориентированности на психолингвистические процедуры. В рамках диалектического мышления важен учет эмоциональной сферы психики субъекта: исследование семантики речи невозможно без учета диалектической связи рационального и эмоционального, особенно в случаях, непосредственно относящихся к лингвопрагматике.

При рассмотрении данного языкового материала бросается в глаза любопытный случай, когда коннотат в эмическом представлении (т. е. различные коннотативные варианты одной морфемы) может оказывать на денотат морфологической основы двоякое влияние. Сравним несколько слов с коннотирующим суф. *-еньк(ий)*: *бледенький*, *голенький*, *кругленький*. С денотативной точки зрения *кругленький* может быть не совсем круглым, *бледенький* может быть не совсем бледным, а скорее всего — не может быть совсем бледным, иначе мы так и сказали бы: *бледный*, однако *голенький*, вопреки этому обязательно будет голым. Но если *голенький* и *голый* означают одно и то же, то в чем же тогда различие их денотатов?

Из первых двух случаев видно, что с прибавлением к денотату-основе коннотата-морфемы *-еньк-* изменяется и сам денотат, в то время как в последнем этот коннотат не оказывает никакого воздействия. Таким образом, коннотативный подход помогает различать слова, имеющие один денотат. Например, с точки зрения денотации различие слов *толстенький* и *толстоватый* не поддается объяснению. Точно так же мы не можем сказать, где именно лежит граница между *тепловатый* и *тепленький*. Их различие не поддается объяснению и дистрибутивно.

Различие, видимо, лежит в коннотативной области. Представляется, что качественные имена прилагательные с суф. *-оват(ый)*, *-еват(ый)*, а также полностью идентичные им украинские *-уват(ий)*, *-юват(ий)*, отличаются от прилагательных на *-еньк(ий)*, *-оньк(ий)* некоторым налетом эвфемистичности, когда, например, не хотят открыто сказать *бледный* и коннотативно усиленное (жалостливое) *бледенький*, а говорят эвфемистическое *бледноватый* (*Вы немного бледноваты сегодня*).

Тесное взаимодействие коннотации и денотации характерно и для прилагательных на *-ущ(ий)/-ющ(ий)*. Так как этот суффикс присоединяется к основам, обозначающим размеры, то вместе с коннотацией происходит изменение денотации, ср.: *длиннющий*, *толстющий*, *худющий*.

Подобно этому суффиксы прилагательных русск. *-ёшеньк(ий)*, *-ёхоньк(ий)*, украинск. *-есеньк(ий)*, укр. *-ісіньк(ий)*, *-юсіньк(ий)*, являясь онтологически коннотирующими, одновременно с усилением коннотации изменяют денотацию. Не случайно эти суффиксы традиционно считаются уменьшительно-ласкательными. Практически отделить здесь сферу эмоционального от рационального также затруднительно. Теоретически же такое разделение возможно. Особенно наглядно это удастся сделать сравнением однородной лексики в двух языках. Так, выше говорилось о приставке *пона-* в русском языке, которая усиливает лишь коннотацию. Напротив, в украинском языке при удвоении приставки *по-* усиливается большей частью и коннотация, и денотация. Эта приставка изменяет в первую очередь само значение, т. к. она направлена прежде всего на изменение интенсивности действия и лишь как следствие — чувства говорящего. Только в этом аспекте указанная приставка выступает как коннотат: ср. укр. *попобігати* «долго бегать», *попоносити* «долго или много носить», *попоїсти* «перекусить, немного поесть».

В последней группе примеров, как и во многих предыдущих, различие коннотации и денотации в речи не выражено так четко. Ведь реально при изменении денотативной соотнесенности слова у говорящего, как правило, возникают и новые индивидуальные отношения к другому де-

нотату. Человек — не бесстрастный генератор информации, и процесс ее передачи не может обойтись без оценки ее содержания. Этот тезис подкрепляют, далее, приставки глаголов: русск. *раз-/разо-/рас-/разъ-* и укр. *роз-/рози-*, под действием которых некоторые глаголы получают коннотацию разговорности при одновременном денотативном изменении [русск. *разодеть, разъезжать, разукрасить*, укр. *разгодувати (раскормить), розкритикувати, розхвалити*]. Выбор слова *разодеть* вместо *одеть*, *разукрасить* вместо *украсить* и т. п. продиктован как намерением показать иное, несколько отличное денотативное содержание, так и чувствами говорящего, отношением его к этому новому денотату.

Среди коннотативных суффиксов есть и такие, которые изменяют денотат только в количественном отношении (ср. преф. *пре-*). К таким суффиксам относятся русский *-ну(ть)* и тождественный ему украинский *-ну(ти)*, усиливающие коннотативные признаки, уже прежде заложенные в основах: *стегать* — *стегануть*, *плескать* — *плескануть*, *хватать* — *хватануть*, укр. *штовпати* — *штовхонутти*. При усилении коннотации разговорности вторых слов происходит видоизменение денотата (действие становится однократным вместо многократного), но собственно изменения денотации не происходит: *стегануть* и *стегать* можно с одинаковой интенсивностью, а несколько раз *хватать* или *толкать* можно даже сильнее, чем один раз *хватануть* или *толконуть*. Речь, следовательно, идет только об усилении коннотативном.

Итак, рассмотренный материал дает основание, во-первых, для лингвистического обобщения. Семантическая характеристика производной лексемы, придаваемая присоединенным аффиксом, может быть коннотативной (эмоциональная функция) или денотативной (логическая функция; ср. функции языка как такового). Можно выделить, по меньшей мере в славянских языках, такие производные лексические значения, где коннотация и денотация реализуются присоединением одного и того же аффикса. Синкретизм в значении лексемы-derivата здесь противопоставлен случаям, где коннотация и денотация находятся в дополнительной дистрибуции. С другой стороны, воспроизведение разных служебных морфем в тождественном окружении создает основу для представления коннотаций как этических характеристик (ср. коннотации разговорности, пейоративности и иронии, сообщаемые коннотемой *-ка* словам *рубака, кривляка, вояка*), в отличие от этических представлений коннотации (ср. коннотат разговорности у приставок *на-, по-, под-, раз-, про-, пере-*, присоединяемых к нейтральной основе *делать*). Возможность распределения материала по принципу «эмизируемости» показала уместность инвариационной методики исследования.

Рассмотренный материал позволяет сделать также обобщение, выходящее за рамки собственно лингвистики в стилистику речи и прагмалингвистику: представленные типы взаимоотношений служебного аффикса и основы показали диалектику взаимоотношений их содержания. Ведь при каждом морфологическом изменении слова происходит качественное изменение его значения — денотативное и/или коннотативное. Эти сложные типы семантических взаимоотношений морфем, служебной и основной, убеждают, что исследования лексической семантики в речи не будут полноценными без рассмотрения диалектической связи эмоционального и рационального, потому что между коннотацией и денотацией нет абсолютного противопоставления.

Наконец, представленный материал можно рассматривать и использовать в прикладных аспектах: параллельные примеры из близкородственных языков с неодинаковым распределением коннотаций в аффиксах и основах, возможно, привлекут внимание теоретиков художественного перевода. Лексикографический аспект рассмотренной проблемы требует особого обсуждения. Кроме того, коннотационная тематика исключительно важна для практического курса русского языка как иностранного на продвинутом этапе обучения.

1. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М., 1958.
2. Васильев И. А., Поплужный В. Л., Тихомиров О. К. Эмоции и мышление. М., 1980.
3. Искусственный интеллект и психология (Гл. «Эмоции и интеллект»). М., 1976.
4. Панов В. Г. Чувственное, рациональное, опыт. М., 1976.
5. Гула В. Л. Диалектика эмоционального и рационального в морали. Тбилиси, 1976.
6. Творческий процесс и художественное восприятие. М., 1978.
7. Паифилов В. Э. Взаимодействие языка и мышления. М., 1971.
8. Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке (Гл. «Коммуникация и прагматика языка»). М., 1975.
9. Безруков В. И. Значение как выражение единства чувственного и рационального.— В кн.: Некоторые вопросы лексикологии и грамматики. Тюмень, 1960.
10. Klaus G. Sprache der Politik. § 4. Berlin, 1971.
11. Kirchgässner W. Probleme der Einheit von rationalem und emotionalem in der natürlichen Sprache.— In: Proceedings of the 15-th World congress of philosophy. 5. Sofia, 1975.
12. Jacobsen E. Language and emotion.— In: Pragmalinguistics. The Hague, 1979.
13. Russel B. On denoting.— In: Contemporary philosophical logic. New York, 1978.
14. Рассел Б. Человеческое познание. Его сферы и границы (Гл. «Язык»). М., 1957.
15. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
16. Милль Дж. Ст. Система логики силлогической и индуктивной. Гл. 11, § 5. М., 1899.
17. Kripke S. A. Naming and necessity. Oxford, 1980.
18. Ельмслев Л. Прологомены к теории языка.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
19. Szezőwski T. Connotation and denotation.— In: Semiotics in Poland. 1894—1969. Dordrecht—Boston—Warsaw, 1979.
20. Успенский В. А. О вещных коннотациях абстрактных существительных.— В кн.: Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979.
21. Сотиров В. Вещные коннотации — навиг или неизбежность.— В кн.: Философская мысль. Кн. 4. София, 1981.
22. Барт Р. Основы семиологии.— В кн.: Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
23. Spinner K. N. Die Aporien des Konnotationsbegriffes in der Literatursemiotik.— In: Literatursemiotik. I. Tübingen, 1980.
24. Курене Б. Соотношение денотативного и коннотативного как показатель эмотивной насыщенности художественного текста.— Kalbotyra, 1980, т. 31 (3).
25. Osgood Ch., Susi G. J., Tannenbaum P. H. The measurement of meaning. Urbana, 1957.
26. Behavioral and neural analyses of connotative meaning.— In: Brain and language, 1980, v. 11, № 2.
27. Olson D. K. On language and literacy.— In: International journal of psycholinguistics, 1980, v. 7, № 1—2.
28. Sperber H. Einführung in die Bedeutungslehre. Bonn—Leipzig, 1923.
29. Erdmann K. O. Die Bedeutung des Wortes. Leipzig, 1925.
30. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961.
31. Akhmanova O. S. Linguostylistics. Theory and method. Ch. 2. Moscow, 1972.
32. Heise D. Social status, attitudes and world connotations.— In: IJAL, 1967, v. 33, № 4.
33. Arnold J. V. The English Word. Moscow, 1973.
34. Долинин К. А. Стилистика французского языка. Л., 1978.
35. Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж, 1979.
36. Винокур Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980.
37. Тер-Минасова С. Г. Синтагматика речи: онтология и эвристика. М., 1980.
38. Ризель Э. Г. Стилистическое значение и коннотация.— В кн.: Сборник научных трудов МПШИЯ, 1980, вып. 158.
39. Шаховский В. И. К типологии коннотации.— В кн.: Аспекты лексического значения. Воронеж, 1982.
40. Павлова Н. М. Стилистические коннотации как компонент адекватности перевода.— Тетради переводчика, 1977, вып. 14.
41. Schippan Th. Zum Problem der Konnotation.— Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1979, Bd. 32. Hf. 6.
42. Indries A. «Poetic» words and their semantic field of connotation.— Revue roumaine de linguistique, 1979, t. 24, № 5.
43. Stejrková S. Konotační aspekty lexikálního významu.— SaS, 1980, ř. 41, č. 1.
44. Блумфильд Л. Язык. М., 1964.
45. Комлев Н. Г. Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969.
46. Rossipal H. Konnotationsbereiche, Stiloppositionen u. sog. Sprachen in den Sprachen.— Germanistische Linguistik, 1973, № 4.
47. Molino J. La connotation.— La linguistique, 1974, fasc. 1, v. 7.
48. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.
49. Евсеев И. Коннотативные значения в толковых словарях.— In: Studii de lingvistica. Timişoara, 1976.

50. *Гельгардт Р. Р.* Лексические единицы и устойчивые словосочетания в связи со смысловым восприятием высказывания.— ФН, 1978, № 5.
51. *Пашковский А. А.* Коннотативное развертывание в японском языке.— В кн.: Японское языкознание. М., 1979.
52. *Lankamer В.* Коннотация, валентность, интенция в работах советских языковедов.— *Slavia orientalis*, 1978, № 3.
53. *Говердовский В. И.* История понятия коннотации.— ФН, 1979, № 2.
54. *Алексеев А. Я.* Стилистическая информация языкового знака.— ФН, 1982, № 1.
55. *Bochmann К.* Zum theoretischen Status and operativen Wert der Konnotation.— In: *Linguistische Arbeitsberichte*, 1974, 10.
56. *Говердовский В. И.* Опыт функционально-типологического описания коннотации: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
57. *Сучасна українська літературна мова. Стилїстика.* Київ, 1973.
58. *Обратный словарь русского языка.* М., 1974.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

КОЛЕСОВ В. В.

СИНОНИМИЯ КАК РАЗРУШЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТИ СЛОВА  
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Соглашаясь с тем, что предметом исторической лексикологии является текст (Б. А. Ларин), уточним, что объектом ее является семантика слова, в своем историческом движении определяемая функцией текста. Древнерусский текст всегда отличался широким развитием синонимии и лексической вариантности, пределы которых ограничены содержанием текста (назовем это с и н т а г м о й) или системой языка ( п а р а д и г м а). Необходимо уточнить и представление о синонимии и полисемии в древних текстах, поскольку исторически семантика слова и семантика текста развиваются параллельно и в корреляции друг с другом.

Интерес представляют как синтаксически связанные словоформы одного слова, так и независимые от парадигматических отношений формы одного слова. С противоположных сторон они могут указывать на отношение носителя древнерусского языка к слову, когда еще и само слово — семантическая синкрета, и лексема, и словоформа, и высказывание, даже текст в целом — слово же.

Синтаксическую связанность древнерусских словоформ можно иллюстрировать на примере одного из излюбленных в исторической литературе слов — *домъ*. В текстах до XV в. — переводных и оригинальных — каждое из определяемых современным сознанием «значений» этого слова коррелирует с особой, всегда одной и той же грамматической формой его проявления. Из известных мне многочисленных текстов, созданных до XVI в., выявляется следующее распределение «сем» по словоформам:

1) «кров (жилье)» — в сочетании с притяжательным местоимением как знаком принадлежности, преимущественно в устойчивых сочетаниях с глаголами движения или пребывания: *иди въ домъ свои, бысть в дому его* и т. д.; эти выражения всегда эквивалентны древним наречиям и столь же лишенным грамматической парадигмы формам типа *домови, домой, домовъ, дома, в дому*;

2) «семья (домочадцы)» — в сочетании с местоимением *въсь* (при возможном притяжательном местоимении, как и в предшествующем случае), что также доказывает достаточную древность этого «значения» слова; ср. *въсь домъ свой*, что семантически эквивалентно возникшим впоследствии производным типа *домочадци, домашнии*, еще позже — *домовнии* и т. д., которые как бы эксплицировали одно из значений слова в отдельных, социально важных, лексемах;

3) «хозяйство, имущество» — всегда имя существительное в свободном употреблении и без определений, но, как правило, в форме им. или вин. падежей и в общем ряду слов близкого по смыслу «значения», ср. обычные перефразировки библейского выражения *прилагати домъ к дому и село к селомъ* у Климента Смолятича, *домъ, село и имѣние* у Кирилла Туровского (XII в.) и др.

4) «здание» — всегда с уточняющим определением (прилагательным: *велици и светли домъ* и под.) и обычно после глагола с обозначением действия, ср. *сътвориши, съзъдати, разрушиши* и т. д. *домъ*. Особенностью этого значения является возможность употребления в форме мн. числа *домы* и появление синонимов типа *здание*. Напротив, предшествующее



«значение» слова экспликации вполне однозначной самостоятельной лексемой не имеет, каждое слово, которое мы могли бы привлечь для этого, всегда является более отвлеченным по значению, в логическом отношении предстает как р о д о в о е понятие (ср. позже *имѣние* — и др.).

Представленная последовательность значений слова соответствует исторической последовательности появления формальных ограничителей словоформ в речи, почему и можно было бы говорить о семантическом развитии значений слова *домъ* от самого первого из них («общий» кров» до последнего — «здание»). В древнерусском языке, как можно судить по материалам, семантика слова еще не вычленилась из семантики словоформы, поскольку каждое конкретное «значение» слова-синкреты [дом] оказывается распределенным грамматически (не статистически, не стилистически, не функционально и ни как-либо еще). Только чисто условно, по формальным признакам, учитывая «свободную» позицию словоформы со значением «хозяйство», можно было бы сказать, что «основным» (номинативным) значением этого слова в древнерусском языке было значение «хозяйство», а не «здание», как в современном русском литературном языке, и не «(общий) кров», как в праславянском языке. Однако чтобы положительно утверждать это, следует сначала доказать, что распределение «сильных» и «слабых» в отношении к форме семантических позиций в древнерусском языке было таким, как и в современном литературном языке. Последнее сомнительно по следующим соображениям.

Во-первых, с содержательной стороны каждое ключевое понятие имело, по-видимому, оппозита, в котором отчасти совмещались и некоторые общие двум понятиям значения. В отношении к понятию [дом] таким оппозитом был [двор]. По крайней мере до XIII в. встречаются тексты, в которых *домъ* — *дворъ* по своим значениям находятся в дополнительном распределении, а долгое время так и просто стилистически. В «Слове о полку Игореве» только *двор* — в «Задонщине» этому соответствует *домъ*; *двор* чаще в летописи, а *дом* — в житиях. Но дело не только в этом. Неопределенность семантических границ между обоими лексемами, например в «Повести временных лет», хорошо описана [1; 2, с. 107—108], но основным значением в обоих случаях справедливо указывается «хозяйство, имущество». В древнерусских переводных светских текстах XII в. *домъ* или *дворъ* являются собирательным обозначением имущества, хозяйства. *Дымъ*, *домъ*, *дворъ* как основная податная единица, сменяя друг друга, проходят через все древнерусские тексты, касающиеся этой темы. Точно так же и захватчики грабят или жгут *имѣние мое*, *дворъ мой* или *домъ мой* [2, с. 108]. Нестабильность объема понятия [двор] в отношении к хозяйству и неопределенность номинаций в зависимости от текстов препятствуют признанию этого значения слова в качестве основного<sup>1</sup>.

Во-вторых, и известные значения слова *дворъ*, в свою очередь, оказываются грамматически связанными. Например, значение «группа лиц из родственников, приближенных и личных слуг»; «придворные» с формой притяжательного местоимения отмечается в твор. или вин. падежах: *со всемъ дворомъ*, *весь дворъ свой*.

Есть и другие грамматические особенности, которые делают значения слова связанным морфологически. В древнерусских текстах слово *домъ* обычно выступает в архаических формах парадигмы \*-й-основ — кроме формы дат. падежа (что понятно, поскольку старая форма *домови*, получив наречное значение, изменилась). Представим себе, что в форме местн. падежа уже в XII в. возможна словоформа *въ домъ*, и «значение» слова сразу же изменяется — «в здании». Новое значение слова обычно и прикрепляется к новой для парадигмы форме; более того, можно утверждать, что и появление новой (аналогического происхождения) формы связано с необходимостью выявить одно из значений слова. Морфологические процессы унификации парадигм и внутренней аналогии вызывались необходимостью расширить сферу действия семантических границ слова при сохранении старой грамматической системы.

<sup>1</sup> Детальную разработку значений этого слова применительно к срезу XVI—XVII вв. см. в [3].

Затем, на основании тех же древнерусских примеров, мы замечаем, что у слов *домъ* и *дворъ* предпочтительными были различные предложно-падежные сочетания, и особенно в самых древних значениях — пространственных, ср. в вин. и местн. падежах *въ домъ*, *въ дому* — *на дворъ*, *на дворъ*, *на своємъ дворъ* (но с определением уже и новые обороты: *в ветхом дворе*, *в царевъ дворе* и др.). Грамматическая связанность значения слов жестко определялась не только падежной формой, но и характером предлога, следовательно, — и синтаксически.

Независимые от парадигмы словоформы лучше всего заметны на примере только что появившихся в древнерусском языке слов. В Изборнике 1076 г. лексический русизм *ларь* в тексте древнерусского перевода «О милостивѣмъ Созоменѣ» представлен в местн. падеже ед. числа *лари*, в род. падеже мн. числа *ларевъ* и вин. падеже мн. числа *ларѣ* (т. е. и грамматический русизм). Одно и то же «слово» входит по крайней мере в три различных грамматические парадигмы, поскольку до вторичного смягчения согласных заимствованное из древнескандинавского языка слово *larr* «ящик» не могло попасть сразу и непосредственно в тип склонения на *\*-jo*. Можно говорить о парадигмах основ на *\*-i*, *\*-i*, *\*-jo* как возможных проявлениях данных форм, поскольку в XI в. уже не было релевантным различие между этими парадигмами для слов одного и того же грамматического рода, а все три засвидетельствованные формы объединяются признаком мужского рода. Некоторые формы фонетически уже совпадают, ср. особенно форму *лари*, которая омонимична форме *\*-jo*-основ, каковою ее и стали осознавать после перефонологизации различительных признаков в пределах слога. Это значит, что грамматическая форма «слова» не воспринималась как отдельная словоформа общей парадигмы, что представление о грамматической парадигме вообще сомнительно именно в этот период языковой истории. Что же касается нормы, то в ее роли выступала не парадигма-отношение словоформ в различных их признаках, а абсолютно конкретный текст — сочетание слов, семантический блок, текстовый образец. В данном случае релевантным оказывается уже не формальный признак прежней грамматической парадигмы (= характер основы, т. е. фонетический признак), а новое категориальное свойство, которое можно определить как грамматический род. Однако и на новом этапе складывания парадигмы все-таки грамматическая категория определяет границы «слова».

Так как вопрос коснулся взаимоотношения парадигм *\*-i* и *\*-jo*-основ, напомним хорошо известные примеры склонения таких слов, как *огнь*, *звѣрь* и др. Все они из *\*-i*-основ, но перешли в склонение *\*-jo*-основ. В Выголексинском сборнике XII в. отмечаются колебания в написании: *огнь* и *огнь*, *огня* и *огня*, *огньмъ* и *огньмъ*, *огневи* и *огньви* — «вторичное смягчение» согласных еще не освоено даже в слогах, которые признаются исходными для этого фонетического процесса (неорганическое смягчение в группах «гн»). В данном перечне фактически представлены парадигмы *\*-i*, *\*-jo*, *\*-i* для одного и того же имени — опять-таки мужского рода. Идеологическая важность данного слова потребовала дифференциации различных его «смыслов», и в результате могли разойтись слова со значением «стихия», «пламя» или некий философский символ вечности. Высокий стиль, как правило, архаизировал формы, и в северных рукописях старообрядцев формы род. падежа *крове* или *любве* сохранялись до XIX в., поскольку служили обозначением христовой крови и любви к богу.

При желании подобных примеров можно привести множество. В сущности, всякое изменение грамматической парадигмы (по аналогии) двуединый процесс — всегда и семантика конкретного слова определяет направление и интенсивность подобной аналогии. «Выравнивание по аналогии» проходит несколько этапов, последовательно от формы к форме, и подчиняет в конце концов все слова, входящие в данный грамматический класс. Если не ошибаюсь, многие превосходные работы В. М. Маркова и его коллег посвящены изучению как раз этой проблемы: какие ограничения в значении конкретного слова препятствуют освоению им более общих, грамматических, категориальных по смыслу значений [см. 4].

Описанный здесь по необходимости кратко разброс значений слова в зависимости от конкретной словоформы или, наоборот, форм слова в зависимости от различных грамматических парадигм, объединяемых изменяющимися грамматическими характеристиками, можно было бы истолковать как синонимию или как полисемию. Однако вернее считать, что перед нами всего лишь иное, чем принято это в современной лексикографии, отношение к норме, так и к парадигме: в средневековой культурной среде нормой признается конкретный образец, а парадигма представлена в образцовых синтагматических блоках слов, с помощью которых и создается каждый новый текст (или воспроизводится старый, известный). Что же касается семантического содержания древнерусского (= древнеславянского) слова, то это — синкрета, каждое, потенциально возможное значение которой раскрывается только в тексте. Как кажется, описанное здесь распределение не выражает ни синонимии, ни полисемии, потому что «значение» в этих случаях всегда связано с отдельной словоформой, а различные словоформы входят в грамматически разные «слова».

Проблема многозначности древнерусского слова имеет и еще один аспект. Не всякая «многозначность», как она выясняется из анализа текстов-образцов, являлась органически славянским явлением. Ментализация как способ осмысления переводимого слова (этот термин предложил Е. М. Верещагин [5]), исходя из внутренней формы слова-синкрета, в средние века начинает развивать и словарную многозначность; эта первая форма многозначности — исторически необходимая форма восприятия инородной культуры через посредство слова-понятия и как средство создания принципиально новых текстов-образцов. Принцип создания новых минимальных текстов исторически постоянно коррелирует с семантическим развитием слова. Подобная многозначность средневекового слова есть семантическая градуальность общего (т. е. исходного для данного слова) смысла, разложение потенциального семантического спектра в реальном высказывании, и смысл этот всегда проявляется только в тексте, путем переносов и в связи с влиянием на старую систему знаков со стороны другой системы (скажем, с влиянием церковно-книжного языка на древнерусский — еще один «икс» исторической лексикологии). При этом характерно, что основным принципом переноса значений в древнейших текстах является метонимия, а не метафора — верный знак того, что только объем понятия, но совсем не его содержание интересует древнерусского книжника на самой заре развития древнерусской лексикологии.

Значения греческих слов, переводимых на славянский, несомненно откладывались в литературном языке славян, до поры до времени сохраняясь в образцовых «блоках» текста, и сами по себе создавали образцы словосочетаний, поскольку они воспринимались в единстве с текстом в составе формальных клише. Если в греч. *διεξ* среди его значений имеются также «блеск, сияние, яркость», «чаяние, надежда», «видение, призрак, мечта», во мн. числе также и «высшие власти», то в древнерусских переводах не ограничивались только квазиточным эквивалентом *слава* и в целях наибольшей точности перевода стали добавлять развернутые дополнительными (самостоятельными) словами сочетания типа *слава и держава, слава и величество, вѣнец и слава*, как в Печерском патерике начала XIII в., и др., поскольку лишь включение распространителя раскрывает внутренний смысл греческого (многозначного) слова и всего оригинального текста в целом. Символика текста опиралась на многозначность греческого слова, которую необходимо было расшифровать для славянского читателя, славянское слово-синкрета разворачивается в образец-текст. Число таких распространителей постоянно растет, и притом главным образом за счет переводных текстов, откуда оригинальная литература заимствует образцовые сочетания. Так, признаки «доксии» постоянно конкретизируются и уточняются, ср. в древнерусском переводе Жития Василия Нового (XII в.) *слава и свѣтлость и сияние; чѣсть и слава и власть и вѣсь разумъ* и т. д. Многозначность греческого слова, совмещаясь с синкретизмом славянского слова и накладываясь на последний, потребовала экспликации неизвестных прежде значений в виде самостоятельных лексем. Такова

своего рода начальная форма текстового «извития словес» и с той же функциональной заданностью: необходимость передать синкретой многозначность текстовой формы греческого слова — это перевод «страноведческого», а не художественного характера, хотя с течением времени, наполняясь все новым содержанием, привязывая значение к собственно русским «признакам» понятия, в сопоставлении с другими однозначными текстами, подобные цепочки слов стали восприниматься как синонимичные. Переводчики и компиляторы, равняясь на образцы, а н а л и т и ч е с к и представляли значение многозначного греческого слова, развертывая его в текст, а из последующих его текстовых переработок («развития мотива») и возникло представление о синонимах, хотя в современном смысле слова синонимами подобные слова, конечно же, еще не были.

Еще один пример.

Значение греч. *τιμή* в своей многозначности также нуждалось в распространителях, которые проявили бы в отдельных лексемах значения греческого слова: «определенная стоимость, мерило ценностей», «цена, стоимость», «часть добычи», «возмещение, воздаяние», «награда», «достоинство (по званию или чину)» и т. д. Эти значения греческого слова и развертываются, в зависимости от текста, в переводах, так что привлечение переводных текстов к рассмотрению семантики древнерусского слова не всегда окажется корректным, если при этом не учесть семантики распространяющих смысл греческого слова слов, ср. в «Истории» Иосифа Флавия *чѣсть и многоимание, на чѣсть и на златоимание, с честію и с дары, чѣсти и величія*, а впоследствии как завершающий момент длительной отработки устойчивого оборота — *чѣсть и слава*. В отношении к богу *чѣсть* также может быть проявлена, однако в таком случае употребляется уже не сочетание слов, а сложное слово *благочѣстье*. *Благочѣстье* — столь же материальный дар пожертвования, но, в отличие от «добычи» или «стоимости» в значении прежних сочетаний (*имание, златоимание*), дар благой. Различие в назначении «чести» уточняется добавлением нового корня — безразлично, в какой форме.

В чередовании контекстов с ключевым словом в его употреблении постепенно возникают и оформляются ценностные характеристики слова, а уж это обстоятельство и привело впоследствии к возникновению синонимов. Греч. *λόγος* связано с обозначением изречений: «повествование, речь», «притча», «поговорка», «похвальное слово», которое при этом иногда еще и п о е т с я. Отсюда естественные расширения слова в славянских переводах: *вѣсть хвалу, хвалами и пѣсньми, пѣснь и хвалу, вѣспѣшиа и вѣсхвалиша*, и т. д. Довольно часто глагол *хвалити* в ранних славянских переводах заменялся (по смыслу) глаголами *пѣти, молити, печаловати* и др., опять-таки в соответствии со значениями греческого эквивалента. Таким образом, *хвала* постепенно увязывается со *славой* признаком «слово, изрекаемое», но одновременно близко и к понятию о чести — признаком материализованной награды, воздаяния. *Чѣсть, слава, хвала* в известном отношении становятся синонимами, поскольку под давлением новых текстов состоялось перераспределение некоторых сем этих славянских слов [6].

Во всех подобных случаях (а их множество) принципом семантического совмещения и наложения являлось не сходство, а наоборот — различие в значениях слов. Постепенно выработалась некая семантическая корреляция, в границах которой, например, все оттенки «добраго, хорошего», положительно маркированного сосредоточились в общей противоположности к злему, худому. Например, в переводе «Пчелы» противопоставление добраго злему эксплицируется словами *добръ и золь* даже там, где греческий оригинал не дает таких определений, но в соответствии с общим смыслом высказывания они требуются; так, говорится о царском роде и его потомках, и славянский переводчик уточняет: «от него плод б л а г ъ», потому что иным и не мог быть царский наследник. В принципе можно установить конечный список наиболее существенных корреляций такого рода — и все они окажутся идеологически существенными, опорными для данной культуры [7]. В своей совокупности они создают надлексический уровень семантики, представляя з н а ч и м о с т и в наиболее общем виде.

Создание такого «флера», охватывавшего и покрывавшего значения отдельных слов, и происходило довольно длительное время под влиянием переводной письменности. Роль отвлеченных значимостей, стоящих над лексическим значением отдельных слов, не просто в организации лексической системы самостоятельной книжной культуры — появление черт сходства приводит к формированию синонимии, к сближению семантики слов по общим признакам сходства.

Параллельно этому на такой основе кристаллизовались устойчивые сочетания по видимости однозначных слов типа *честь и слава*, *горе не беда*, *стыд и срам*, *радость и веселье* и др. со связанной (позиционно обусловленной) семантикой для выражения одного общего понятия, т. е. соответственно [хвала], [скорбь], [совесть], [праздник]. И в этом случае также, но иным образом, происходило включение смысла заимствованного слова в его славянский эквивалент (например: *образъ* при наличии слов *лицо* и *видъ* — *образъ лица* и под.), а также перераспределение значений славянских слов под давлением инородной культуры. Последнее можно иллюстрировать историей слов *животъ*, *житие*, *жизнь* в древнерусском литературном языке. Первоначальное разграничение по функции слов *животъ* и *житие* (признак, которым обладает живое существо, и — форма его проживания) [8] после введения в оборот болгаризма *жизнь* (скорее всего — в книжной практике писателей Киево-Печерского монастыря второй пол. XI в. [9]) отчасти размывается, и новая лексема долго не находит себе места в системе соответствий — пока не создаются условия для синонимических отношений на основе сходства слов и общности их исходного корня (*жизнь* одновременно и *житие*, но также и *животъ* — например, по имущественным отношениям). Таким образом, и синонимия самого литературного языка возникает как результат перераспределения значений в границах семантической общности. Подобная синонимия в древнерусском тексте есть способ реализации «многозначности» синкретического по смыслу древнерусского слова, поскольку отсутствие системной значимости слова в этот момент обедняло и его лексическое значение, и только в тексте становилось возможным выявление его смысла. *Жизнь и жите* — того же рода сочетание, что и *честь и слава*, но на первом этапе формирования синонимии они не являются, строго говоря, синонимами: только в совместном употреблении они дают выражение для нового понятия, образуя номинацию родового для обоих слов признака — «период существования кого-либо». Возникновение парных сочетаний указанного типа, в границах которых вырабатывались общие признаки сходства, столь же необходимое условие образования синонимии, как и обратный процесс семантического совмещения слов разных языков.

Являясь категорией исторической, синонимия в своем становлении проходит несколько этапов развития. Как способ системной организации слов синонимия замещает функционально слабый способ формирования лексики в систему по идеологически опорным признакам.

Как можно судить по собранным в литературе примерам, первоначально это проявлялось в виде сопоставления заимствованного слова с калькой (*скиния* — *стнь*), затем в виде глоссы или линейным соположением вариантов, которые возникли на основе калькирования или глоссирования (*трьба жертва*), еще позже — как описанное уже распространение в текст (*честь и слава и хвала*), как различные способы художественного использования синонимов этого типа по мере их накопления в текстах. К последним относятся примеры символической симметрии типа псалтырных текстов-противопоставлений [10] или кажущаяся тавтология в сочетаниях типа *бой-драка* и под. Параллельно этому изменялись и способы организации новых текстов. У Кирилла Туровского в середине XII в. использование подобных «синонимов» дается принципом функционального параллелизма, т. е. так же, как и в традиционных текстах, ср.:

«... старцы быстро шествоваху, да богу поклоняться,  
отроки скоро течаху, да прославят господя,  
младенци яко крилаты окрестъ Исуса паряще вопяху...».

Градация усиления вызывает и потребность в новом слове, которое, как считается, и содержательно «сильнее» предыдущего. Синонимический ряд осознается в контексте. Поскольку последовательность *старци — отроци — младенци* выражает общее родовое понятие (возрасты человеческой жизни), все последующие ряды и воспринимаются как формы параллельных родовых понятий, т. е. *быстро — скоро — яко крилаты, шествовалу — течаху — паряще, поклоняются — славят — вопят, богу — господу — Исузу* [см. 11]. Принцип построения текста у Епифания Премудрого в конце XIV в. принципиально другой: нагнетание слов не дробит общее родовое понятие, а уточняет значение одного и того же высказывания. Когда Епифаний просит прощения за свое «худоумие», оправдываясь в смелости, полагает он, что «подобаше ми отинудохъ съ страхом удобь молчати, и на устѣхъ своихъ прѣстѣ положить, свѣдущу свою немощь, и не износити изъ устѣ глаголь, еже не по подобию, ниже предръзати на сидевое начинание...». Внешнее сходство с синонимичностью определяется общностью номинации, однако художественная (описательная) сущность выражений как раз не совпадает: в описании постепенно совершается поворот позиции автора — от чисто внешней (молчать) через промежуточную (положить перст на уста свои — чтобы молчать) к внутренне обусловленной (слово не исходит из уст — в результате предпринятых действий). И «плетение словес» оказывается всего лишь попыткой вывить и выработать некий родовый семантический признак посредством нагнетения в тексте «неоднозначных» слов общего смысла. «Родовое понятие» остается вне текста, его нет в тексте, поскольку оно избыточно в художественно аналитическом представлении «рода». Никакой новой информации «синонимы» стиля «плетения словес» не дают, перечисление внешних подобий синонимам как бы затормаживает движения: «Егда же прииде кончина лѣтъ жития его и время ошествия его наста, и приспѣ година преставления его...». *Лета — времена — години* не существуют отдельно от *жития — отхода — преставления*, да и не важны эти имена как самостоятельные, только совместно они выражают какое-то понятие о «моменте смерти». Синонимия и здесь еще контекстно обусловлена, однако если в XII в. писатель видел общность «родового понятия» субстанциально, предметно и аналитически представлял его посредством словесного ряда, то для писателя на рубеже XIV—XV вв. важны уже отвлеченные признаки и выделения и номинации, и признаки эти могут выражаться с помощью различных частей речи, разных сочетаний и т. д.

Таким образом, разными путями многозначность слов, устраняясь в парадигме, порождает синонимию, т. е. законченный ряд отдельных, самостоятельных, но близких по значению слов. Сгущение словоформ в грамматические парадигмы обратным образом и порождает синонимию на уровне отдельных лексических единиц. «Системный характер» синонимии вторичен, это производное от грамматической парадигматики, на уровне отдельных лексем он отражает параллельный процесс категоризации на грамматическом уровне. Коль скоро под напором новой словесной культуры образовалась сверхсловная системная значимость, релевантные, базовые ее признаки неизбежно должны были сконденсироваться на более абстрактном (грамматическом) уровне, а издержки этого процесса «выпали в осадок» в виде неполной синонимии. В этом процессе приходится принимать во внимание и особое значение стилистически разных текстов в условиях постоянного перераспределения жанров и стилей. Собственно говоря, исторически изменяются не слова и не их значения. Изменяются тексты, принцип их порождения и их маркировки по стилю и функции.

Создавшаяся в результате этого противоречивого и сложного процесса чрезмерная семантическая усложненность древнерусского слова в литературном тексте определялась внутренним противоречием между семантикой отдельного слова, значимостью его в границах системы и значениями в образцовых текстах: они не всегда совпадали. *Честь* в традиционных текстах XV в. может быть еще и «часть добычи, дар», но в самостоятельном значении — «почет или уважение»; одновременно с тем в границах

системы близких понятий слово *честь* обладало уже идеологической значимостью, пределы которой постоянно изменялись. Значения «слова» распределены теперь не по словоформам, а по функциям слова в текстах. Выходом из подобной (по существу — символической) многозначности слова могли стать разные пути ее устранения, из которых кратко обозначим следующие.

Расхождения в формах, первоначально стилистически различных; за полногласной лексикой закрепились значения конкретные, за неполногласной — отвлеченные, ср. оппозиции *городъ — градъ* (цитадель) или *голова — глава* уже с XIV в. Расхождение в акцентных характеристиках, важных специально для устной речи, сразу же выделяет самостоятельные слова: *губа* «рот» с последовательным ударением на конце слова; *губа, губу* «залив» с последовательным ударением на окончании слова; *губа, губу* «волость» с подвижным ударением [12]. Начинается развитие словообразовательных гнезд, постепенно эксплицирующих отдельные значения исходной синкреты (которая на основе переработки текста развила контекстную многозначность), уже не в конкретных текстовых блоках, а в виде самостоятельных лексем. Так, по данным исторических словарей [13] можно установить историческую последовательность порождения самостоятельных лексем типа *бѣл-* (разумеется, чисто условно в хронологическом аспекте): *бѣль — бѣлота* (XI в.), затем *бѣлина* (с XVI в.), почти одновременно *бѣлостъ* (1534 г.) и позже всего *бѣлизна* — разные степени отвлеченности признака, которые фиксируются в каждом новом образовании (тут же имели значение колебания в ударении и связанность форм в тексте: не все они имели полную парадигму форм). Возможны также грамматические вариации, ср. для трех разных значений слова *образъ* в литературном языке: *образы* — «виды», *образá* — «лики», *образыи* — «образцы, типы» и т. д. [14]. Общая устремленность системы заключается в выделении самостоятельных лексем для выражения определенных значений, как только они становятся социально важными, уже не в текстах-образцах, а в языковой системе.

Сегодня символизирующее мышление средневековья мы воспринимаем сквозь призму дошедших до нас языковых текстов, и потому аналитическое к ним отношение должно быть особенно критичным, тем более, что постоянно изменялось взаимное отношение слова и текста друг к другу. Многозначность слова или синонимический ряд в представлении современного лексиколога и по мнению средневекового книжника — совершенно разные, а во многом и противоположные понятия.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Филли Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. Л., 1949, с. 157—158.
2. Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975.
3. Ларин Б. А. Проект древнерусского словаря. М.—Л., 1936, с. 74—83.
4. Грамматическая лексикология русского языка. Казань, 1978.
5. Верецагин Е. М. У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества.— ВЯ, 1982, № 6.
6. Колесов В. В., Кара Н. В. *Честь, слава, хвала* в давньоруських текстах Київської доби.— Мовознавство, 1983, № 4.
7. Кара Н. В. Язык и стиль поучений Феодосия Печерского: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1983, с. 11—15.
8. Львов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966, с. 106. и сл.
9. Колесов В. В. Лексичні південнорусизми у книжній мові Давньої Русі.— Мовознавство, 1977, № 1, с. 41 и сл.
10. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979, с. 169 и сл.
11. Колесов В. В. К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского.— ТОДРЛ, 1981, т. XXXVI, с. 37 и сл.
12. Колесов В. В. История русского ударения. Л., 1972, с. 10.
13. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1. М., 1975, с. 132—139.
14. Колесов В. В. Лексическое варьирование в Изборнике 1073 г. и древнерусский литературный язык.— В кн.: Изборник Святослава 1073 г. М., 1977, с. 119—127.

ШУЛЬГА М. В.

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПАДЕЖНОЙ ОМОНИМИИ  
В РУССКОМ СКЛОНЕНИИ

Замещение в истории древнерусского языка флексии Р. ед. *-ob* флексией *-oi* в атрибутивных формах женского рода (у прилагательных, причастий, неличных местоимений) интерпретируется по-разному. Здесь предполагают редукцию конечного |*ě*| до нуля, т. е. фонетический процесс [1, с. 93; 2, с. 195, 234; 3; 4, с. 72]. Рассматривается явление и под морфонологическим углом зрения — как реализация тенденции к преобразованию двусложной флексии в односложную, что в исторической перспективе (вместе с более поздним замещением флексии Т. ед. *-oю* флексией *-oi*) унифицировало в отношении количества слогов флексии непрямых падежей или даже всех падежей парадигмы, как в северных говорах, где распространены стяженные флексии и в И., В. падежах (*нова, нову*) [5; 6, с. 235—236].

Попытки более или менее развернутой аргументации предпринимались только в пользу морфонологического объяснения. Однако хронология явления, его территориальное распространение ставят под сомнение эту гипотезу. Хронологически не подтверждается, и об этом уже писалось [6, с. 236], ссылка А. А. Шахматова [5] на более раннее распространение флексии *-oi* в форме Т. ед., якобы спровоцировавшей сокращение флексии родительного падежа. Но так же нет оснований утверждать, что стяженные формы типа *нова, нову*, которые, по мнению других сторонников этой концепции [6], дали толчок тенденции к слоговому «уравниванию» флексий женского местоименного склонения, предшествовали новообразованиям в Р. ед. Если следовать показаниям памятников, то во времени события развивались в обратном порядке. Наиболее ранним свидетельством стяжения, при этом в глагольной флексии, является, видимо, форма *сказываш* из московской грамоты 1433 г. [7], аналогичные примеры с прилагательными известны, кажется, только с XVI в. [8]. Поздний характер стяжения подтверждается данными лингвистической географии [9, с. 175]. В. Г. Орлова нижним его рубежом применительно к территории Великого княжества Московского называет конец XV в. Что же касается Новгородской земли, в одном из памятников которой случай с Р. ед. на *-oi* отмечен уже в XII в., то здесь стяжение — еще более поздний процесс, связываемый с перемещением сюда населения с центральных территорий после присоединения Новгорода к Московскому княжеству [9, с. 176].

Показательно также то, что не совпадает даже в пределах восточнославянской языковой территории лингвогеография стяженных флексий прилагательных и односложной флексии Р. ед. С одной стороны, при повсеместно употребительных и литературно «узаконенных» формах типа И. *нова, В. нову* украинский язык удержал в Р. ед. *нової* (|*нóвои*|, где |*и*| < |*ě*|), т. е. двусложную флексию. А с другой стороны, на великорусской языковой территории сохранение двусложной флексии Р. ед. (*молод | ыйе |, молод | ыйо |* и другие варианты [9, с. 276]) наблюдается именно в зоне функционирования стяженных форм, в говорах Вологодской группы. С этих позиций сомнительно наличие непосредственной связи между стяжением флексий и преобразованиями в Р. ед.

Подверженность всегда заударного гласного редукции в конечном открытом поствокальном слого данной формы должна, естественно, приниматься во внимание при анализе явлений, подобных рассматриваемому.



Однако к фонетике история формы Р. ед. несводима. Прежде всего очевидно, что не всякое заударное и даже постоянно заударное | ё | сократилось до нуля звука: ср. И. мн. типа *новыѣ* > *новые*. Далее, благоприятствующей редукции следует предполагать акающую систему вокализма. Но оппозиция оканье/аканье и оппозиция наличие/отсутствие рефлексов конечного | ё | во флексии Р. ед. не обнаруживают явных причинно-следственных связей. В диахронии, наоборот, вторая складывается раньше, чем первая, а современные их ареалы переплетаются. Распространение формы Р. ед. типа *новой* выходит далеко за пределы территории аканья. Эти формы установились и в польском, чешском, словацком языках. С другой же стороны, в акающих белорусских говорах довольно широко функционирует двусложная флексия.

Понимая сказанного, неудовлетворение вызывает отказ от попыток морфологического объяснения морфологического по своим следствиям явления. Рассмотренные морфонологический и фонетический подходы представляются преждевременными, пока не исчерпаны все аргументы для объяснения явления «изнутри».

В данной публикации излагаются результаты, полученные на этом пути. Их можно сформулировать в двух тезисах: 1) явление развилось в ходе межадежного взаимодействия, т. е. морфологического объединения форм Р. и Д.-М. ед. в женской парадигме; 2) его возникновение обусловлено отношениями в системе падежных противопоставлений имени существительного.

Флексия синкретически выражает значения рода, числа и падежа. В изменении формы Р. ед. из морфологических отношений затронуты прямо только падежные, а именно система падежных противопоставлений, поскольку на месте оппозиции формы Р. ед. форме Д.-М. ед. возникла омоформа Р.-Д.-М. ед.

Обращаясь к истокам явления, древнейшим его проявлениям в письменности, нельзя обойти примеры с формами прилагательного на *-ыѣ/-ѣѣ* (Р. ед.), *-ѣу/-ѣи* (Д.-М. ед.), по времени предшествовавшими восточнославянским формам на *-об/-ѣѣ* (Р. ед.), *-оу/-ѣи* (Д.-М. ед.), а затем в течение длительного времени сосуществовавшими с ними. А. И. Соболевский [1, с. 202—203], В. Я. Симонова [10, с. 299 и далее] приводят случаи, преимущественно из новгородской письменности, морфологическая сущность которых не вызывает сомнений — это форма Р. ед., образованная по типу Д.-М. ед.: *извести и-земли егунѣтѣти* — Парем 1271, 210об; *ис темници телеснѣти* — Прол 1356, 54об; *обрѣтѣся крѣстѣ... у святѣ Софѣе* — ЛН XIII—XIV, 4об; *боле крѣви не проляя крѣстьянѣстѣти* — там же, 43об; *из Грѣчьскѣи земли* — там же, 65 и некот. др., а также в ЛН ок. 1425, видимо, из-под руки псковского переписчика: *въ церкѣи святѣи Софѣи* — 114,10; *от святѣи Софѣѣ* — л. 332. Такие примеры изредка отмечаются и в других поздних летописных сводах — в Радзивилловском списке Суздальской летописи три раза *святѣи*, в Академическом списке: *у святѣи Софѣи* — л. 237; *город святѣи Богородици* — л. 246.

В этих новообразованиях реализована тенденция к объединению трех падежных форм, что подтверждается возможностью обратных замен, т. е. образованием Д.-М. ед. по типу Р. ед.: *къ Пробоинные улицы* — Гр новг. XVII (Акты Калачова, II, 392). Подборку таких примеров находим у Л. А. Булаховского [11]: *Велено, государь, мне, холопу твоему... быти на Московские дороге* (Отписка стройщика Хотельского яма Конст. Загоскина, 1585 г.); *и таможником у них имати с стѣа по денге новгородския* (Тамож. уставн. грам. царя Иоанна Вас., в списке, писанн. в 1571 г.); *а поверил вашей безъверные веры и вашему крестному целованю* (Вымышл. статейный список посольства Андр. Ищеина 1750 г.); *и о том государь был в великие кручины* (там же), наряду с такой же формой родительного падежа: *А з гостѣи и гостинѣи и суконные сотни... никаких им служеб... не служитъ* (там же) и др. Подобные замены отражает и русский фольклор: *ко матушкѣ родимыя своей; прибѣхалъ ко церкви соборныя; сидючи въ бѣсѣдѣ смиренныя; стоятъ на пристани корабельныя* [12, с. 237]; *Уезжал Сухмантий ко синю морю, Ко тоя ко тихия ко заводи. Как приехал ко первыя*

*тихия заводи...* (Сухман); *Да ложилась спати во ложне тепляя; На мягкой перине на пуховыя* (Смерть Чурила) [11]. Возможность объединения трех падежей по форме родительного подтверждается свидетельством Н. Н. Дурново в отношении русских говоров начала нашего века: «... в некоторых с.-в.-р. говорах (Арханг., Олон. губ.) сохранились формы род. ед. ж. р. прилагательных на *ыѣ, ѣѣ* (или *ые, ѣе*), употребляющиеся в этих говорах также и в значении дат.-местн. пад.: *ко сестрицы родимые, на кроваточки тесовые* и т. п., рядом с формами на *оѣ*» [13].

В истолковании приведенных материалов исследователи единодушны [1; 12; 13], в них признается возможность двусторонних замен падежных форм, а в сущности возможность объединения Р. и Д.-М. падежей в одной форме<sup>1</sup>. Расхождения мнений начинаются там, где речь заходит о развитии форм типа Р. ед. *новѣѣ, синѣѣ*, Д.-М. ед. *новоѣ, синѣѣ* (об их происхождении под влиянием местоимений наиболее детально см. у П. С. Кузнецова [14]). А между тем отступления от образцов в кругу новых форм недвусмысленно аналогичны описанному выше: здесь не только замещение формы Р. ед. формой Д.-М. ед. (*новоѣ* вместо *новѣѣ*), но и обратные замены (*новѣѣ* вместо *новоѣ*). Природа последних, впрочем, под сомнение не ставится. А. И. Соболевский [1, с. 203] приводит их как случаи с родительным падежом на месте Д.-М. В качестве самого древнего: *оже съгрѣнеть чюжее женѣ повѣи с головы* — Гр 1189—1199. Однако эта грамота сохранилась в списке при грамоте 1262—1263 г. Там же еще один подобный пример: *а женѣ или мужьское дчери 40 гривнѣ*. Наверное, можно отнести эти новообразования к XII в., если привлечь выразительные показания еще одной новгородской грамоты, берестяной, рубежа XII—XIII вв. (из последних раскопок): *въ първое коробѣ на ·ѣ·грѣнѣ въ другее коробее дробѣ* [...]*ю рѣзанѣ а большѣе по ·ѣ·рѣзанѣ* — ГрБ № 438 [15]. Позднее эти формы отражает также московская деловая письменность: *в иноѣ земли в городѣхъ, въ Юрьѣ(в)ское волости* — Гр 1353; *в твоѣѣ вотчинѣ* — Гр 1434 [16, № 3, 31]; а также Ипатьевская летопись ок. 1425 г.: *по милѣе своѣѣ дчери, угодна бысть рѣчь его всеѣ братьѣѣ и мужемъ ихъ, идяше на шюѣѣ сторонѣѣ*.

Так же, как А. И. Соболевский, квалифицирует аналогичный пример из старобелорусской письменности (*коу сил'ное смутливости* — Сб. XV в. Публ. б. № 391, 26) Е. Ф. Карский [2, с. 236], а М. Г. Булахов обнаруживает подобные ему в большом количестве в памятниках, написанных в разных местах бывшего Литовского княжества, начиная с XV в.: *въ Мельницкое волости, въ земли Волинское, у светлицы новое, тые чотыри земли... лежащие у волости нашеѣ Крычовское; в земли Полоцкое, на оной всей земли церковное, въ земли Жомойтское, при бытности королевское, пры остатное воли своѣѣ, в друкарнѣ острозское, въ академии Виленское, [в] обѣднѣ раннее и в большое, на конституции трибунальское, пры печати метрополитанское, пры печати консисторское, в небытности своѣѣ* [4, с. 106]. В языке художественной литературы предложный на *-ѣѣ* (*-ѣѣ*, *-ѣѣ* без ударения) употребляется по аналогии с родительным и у современных белорусских писателей: *у глухѣе далѣ* (Я. Купала), *на роднаѣ зямлѣ* (П. Броўка) и под. [4, с. 107; 17]. Это позволяет расценивать аналогичные средневековые материалы как отражение живого формоупотребления.

Обращаясь к истории западнославянских языков, переживших объединение падежных форм в женской адъективной парадигме, мы также встречаемся с возможностью обобщения как формы Д.-М. падежа, так

<sup>1</sup> Л. А. Булаховский, однако, высказывает по отношению к формам на *-ѣѣ* (*-ѣѣ*) недоверие, едва ли оправданное. По его мнению, это гиперизмы (мнимо правильные формы), за которыми и в Р. ед., и в Д.-М. ед. скрывалось чтение *-ѣѣ*, *-ѣѣ* [11]. Указанной омонимией озадачена также В. Я. Симонова [10, с. 299—300], она приписывает ей вторичный характер: в связи с фонетическим изменением *-ѣѣ* в *-ѣѣ* в разговорной речи Р. и Д.-М. ед. совпали в форме на *-ѣѣ*, а по аналогии в книжном языке (но не в живой разговорной речи) стало возможным употребление в значении родительного падежа формы дательного-местного. Такой вывод совершенно не согласуется с показаниями текстов, в частности Синодального списка Новгородской летописи, которая например, в записях XIII в. формы Р. ед. на *-ѣѣ* отражает «почти так же часто, как формы на *-ѣѣ*», а флексию *-ѣѣ* «только в виде исключения».

и формы Р. падежа. В частности, на смену различению падежей в старочешских местоимениях (Р. ед. *té*, Д.-М. ед. *těj*) пришла общая форма — в одних чешских говорах и в литературном языке продолжающий родительный падеж, в других (на востоке Моравии) — дательный-местный падеж. В таком направлении развились и формы прилагательных [18].

Польские средневековые памятники, начиная с наиболее ранних, документируют объединение Р. и Д.-М. ед. как по форме Д.-М., так и по форме Р. падежа во всех ее вариантах. В Р. ед. до первых десятилетий XVI в. встречается флексия *-ě* (< *ē*): *z ręki nieprzyjacielskie, od dusze rozumné* (XIV), *z ziemi egipskie* (XV), *ślugą wieczne mądrości* (XVI), которая развилась из флексии *-yjě/-ějě*. Ее обнаруживают также в функции Д.-М. падежей: *slużbie ludzkie, naświętsze matce, ku więtsze miłości, ku miłości bożę* (XIV—XVI); *w pamięci wiekuje, w robocie ludzkie, na puszczy idumiejskie, w ziemi egipskie, w teto ewanigelije dzisiejsze* (XIV и XV); *w niemieckie ziemi, na gorze oliwne* (XVI). На протяжении XIV—XVI вв. в Р. ед. утверждается, как и в старорусском, флексия Д.-М. ед.: *z ręki nieprzyjacielowej, ode wszelikiej złej drogi* (XIV, XV), закрепленная современной литературной нормой [19, с. 332—333]. Аналогичное смешение и объединение Р. и Д.-М. ед. обнаруживается в истории форм неличных местоимений (*ona, ta, ona, nasza, moja*) [19, с. 314—315].

Чешские и польские параллели при исследовании механизма восточнославянских процессов нам кажутся вполне правомерными, поскольку у всех этих языков одни и те же исходные позиции и однотипные конечные результаты. Утверждает в таком подходе также относительная синхронность изменений, которая свидетельствуется материалами письменности. Смысл же параллелей тот, что если в отдельных деталях названные факты и допускают неоднозначную интерпретацию, то в совокупности своей они совершенно недвусмысленно доказывают наличие межпадежного взаимодействия в истории рассматриваемых форм.

Наконец, и в связи с другими новообразованиями в системе местоименных и аъективных форм так или иначе приходится говорить об омоформе Р.-Д.-М. ед. А. И. Соболевский контаминированную флексию *-оей* (*-оби*) отмечает как в Р., так и в Д.-М. падежах [1, с. 214]. Эту омонимию по отношению к Р. и М. падежам убедительно документирует старобелорусская письменность XV—XVII вв. [4, с. 76—77, 105—106]. Р. ед.: *от таковой речи, зъ тоей сьножати, поны тоей церкви, кривды ему в томъ некоторой не чинилъ, жадной переказы, с одной стороны, ни одной, тоей другой штуки, зъ другой и под.; въ пущей Перстунской, во всей пуще Молявской и Перстунской, на горъ ветковой, при печати притисненной митрополитской;* и даже в Четье 1489 [2, с. 238]: *о темници некольноей*. И в Р., и в М. в языке старопольской письменности XV, XVI, иногда и XVII в. встречается флексия *-yj// -y, -ij// -i*: *od niebieski radości, z krainy Scytyjski — o któryj literze, w dzisiejszy koronie, w wieczny miłości* [19, с. 332—333].

Таким образом, налицо разнообразные факты, объяснимые только морфологическим взаимодействием падежных форм, самим своим существованием неоспоримо свидетельствующие о давней и устойчивой тенденции к объединению Р. и Д.-М. падежей.

С этих позиций естественным шагом было бы объяснение межпадежным взаимодействием и новообразований типа *нови* в Р. ед. Видимо, от такого решения вопроса удерживает неясность причин, обусловивших объединение форм Р. и Д.-М. ед. Она не смущает, пока речь идет о немногочисленных в памятниках заменах, если и имеющих выходы в современное формоупотребление, то лишь в диалектное. Широкое же распространение формы типа *нови*, знаменующее важные изменения в системе падежных противопоставлений прилагательных женского рода, подразумевает серьезные предпосылки.

Объединение атрибутивных женских форм Р. и Д.-М. ед., как нам представляется, было предопределено развитием одноименных субстантивных форм. Нам уже приходилось писать об однонаправленном, отсубстантивном характере связи между формами существительных и опреде-

ляющих их слов и о той зависимости, которую обнаруживают последние в системе падежных противопоставлений [20]. Падеж в атрибутивных формах как явление чисто согласовательное, лишенное собственного грамматического содержания, всегда соответствует падежу определяемого существительного. Изменения в системе падежных противопоставлений имен существительных в истории русского языка и славянских языков вообще всегда сопровождалась аналогичными изменениями в формах согласуемых в падеже слов. У определяющих система падежных противопоставлений может повторять структуру падежных противопоставлений определяемого, может быть свернутой<sup>2</sup> по отношению к ней; падежные же противопоставления, не свойственные существительным, у определяющих слов невозможны. Это обусловлено вторичным, отраженным, зависимым характером атрибутивных падежных форм по отношению к субстантивным.

Что касается существительных женского рода, то их формы в древнерусский период составляли два лексически открытых словоизменительных класса, различавшихся в единственном числе, помимо флексий, также системой падежных противопоставлений. В частности, в склонении на *-a* изначально были противопоставлены Р. и Д.-М. падежи (*страны, земля — странѣ, земли*), совпадавшие в склонении на *-ь*, по крайней мере, у слов с неподвижным ударением (Р.-Д.-М. ед. *кости*). В склонении же согласуемых слов, последовательно подчиненном родовому принципу, двум основным женским субстантивным парадигмам соответствует одна. В древнейший период она повторяла падежную структуру наиболее продуктивного женского словоизменительного типа — с противопоставлением родительного падежа (*новѣх или новобъ страны*) дательного-местного (*новѣх или новои странѣ*). По отношению к парадигме типа *кость* система адъективных падежных противопоставлений была избыточной. В наличии оппозиции, несвойственной целому классу определяемых, и состояли, на наш взгляд, предпосылки для свертывания системы падежных противопоставлений определяющих, ведь омонимия Р. и Д.-М. ед. в системе адъективных форм отвечала структуре обеих субстантивных парадигм, а их различие — только одной.

Толчок для реализации этих предпосылок давали различные преобразования в формах существительных женского рода, прямо или косвенно затрагивавшие противопоставление форм Р. и Д.-М. ед.

Прежде всего, конечно, это объединение данных падежей в образованиях типа *странѣ, земли* (или *страни, страны, земли*), достаточно подробно освещавшееся и обсуждавшееся в лингвистической литературе [22—23, там же литература вопроса]. Для древнего периода это явление локализованное, связанное с Новгородом и районами его колонизации. В текстах, наиболее непосредственно отражающих особенности живой речи — имеются в виду берестяные грамоты, — новообразования типа *странѣ* преобладают в Р. ед. уже с XI в. (см. текст грамоты № 528 [15], стратиграфически датируемой XI веком).

Если омонимию в формах определяющих мы связываем с омонимией у существительных, то следует ожидать первоначального и более активного распространения в тех же новгородских документах и адъективной омонимии Р.-Д.-М. ед. Это подтверждается показаниями древнерусских и старорусских памятников со всей очевидностью. Приводя древнейшие случаи с формой Д.-М. на *-ѣ* в функции родительного падежа, в основном из церковно-книжных памятников (см. выше), А. И. Соболевский счел необходимым специально подчеркнуть, что это показания новгородской письменности [1]. Почти на два века опережают новгородские деловые

<sup>2</sup> Справедливые, рассуждения об избыточности падежных атрибутивных показателей, которая создает условия для свертывания их падежных противопоставлений по отношению к падежным противопоставлениям существительных, излагал Л. П. Якубинский: «...особое выражение во флексии тех грамматических значений, которое они выражали, оказывалось не столь нужным в словах-определениях...; специальное выражение категории падежа являлось не столь необходимым в словах-определениях потому, что значение падежа давалось определяемым именем (существительным)» [21].

документы московскую письменность и в отношении Д.-М. на -*оѣ* по образцу родительного падежа (см. выше). К Новгороду относятся также новообразования Р. ед. на -*ои*. Их традиционно связывают с Русской Правдой 1280 г.: *из нѣкоторои* — Вопр. Кирика, *първои, одинои, бортьнои* [13, с. 295]. Однако ростовщическая запись на бересте показывает такую форму уже в XII веке: *възяла с ста оу неи·с· гривѣнъ* — № 449 [15]. Регулярны подобные образования и в договорных новгородских грамотах. Вот, к примеру, сплошные выписки из древнейших грамот, опубликованных А. А. Шахматовым [24]. Гр 1264—1265, № 1: *ни изъ инои волости новгородьскои, разве ратнои вѣсти*; Гр 1264—1265, № 2: *а и-соуждальскои ти земле Новагорода не рядити*; Гр 1270, № 3: *ни изъ инои волости новгородьскои, разве ратнои вѣсти, а село стои софии исправи къ стои софии*; Гр 1304—1305, № 9: *ни изынои волости новгородьскои, развѣ ратнои вѣсти, из новгородьскои волости* и т.д. — иные формы здесь не встретились. Такое употребление наблюдается на протяжении всего XIV века: *новгородьскои* — Гр № 6 (2), № 8 1304—1305 г., № 14 1326—1327 г., № 15 1371 г., № 17 1372 г.; *суждальскои, новоторьскои* — Гр № 17 1304—1305 г., *ратнои* — Гр № 6 1304—1305 г., № 14 1326—1327 г., № 15 1371 г.; *опаснои* — Гр № 46 1392 г. и некот. др. То же показывают берестяные грамоты: *с купнои грамоте* — ГрБ XIV, № 53 [25]; *нимечкои* ГрБ XIV/XV, № 248 [26]; *мои оучастокъ зашелоскои земль* — ГрБ XIV—XV, № 519 [15] и др. В церковно-книжной литературе древнейший случай А. И. Соболевский опять же связывает с новгородским письмом: *радости ваше никто же възметъ* — Ев до 1392 (*и опущено, ср. житискыми* — 67об) [1, с. 93]. С новгородскими в рассматриваемом отношении объединялись, видимо, тверские говоры. По крайней мере, в тверской грамоте 1307—1308 г.: *новгородьскои, ратнои* [24, № 10].

Как и в формах существительных, различием Р. и Д.-М. ед. у прилагательных четко противопоставлены новгородским документам смоленские и полоцкие. Флексии -*ои* в Р. ед. мы здесь не обнаруживаем. В различных по времени списках смоленской грамоты [27]: *что лѣжитъ оу стое бѣе на горе* — сп. А 1229 г.; *что лѣжитъ оу стое бѣи на горѣ* — сп. В 1297—1300 г.; *что лѣзитъ оу стое бѣе на горе* — сп. I половины XIV в. и т.д. В полоцких документах [28]: *прѣстое* — Гр № 10 1387 г.; *стое* Гр № 3 1309 г., № 28 XIV в.

Что касается московских документов, то несомненные случаи с -*ои* в Р. ед. здесь идут только от середины XV в. [29]: *в матери своєї удѣл, в удѣлѣ княгини моеи* и др., *Черняковои, Коряковои* — Гр ок. 1401—1402, сп. вт. пол. XV в. [16, № 17]. Более ранний пример, в котором можно было бы видеть ощущение буквы неслогового |и| в форме Р. ед., омонимичной Д.-М. ед., допускает и другое толкование: образование *свое* (*свое матери* — Гр 1389 [16, № 12]) П. Г. Стрелков объясняет влиянием формы *тоѣ* [30]. Двусложная флексия в московских грамотах значительно преобладает до самого конца XVI в. [29].

Выразительны различия между московскими грамотами и документами некоторых других территорий в интересующем нас отношении. Л. Г. Чапаева обнаружила, что в собрании духовных и договорных грамот [16] все документы с частым употреблением формы Р. ед. на -*ои/-ѣи* относятся к архиву северного Галицкого княжества. Неслучайность этого обстоятельства становится явной, когда сравниваются два противня (московский и галицкий) одного и того же документа: формам на -*оѣ/-ѣѣ* в московских экземплярах соответствуют формы на -*ои/-ѣи* в галицких (см. грамоты № 35, 38 и др.) [29, с. 73]. Б. Унбегаун называет как обычную двусложную флексию в московских документах первой половины XVI в., приводя лишь единичные исключения. В противоположность этому новгородские и рязанские грамоты отражают в основном -*ои/-ѣи* [31]. От московских судебныхников 1497 и 1550 гг. отличается широким употреблением форм на -*ои/-ѣи*, по свидетельству В. М. Маркова [32], судебник 1589 г. краткой редакции — северный по исполнению.

Не противоречит показаниям церковно-книжного и делового жанров также летописание. Новгородская летопись отражает флексию Р. ед. *-ои* уже в записях XIII в.: *той ноци* — л. 1; *въ понедѣльникъ верьбной недѣли* — л. 69, а в записях XIV в. *-ои* встречается чаще, чем *-об*: *на сборъ чистои недѣли* — л. 124об; *до Нутной улицы* — л. 132об; *честнаго креста сила и святой Софии* — л. 139; *от Прусьской улицы* — л. 154об. В Лаврентьевской же летописи 1377 г. последовательно проведена двусложная флексия. Комиссионный и Академический (XV в.) списки Новгородской летописи и Радзивилловский (XIV—XV в.) список Суздальской летописи различаются соотношением форм с двусложной и односложной флексией: в последнем, в отличие от других, примеры с Р. ед. на *-ои* единичны. И даже в Уваровском XVI века списке Московского летописного свода они очень редки. Ипатьевская летопись ок. 1425 г. ориентирована, видимо, благодаря псковскому переписчику, на северо-западные языковые особенности — в светских записях чаще *-ои*, чем *-об* [10].

Противопоставление северо-западных и северо-восточных документов по форме родительного падежа выступает вполне очевидно, а поскольку оно пронизывает все жанры письменности, то не приходится объяснять это ориентацией орфографической нормы на традицию [10] или степенью ее свободы от традиции [31]. Здесь отражены живые диалектные различия в системе падежных противопоставлений определяющих слов, и можно только недоумевать, что до сих пор этот факт не получил должной оценки с позиций исторической диалектологии.

Отмеченные различия закономерно вытекают из местных особенностей в системе падежных противопоставлений определяемых. По крайней мере до середины XIV в. едва ли не в каждом из более или менее обширных документов, отразивших омонимии в адъективных формах, можно найти прямые параллели в формах существительных — примеры омонимии субстантивных форм. Причинно-следственные связи здесь, можно сказать, на поверхности.

Что же касается позднейшего территориально более широкого распространения адъективной омоформы Р.-Д.-М., то было бы, видимо, упрощением сослаться на междиалектное взаимодействие, хотя нельзя упускать из виду и его участие в этом процессе. При тех предпосылках для объединения атрибутивных форм, о которых уже говорилось, важную роль в его истории могла сыграть омонимия в формах существительных мягкой разновидности типа *земли*, возникающая в результате обобщения флексии твердой разновидности в формах с морфологической корреспонденцией *ы—ѣ*. Когда на смену Р. ед. *земль* (так же, как и И.-В. мн. типа *земль*, В. мн. типа *контъ*) пришла форма на *-и*, Р. падеж и Д.-М. ед. у существительных с мягким согласным в исходе основы совпали. Такое состояние отражают, например, ранние московские духовные и договорные грамоты — духовная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты ок. 1339 г. в обоих ее вариантах, докончание великого князя Семена Ивановича с князьями Иваном Ивановичем и Андреем Ивановичем ок. 1350 — 1351 гг. [16]. Эта омонимия сложилась в говорах великорусского центра до XIV в., она разрушилась только в связи с устранением морфологической корреспонденции *ѣ — и*, с замещением Д.-М. ед. на *-и* (*земли*) формой на *-ѣ* (*земль*), которое осуществлялось постепенно, с сосуществованием форм на *-и* и на *-ѣ* на протяжении нескольких веков.

Видимо, не случайно, что староукраинские говоры, у которых отношения в формах твердой и мягкой разновидностей склонения складывались по-другому (омоформа Р.-Д.-М. ед. *землі* — явление сравнительно новое и особого происхождения), сохранили двусложную адъективную флексию Р. ед. И наоборот, старопольский язык, в котором субстантивная омонимия затронула в основном лишь мягкую разновидность склонения, последовательно осуществил объединение адъективных форм.

Однако старопольские языковые источники дают разносторонний материал для размышлений и сопоставлений в интересующем нас направлении, и на этом стоит остановиться подробнее. Замещение флексии *-ѣ* флексией *-и* в форме Р. ед. типа *ziemi* в истории польского языка (в отли-

чие от русского) не может быть объяснено влиянием твердой разновидности, так как в других формах с морфологической корреспонденцией *y—ě* обобщения флексии твердой разновидности не произошло: И.-В. мн. *wody — ziemię, wozy — konie*. О тенденции к омонимии можно судить по ее различным проявлениям, которые связывают Р. ед. с формой Д.-М. ед., с одной стороны, и с омоформой Р.-Д.-М. ед. женской парадигмы на согласный — с другой, и обе эти парадигмы — со складывающейся омоформой в системе склонения прилагательных. В этот ряд мы ставим такие факты [19], как: 1) постепенное на протяжении XIV—XVII вв. замещение флексии *-e* <\*-ě флексией *-i* в Р. ед. после мягких согласных: *prawicy, nędzy, nadziei, obłubienicy, pieczy, bogini, łóżnicy, stajni*; 2) уподобление женского склонения на согласный склонению на *-a* в форме Р. ед. на *-e*, случаи типа: *gęśle, czeladzie, słodczye*; 3) распространение новообразований на *-ej* из адъективной парадигмы как в склонении на *-a* (Р. ед. *wolej, rolej, strożej, duszej* и т. д.; Д. ед. *braciej, pracej, wolej, gospodyniej* и т. д.; М. ед. *ziemiej, wolej, gospodynjej, pracěj, rolěj* и т. д.), так и в женском склонении на согласный (Р. ед. *przyjaźniej, kradzieżej*; М. ед. *o niewdzięczności, w otchłanjej*).

На их примере особо наглядны и типологически показательны взаимное уподобление двух женских парадигм (типа *ziemia* и типа *przyjaźń*) и словоизменительная связь их обеих с атрибутивными формами. При обращении к русскому диалектному материалу тут возникают определенные параллели.

В истории русского языка вологодские говоры примечательны устойчивым сохранением различий между Р. и Д. -М. ед. в склонении на *-a*. Если взглянуть глубже, то это диалектная территория, где унификация системы падежных противопоставлений у слов женского рода ориентирована на парадигму типа *страна* (а не на парадигму типа *кость*), так как именно здесь эпицентр форм типа *к, по грязé*, т. е. уподобления последних формам типа *земле* [9, с. 274]. Одновременно, и в свете всего сказанного это выглядит закономерным, вологодские говоры — эпицентр распространения двусложной адъективной флексии Р. ед. при односложной флексии Д.-М. ед., т. е. сохранения различий между Р. и Д.-М. ед. в женской атрибутивной парадигме [33]. Здесь очевидна причинно-следственная связь между системой падежных противопоставлений существительных и определяющих слов.

Она «работает» и в противоположном направлении — при ориентации говоров на систему падежных противопоставлений парадигмы типа *кость*. Для существительных при этом характерны омоформы Р.-Д.-М. ед. типа *жене* или *жены* и унификация ударения в Д. и М. падежах по форме *грязи́*, реже *грязé* (ареалы последних «находятся в основном в пределах территорий, характеризующихся совпадением форм род.-дат.-предл. п. существительных продуктивного типа склонения с основой на *a...*» [9, с. 76]), а для прилагательных омоформы типа *доброй*. Но наиболее показательны в рассматриваемом отношении современные диалектные данные относительно местоименной формы Р. ед. |йей| (|н'ей|), т. е. омоформы Р.-Д.-М. Она «имеет широкое распространение по говорам русского языка, при этом с явным разрежением на северо-восточной части говоров русского языка (читай: там, где Р. и Д.-М. различаются у существительных. — Ш. М.)... В пределах южного наречия, а также на северо-западе территории выделяются значительные территории исключительно употребления данной формы... Характерно, что в пределах этих же территорий наблюдается совпадение форм род.-дат.-предл. п. ед. ч. существительных женского рода с твердой основой в одной форме типа *к жене, у жене, о жене* или *к жены, о жены, у жены*». И далее: «В настоящее время форма род. п. |йей| известна подавляющему большинству говоров, имеющих совпадение форм род.-дат.-предл. п. существительных женского рода, редко ее отмечают на территории говоров, различающих эти формы» [9, с. 85—86].

В связи с историей формы Р. ед. *её* мы возвращаемся к вопросу о предопределенности падежных противопоставлений синтаксической ролью местоимений и прилагательных. «Водораздел», который прошел между

местоимениями, имевшими в древности одну и ту же парадигму, но в предложении выполнявшими разную функцию, закономерен. Местоимение *она*, замещающее существительное, в литературном языке и отчасти в говорах сохранило, как и существительные, особую форму Р. ед.: *к ней, о ней, но у неё*; местоимения, замещающие прилагательные, т. е. синтаксически зависимые от существительного, выступающие в атрибутивной функции, выработали омоформу Р.-Д.-М. падежа: *к моей сестре, о моей сестре и у моей сестры*.

Из сказанного вытекают некоторые выводы методологического характера. Исследование форм, имеющих вторичный, отраженный характер, не может вестись независимо от форм, значения которых они повторяют. В частности, интерпретации относительно системы падежных противопоставлений согласуемых слов невозможны без опоры на формы существительных. С другой стороны, в силу своей зависимости согласуемые слова в динамике их форм могут быть использованы для интерпретации словоизменительных процессов существительного. Так, они выявляют, что рассмотренные омоформы существительных — это не внешнее явление, обусловленное только определенным стечением обстоятельств (например, совпадением падежных форм в ходе взаимодействия разновидностей), а органический элемент структуры падежных противопоставлений, ее действенный механизм.

Возможно, не будет чрезмерной смелостью предположить, что динамика атрибутивных форм может прогнозировать направление развития форм субстантивных. Основания для размышлений в этом направлении дает следующая зависимость, прослеживаемая на именном словоизменении: то, что в преобразованиях существительных (осложненных разного рода ограничениями — лексико-семантическими, словообразовательными, морфонологическими и под.) лишь намечено как тенденция развития или проведено непоследовательно, у согласующихся с существительным форм обретает регулярный характер. Это касается структуры всех общих для имени категориальных противопоставлений — родовых, числовых и падежных. Примеры тому: перестройка словоизменительных парадигм по родовому принципу; замещение форм двойственного числа формами множественного в связи с утратой значения двойственности; вычленение числового показателя [см. 34; 6, с. 233—234; 20] в парадигме множественного числа, объединение И. и В. падежей множественного числа в системе форм мужского рода по форме В. мн. К этому перечню можно теперь прибавить также объединение Р. и Д.-М. ед. в женском склонении в процессе унификации женских парадигм в их противопоставлении «неженскому» склонению.

Возможно, что в этот ряд станет и замещение флексии Т. ед. -ой флексией -ой, проведенное в атрибутивных формах более последовательно, чем в субстантивных: литературный язык допускает варианты вроде *странною* и *страной*, но в определении только *нашей*; некоторые юго-западные великорусские говоры при формах субстантивного склонения на -ою/-ею (*странною, землю*) в адъективном склонении допускают -ою/-ею и -ой/-ей (*новою, нашею и новой, нашей*). Этот вопрос, однако, еще должен исследоваться. Для обсуждаемой темы нелишним будет подчеркнуть, что распространение адъективной флексии Р. ед. -ой/-ей и распространение омонимичной ей флексии Т. ед. с предложенных здесь позиций должны рассматриваться как явления, независимые друг от друга. Такой подход находит опору также в хронологических и территориальных несоответствиях в их развитии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. СПб., 1907.
2. *Карский Е. Ф.* Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2—3. М., 1956.
3. *Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953, с. 166.
4. *Булахов М. Г.* Прыметнік у беларускай мове. Мінск, 1964.
5. *Шахматов А. А.* Историческая морфология русского языка. М., 1957, с. 340—341.
6. *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981.



7. Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1965, с. 156.
8. Магура Е. С. Морфологические особенности языка Устюжского летописного свода: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Харьков, 1954.
9. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. М., 1970.
10. Симонова В. Я. Членное склонение имен прилагательных в древнерусских летописных списках XIII—XVI веков.— Уч. зап. Ворошиловского пед. ин-та, 1957, сер. ист.-филол. наук, вып. 1.
11. Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. Т. II. Киев, 1953, с. 174.
12. Буславев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959, с. 237.
13. Дурново Н. Н. Очерк по истории русского языка. М.—Л., 1924, с. 296.
14. Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959. с. 152—154.
15. Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1962—1976 годов. М., 1978.
16. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.—Л., 1950.
17. Граматыка беларускай мовы. Т. 1. Марфалогія. Мінск, 1964, с. 183.
18. Селищев Л. М. Славянское языкознание. Т. 1. Западнорусские языки. М., 1941, с. 143—144.
19. Klemensiewicz Z., Lehr-Splawiński T., Urbańczyk S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1964.
20. Шульга М. В. О причинах устранения родовых различий во множественном числе у родоизменяемых слов.— ВЯ, 1984, № 3.
21. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953, с. 187.
22. Добромислова А. Н. К интерпретации одного явления падежного синкретизма в древнем новгородском говоре.— ВЯ, 1961, № 6.
23. Хабургаев Г. А. К вопросу об интерпретации падежного синкретизма в русских говорах.— ВЯ, 1963, № 3.
24. Шахматов А. А. Исследование о языке Новгородских грамот XIII—XIV в.— Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885—1895.
25. Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. М., 1955, с. 125.
26. Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963.
27. Смоленские грамоты XIII—XIV веков. Под ред. Аванесова Р. И. М., 1963.
28. Полоцкие грамоты XIII—нач. XVI вв. Вып. 1. М., 1977.
29. Чапаева Л. Г. История форм неличных местоимений в говорах великорусского центра (XIV—XVI вв.): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1984.
30. Стрелков П. Г. О языке семи древнейших заветаний московских великих князей XIV в. Пермь, 1927, с. 17.
31. Unbegaun B. La langue russe au XVI<sup>e</sup> siècle (1500—1550). Paris, 1935, p. 324, 375.
32. Марков В. М. Формы имен в языке судебников XV—XVI веков.— Уч. зап. Казанского у-та, 1956, т. 116, кн. 11, с. 92—93.
33. Диалектологический атлас русского языка. Вып. II. Морфология. Карты № 42 (прилагательные) (автор Пшеничникова Н. Н.) и № 74 (местоимения) (автор Сологуб А. И.). Минск (в печати).
34. Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974, с. 97 и сл.

НГУЕН КУАНГ ХОНГ

## РИФМЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ И ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОГА

В настоящее время имеется ряд лингвистических работ, в которых рассматриваются проблемы фонологии в тесной связи с изучением звуковой организации поэтической речи (см., например [1, 2]). Кажется, однако, мало кто из исследователей уделял внимание поэтической рифмовке при фонологической интерпретации звуковых и слоговых явлений. Между тем фонологический взгляд на поэтические рифмы все же имеет свою историю.

В русском, и вообще европейском, языкознании известны случаи, когда лингвисты обращались к фактам рифмовки в поэтической речи при решении некоторых вопросов фонологической интерпретации. Для иллюстрации можно было бы вспомнить таких выдающихся лингвистов начала нашего века, как И. А. Бодуэн де Куртенэ и Л. В. Щерба. Так, в своих «Лингвистических заметках...», касаясь вопроса о фонологическом тождестве русских гласных *ы* и *и*, Бодуэн писал: «... хотя русские гласные *ы* и *и* произносятся различно, но психически они ближе друг другу, нежели остальным гласным... Весьма важно в этом отношении то обстоятельство, что ударяемые гласные *ы* и *и* образуют совершенную рифму (*пыли* — *ходили*, *мыло* — *носила*, *пытка* — *нитка*...); из других же гласных нельзя составлять таких рифмических пар» [3, с. 36—37]<sup>1</sup>. Разрабатывая понятие «диффузности» звуков в смысле их «нечленораздельности» в языковой системе, Л. В. Щерба обнаружил «некоторую диффузность китайских слогозвучков» и к этому же сделал примечание: «Говорю „некоторую“, так как наличие понятия рифм в китайском языке свидетельствует все же о каком-то двучленном делении китайских „словозвучков“» [4, с. 149]. Как видим, для Бодуэна факты поэтических рифм служили важным аргументом при фонологической идентификации звуков речи (в русском языке); для Щербы они имели известное значение при фонологической сегментации слога (в китайском языке).

Однако, несмотря на приведенные цитаты, можно сказать, что в целом в исследованиях по фонологии у лингвистов европейской традиции данные поэтической рифмовки не играют той важной роли, какую они выполняют при изучении звуковой системы языков изолирующего типа.

Так, можно утверждать, что в китайской классической фонологии в основе представлений о звуковых единицах китайского языка лежало учение о рифме в поэтической речи *иньюньсюэ* (букв. «звук-рифма-учение»), охватывавшее то, что в наше время изучается фонологией в языкознании и фоникой в поэтике<sup>2</sup>. Основные достижения учения *иньюньсюэ* были отражены в различных «книгах рифм» (*юньшу*) и «таблицах рифм» (*юньту*), практическое назначение которых — кодифицировать чтение иероглифов и служить справочником допустимых рифм.

Материал поэтических рифм был использован китайскими филологами прежде всего при установлении состава финалей тонированных слогов. Это произошло намного раньше того, как был оперделен состав слоговых

<sup>1</sup> Впрочем, — подчеркивает при этом Бодуэн, — это неразличение психической или ... исполнительской стороны по отношению к звукам языка не есть вовсе личное упущение нашего автора. Точно так же поступают почти все и, может быть, даже все остальные фонетисты» [3, с. 37].

<sup>2</sup> Заметим, что проф. Ван Ли в ряде своих работ, посвященных звуковой системе китайского языка, продолжает употреблять термин *иньюньсюэ* в смысле «фонология» в отличие от термина *юйиньсюэ* в смысле «фонетика». См., например [5, с. 1].

инициалей с помощью приемов *фаньце* («разрезания» слогов) [см. 5, с. 74]. С начала III в. *фаньце* получило широкое применение в комментариях и словарях, являясь хорошим методом для разработки состава инициалей, а вместе с материалом поэтических рифм и для изучения системы финалей. Несомненно, что факты поэтических рифм всегда представляли важнейшие данные, по которым китайские филологи могли судить о системах слоговых финалей в своем языке разных периодов. Известно, что изучение системы слоговых финалей древнекитайского языка в целом базируется на рифмах в «Книге песен» («Шицзин»), а система слоговых финалей к тайского языка XIV в. была разработана Чжоу Дэцином на основе рифм в пьесах по реальному звучанию слов в столице того же времени [см. 5, с. 6, 143—174; 6, с. 234].

Чтобы прояснить причины неодинакового использования в лингвистическом плане данных поэтической рифмы русского и китайского стиха, остановимся, хотя бы кратко, на их основных особенностях. Начнем с уяснения отдельных понятий и терминов, которыми мы будем пользоваться в дальнейших рассуждениях. Рифмовка — это использование некоторых созвучных языковых элементов при образовании рифм всякой поэтической речи. Созвучные языковые элементы рифмованных стихов, образующие рифму (или иначе — рифмопарадигму), принято называть рифмокомпонентами<sup>3</sup>. В каждую рифму входят как минимум два рифмокомпонента, которые более или менее созвучны между собой. В этой связи различаются так называемые «точные» (иначе — узкие) рифмы и «неточные» (иначе — широкие) рифмы. Среди узких рифм могут быть обнаружены известные «рифмические пары», т. е. рифмокомпоненты, которые представляют собой не что иное, как квазиомонимы (или «минимальные пары» фонологов). Нам важно также определить, в каких языковых единицах измерять длину рифмокомпонентов: с одной стороны, мы имеем слово как основную двустороннюю единицу языка (т. е. единицу, обладающую звучанием и значением при синтаксической самостоятельности); с другой стороны — слог как минимальную единицу произнесения, которая в то же время является основной единицей организации ритмической, тем более — поэтической речи.

Измеряя по словам, мы обнаружим, что русскими рифмокомпонентами могут быть отдельные слова (такие, как в рифме начала пушкинского «Евгения Онегина»: *правил — заставил*), но также разные словокомплексы, которые выходят далеко за рамки одного самостоятельного слова (такие, как в рифме самого пушкинского «Евгения Онегина»: *занемог — немог*)<sup>4</sup>. Случаи последнего типа образуют в русской поэзии, как известно, «составные рифмы», весьма характерные для многих поэтов. Например: *выломать — выла мать, молю так — малюток* (В. Хлебников), *стихия — стихия* (Д. Минаев), *лет до ста расти — нам без старости* (В. Маяковский), *песен — весь он, взор твой — мертвой, знаем — луна им* (Л. Мартынов) и т. д. При измерении в слогах рифмокомпоненты в русских стихах представляются еще более разнообразными. Они могут быть в размере одного слога — таковы, например: *сон — он* (А. Пушкин), *слух — дух, квартир — мир, спать — печать* (Н. Некрасов); многосложными, а именно — двусложными, как например: *бродит — находит — переводит — подходит* (А. Пушкин), *сами — слезами* (Н. Некрасов); трехсложными: *глубокая — одинокая, терпеливая — молчаливая* (И. Никитин), *кается — задыхается, солидных — благодидных* (Н. Некрасов); четырехсложными: *в воскресенье — богослуженье* (А. Пушкин), *выкидывал — вздрагивал — вытягивал* (Н. Некрасов), *в реке волна — на небе луна* (В. Жуковский); и даже, видимо, пятисложными, как, например: *откровенно вести — самозабвенно грести* (Л. Мартынов) и т. д. Небезынтересно, что в ряде случаев имеют место неравносложные

<sup>3</sup> Согласно определению Б. П. Гончарова, «процесс образования рифмы включает в себя два момента: 1) взаимодействие рифмокомпонентов (рифмовка); 2) повтор звуковых элементов при взаимодействии (рифма)» [7, с. 141].

<sup>4</sup> Приводимые здесь и ниже русские рифмы взяты из книг Б. П. Гончарова [7] и Д. С. Самойлова [8].

рифмокомпоненты, входящие в одну рифму. Таковы, например: *гольче еще — полчища, властелина ее — невинную* (В. Хлебников), *маленькому — маленьку, дорожки — хорошую, личико — невеличка* (в частушке) и т. п. и т. д.

В русской поэзии редко встречаются «минимальные пары» рифмокомпонентов. Действительно, таких рифмических пар, как *шум — дум* (А. Фет), *доля — поля — воля* (М. Лермонтов), *меришь — веришь, годы — коды* (Л. Мартынов), *бес — пес* (в лубках) и т. п. совсем немного по сравнению с «неминимальными» рифмами. А это значит, что русские рифмы далеко не всегда могут служить материалом для фонологического анализа.

В китайской же поэзии мы повсюду обнаруживаем рифмопарадигмы (*юньбу*), в которые входят рифмокомпоненты (*юньцзы*) именно как квазиомонимы. Приведем для иллюстрации некоторые рифмы из китайской классической поэзии. Так, в стихотворении Ду Фу «Синьянь ли» («Чиновник из Синьяня») 14 рифмокомпонентов, образующих одну рифму <sup>5</sup>:

<i>bīng</i>	*[pʲiɛŋ]	«солдат»
<i>dīng</i>	*[tʲiɛŋ]	«совершеннолетний»
<i>xíng</i>	*[ɣɛŋ]	«ход; ряд»
<i>chéng</i>	*[ziɛŋ]	«стена, крепость»
<i>píng</i>	*[pʲiɛŋ]	«одинокий»
<i>shéng</i>	*[ʃiɛŋ]	«звучание»
<i>héng</i>	*[ɣwɛŋ]	«горизонтальный»
<i>qíng</i>	*[dzʲiɛŋ]	«чувство»
<i>píng</i>	*[bʲiɛŋ]	«мирный»
<i>yíng</i>	*[iɛŋ]	«стоянка, лагерь»
<i>jíng</i>	*[kiɛŋ]	«столица»
<i>qīng</i>	*[kʲiɛŋ]	«легкий»
<i>míng</i>	*[miɛŋ]	«ясный, светлый»
<i>zīng</i>	*[xiɛŋ]	«старший брат»

В стихотворении, озаглавленном «Дэн Цзиньлинь Фэнхуан тай» («Восхождение на башню Фэнхуан в Цзиньлине»), поэт Ли Бо составил рифму из 5 рифмокомпонентов:

<i>yóu</i>	*[iəu]	«летать, кружиться»
<i>líu</i>	*[liəu]	«течь»
<i>qíu</i>	*[kʲiəu]	«могила»
<i>zhōu</i>	*[tʃiəu]	«округ»
<i>chóu</i>	*[dzʲiəu]	«печаль, тоска»

Легко заметить, что приведенные рифмы составляют ряды квазиомонимов по современному либо средневековому китайскому произношению. Следует особо подчеркнуть, что длина любых рифмокомпонентов в китайской поэзии нигде и никогда не выходит за рамки одного-tonированного слога. Каждый рифмокомпонент является целым слогом. Иначе говоря, китайские рифмы всегда только о д н о с л о ж н ы е.

С другой стороны, как известно, в китайском языке слоговые границы морфологически значимы. В силу этого общего правила каждый-tonированный слог почти всегда приобретает статус самостоятельного слова (или морфемы). При таком условии оказывается естественным, что отдельный и целый-tonированный слог — это оптимальный размер языкового отрезка, входящего в рифму китайской поэтической речи. Все это, как очевидно, тесно связано с типологическими свойствами китайского языка как одного из тональных языков изолирующего типа.

Итак, в китайской поэтической речи рифмокомпоненты обладают постоянным размером однослога и все они равноправны как в плане звучания, так и в плане значения, что дает возможность появления в китайских стихах большого количества квазиомонимов, выступающих в качестве рифмокомпонентов одной и той же рифмопарадигмы. Становится понятным поэтому, почему китайские филологи прошлого, исследуя поэтические рифмы, одновременно занимались и фонологическим анализом-tonированных слогов — поэзия предоставляла им для подобного анализа весьма богатый языковой материал. Здесь фактически использовался метод противопо-

<sup>5</sup> Примеры с реконструкцией средневекового чтения (в скобках) приводятся по Ло Чанпею [9, с. 122—123, 131].

ставления квазиомонимов, благодаря чему выделялись, с одной стороны, такие звуковые сущности, которые являются различными, частично чередуются и меняются, а с другой стороны, такие, которые сходны между собой и повторяются при рифмовке. Обобщив рассматриваемые звуковые величины в терминах *шэн, юнь, дяо, ху, дэн, чжуань* и др.<sup>6</sup>, ученые дали подробное описание и классификацию всех тонированных слогов в языке. Следует, однако, иметь в виду, что выделяемые звуковые элементы не всегда обладают статусом «отдельных звуков» (или «звукофонем»), а вполне могут быть принадлежностью целого или почти целого слога (это, видимо, *дяо, ху* и др.), поскольку задача точной фонологической сегментации слога при этом не ставилась. Подобный вопрос не существует для китайской классической фонологии, которая «совершенно не знает разделения речи на звуки, прибегая вместо этого к различным классификациям слогов (а также инициалей и финалей)» [6, с. 227]. Во всех случаях можно говорить о двучленности китайского слога (инициаль *шэн* и финаль *юнь*), хотя об этом свидетельствуют не столько поэтические рифмы, сколько факты полуповторных слов, факты языковой игры по способу «разрезания» слогов и др.

И все же данные поэтической рифмовки оказываются существенными для фонологической идентификации в китайском языке в отличие, например, от русского, где звуковое различие в рифме проявляется чаще всего не по отдельному звуку, из-за чего мы не в состоянии решить, к какой именно звукофонеме следует относить выделяемое звуковое различие [см. 10, с. 69—70]. Но и в случае минимальных расхождений (ср. приводившийся выше пример Бодуэна) показания рифмы могут играть лишь вспомогательную, а не решающую роль в идентификации двух гласных *ы* и *и* в качестве одной фонемы, поскольку близость в поэтической рифмовке — это еще далеко не тождество в фонологическом отношении, когда звуковое различие рассматривается в тесной связи со смысловой дифференциацией данных слов. В китайской поэзии, как было показано, все рифмические пары представляют собой односложные слова, и они в целом отвечают требованиям фонологического анализа.

В современной литературе по фонологии тональных языков Востока все чаще говорится о «минимальных парах», в то же время исследователи пока обращают недостаточное внимание на факты поэтических рифм и их значение для фонологического анализа. Следует подчеркнуть, что многочисленные рифмические пары как своего рода квазиомонимы выявляются в поэтическом творчестве поэтов — носителей языка, т. е. в самой речевой деятельности, а не в словаре. Более того, возможность использовать поэтические рифмы для фонологического анализа тонированных слогов не ограничена рамками собственно «минимальных пар» рифмокомпонентов, а может быть расширена, как это мы попытаемся продемонстрировать на материале рифм вьетнамской поэзии.

Во вьетнамской поэзии тонированные слоги, входящие в какую-либо рифмопарадигму, подчиняются одной общей закономерности, по<sup>7</sup> которой рифмовка достигает своей «красоты». Эта закономерность заключается в том, что все звуковые элементы в рифмованном слоге должны находиться во взаимодействии таким образом, чтобы рифмокомпоненты не были слишком различны или же слишком сходны между собой. Именно из этого взаимодействия звуковых различий и сходств вытекает эстетически приемлемая созвучность рифмокомпонентов в рамках одной рифмы<sup>7</sup>. Материал рифм вьетнамской поэзии, как в творчестве известных поэтов, так и в на-

<sup>6</sup> См. истолкование данных терминов в работах Ван Ли [5], Яхонтова [6], Ло Чапая [9].

<sup>7</sup> Созвучность рифмокомпонентов будет нарушена не только при значительном различии, но и при максимальном тождестве в звуковом плане. В последнем случае (т. е. при вынужденном употреблении омонимов в рифме) поэту приходится учитывать и семантические различия. Ср., например, *bé teo teo* «маленький» — *vàng teo* «тишина» (Нгуен Кхуен). См. и ср. высказывание Г. М. Гопкина о том, что «красота рифмы заключена в двух элементах — сходстве или тождестве звучания и несходстве или различии значения» (цит. по [11, с. 217]).

родной поэзии, показывает, что разные звуковые элементы могут играть различную роль в этом взаимодействии.

Начальная часть слога во всех рифмах является той частью, которая чаще всего поддается изменению, чередованию. В любой рифме мы подчас встречаем самые различные инициалы рифмованных слогов. См., например, рифмы в поэме «Кьеу» поэта Нгуен Зу<sup>8</sup>: *ta* «свой» — *lâ* «точно так» (где инициалы [t-] и [l-]), *nhaui* «друг друга» — *dâui* «тутовое дерево» — *đau* «больно» (где инициалы [ɲ-], [z-], [d-]). Таким образом, роль инициала слога в рифмовке состоит исключительно в том, чтобы создать в рифме необходимое звуковое различие при полном или неполном тождестве остальных элементов слога.

Роль финали, т. е. второй части слога, включающей в себя слогиобразующий и слогоконечный элементы, совсем иная. Финаль как бы стремится сохранять в рифме известное звуковое сходство: она может повторяться целиком (ср. -a [-a] в *ta* и в *lâ*, -au [-ău] в *nhaui* и в *đau*, где имеют место «узкие рифмы») или же с незначительным изменением (ср. -âu [-ău] в *dâui* и -au [-ău] в *nhaui/đau*, где имеет место «широкая рифма»). В широких рифмах чаще всего при абсолютном тождестве слогоконечных элементов допускается известное различие в слогиобразующих элементах по признакам подъема языка (по степени диффузности — компактности). Ср., например, рифмы у Нгуен Зу:

<i>dâui</i>	[zău]	«тутовое дерево»		
<i>nhaui</i>	[nău]	«друг друга»		
		<i>hây</i>	[há]	«известно»
		<i>mây</i>	[măi]	«облако»
<i>mành</i>	[mɛɲ]	«занавеска»		
<i>chênh</i>	[cɛɲ]	«наклонно»		
		<i>lòng</i>	[lɔŋ°]	«сердце»
		<i>hồng</i>	[hɔŋ°]	«красный»

Если же в широкой рифме случается некоторое изменение в слогоконечных элементах, что бывает редко, то обычно приходится сохранять максимальное сходство в слогиобразующих. Таковы, например, рифмы в пословицах и в народной поэзии:

<i>chiêm</i>	[ciɛm]	«летний рис»		
<i>duyên</i>	[zɥiɛn]	«счастье»		
		<i>đẹp</i>	[dɛp]	«красивый»
		<i>kém</i>	[kɛm]	«мало»
<i>trước</i>	[tɥɔk]	«впереди»		
<i>lướt</i>	[lɥɔt]	«плавать»		

Как и в случае варьирования элементов, здесь имеет место замена не звуков, а лишь отдельных признаков (кинакем — по Бодуэну де Куртенэ): «губности — зубности», «глухости — звонкости», «заднеязычности — переднеязычности» и т. д. Все это говорит о том, что в широких рифмах слогиобразующий и слогоконечный элементы находятся во взаимодополнительном соотношении и совместно служат для образования необходимой созвучности между рифмокомпонентами.

Во многих тонированных слогах вьетнамского языка имеется особый звуковой элемент типа [ɥ], который располагается между инициалю и финалю. Исследователи иногда утверждают, что данный промежуточный элемент на рифму не влияет. Хотя в большинстве случаев рифмовки это действительно так, но встречаются также случаи, где дело обстоит не совсем просто. Так, например, в рифмах типа *lâ* [la] «есть» — *lôa* [lɔa] «не видно» (Нгуен Зу) промежуточный элемент [ɥ] выполняет заметную роль в создании необходимого различия между рифмованными слогами, ибо без него эти слоги-слова стали бы абсолютными омонимами. Имеются также случаи, где роль элемента [ɥ], наоборот, состоит в сохранении созвучности рифмы. Ср., например, *thoi* [tɔi] «челнок» — *ngoài* [ŋɔai] «за рамками» (Нгуен Зу) — здесь в обоих слогах заметно сходство по признаку бемольности благодаря наличию [ɥ] как промежуточного элемента во втором слоге и слогиобразующего [ɔ] в первом.

<sup>8</sup> Приводя здесь и ниже рифмы вьетнамской поэзии, мы опираемся в основном на следующие источники: [12, 13].

В поэтической рифмовке слоговой тон также выполняет свою особую роль. Наблюдается немало рифмокомпонентов, которые различаются между собой только слоговым тоном. Таковы, например: *mai* [maǐ] «сливы» (с высоко-ровным тоном) — *mài* [maì] «полировать» (с низко-ровным тоном) (Нгуен Зу), *lut* [lut] «наводнение (с нисходящим тоном)» — *lút* [lut] «наводнять» (с восходящим тоном) (в пословицах). Тем самым слоговой тон доказывает свою важную роль в предотвращении возникновения омонимичности рифмических пар. В то же время существует также ряд рифм, в которых повторение одинаковых слоговых тонов является существенным фактором для того, чтобы рифмокомпоненты могли сохранить известную созвучность. Ср., например: *trắng* [tǎŋ] «белый» — *ấm* [ʔm] «тепло» (оба слога обладают восходящим тоном) (Хонг Нгуен), *gây* [ɣʔi] «играть» — *ke* [kɛ] «человек» (оба слога обладают нисходяще-восходящим тоном) (в народной поэзии).

Итак, если инициаль и финаль слога, как было показано, всегда одинаково выполняют свои функции в поэтической рифмовке, то слоговой тон и медиаль (т. е. «промежуточный элемент») могут действовать двойко: либо усиливая звуковое сходство, либо усиливая звуковое различие между рифмокомпонентами в рифме. Все это, по всей очевидности, обнаруживает для нас существенные отношения разных звуковых элементов в общей структуре тонированного слога во вьетнамском языке<sup>9</sup>.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979, с. 227—243.
2. Аберкромби Д. Взгляд фонетиста на структуру стиха.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX (Лингвостилистика). М., 1980.
3. Бодуэн де Куртене И. А. Лингвистические заметки и афоризмы.— В кн.: Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963.
4. Щерба Л. В. О «диффузных звуках».— В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
5. Ван Ли. Ханьюй иньюнь (Фонологическая система китайского языка). Бэйцзин, 1963.
6. Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (XI—XIX вв.).— В кн.: История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
7. Гончаров Б. П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. М., 1973.
8. Самойлов Д. С. Книга о русской рифме. 2-е изд. М., 1982.
9. Ло Чанпэй. Ханьюй иньюньсюэ даолунь (Основы фонологии китайского языка). Шанхай, 1962.
10. Зиндер Л. Р. Общая фонетика. 2-е изд. М., 1979.
11. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика.— В кн.: Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
12. *Nguyễn Du*. *Kiêu. Hà Nội*, 1976.
13. *Vũ Ngọc Phan*. *Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam*. (Пословицы и народная поэзия Вьетнама). *In lần thứ 7. Hà Nội*, 1971.
14. *Nguyen Quang Hong*. О вьетнамской силлабеме и ее делимости.— В кн.: Вьетнамский лингвистический сборник. М., 1976.

<sup>9</sup> Подобные положения могут быть обнаружены также при анализе материала полуповторных слов и фактов языковой игры по способу *пойлай* (подобному кит. *фаньцзюй*) во вьетнамском языке. См. [14].

ЧАРЕКОВ С. Л.

## ОБ ЭВОЛЮЦИИ АГГЛЮТИНАТИВНЫХ СУФФИКСОВ (на материале эвенкийского и бурятского языков)

Одним из наиболее характерных отличий агглютинативной аффиксации от аффиксации языков других морфологических типов считается однозначность агглютинативных суффиксов, в отличие, например, от суффиксов флективных языков. Тем не менее, многозначность суффиксов во всех алтайских языках практически была выявлена уже давно. Для примера достаточно сослаться на приложения к эвенкийско-русскому словарю Г. М. Василевич [1] и таблицы словообразовательных суффиксов в бурят-монгольско — русском словаре К. М. Черемисова [2], где для большинства суффиксов зафиксировано по несколько более или менее близких значений. В тюркских языках многозначность суффиксов засвидетельствована в монографии Э. В. Севортына [3], а в некоторых работах приводятся случаи, когда суффикс выражает два диаметрально противоположных значения [4].

В ряде исследований отмечалось, что принципиальное различие в многозначности между суффиксами агглютинативных и суффиксами флективных языков все-таки существует. На материале монгольских языков это положение наиболее отчетливо было сформулировано Т. А. Бертагаевым, подчеркнувшим факт многозначности суффиксов в языке при однозначности их в речевом контексте, т. е. в каждом отдельном случае употребления какой-либо словоформы с определенным суффиксом в конкретном предложении [5].

Таким образом, сам факт многозначности суффиксов в алтайской семье языков общеизвестен и сомнений не вызывает. Вместе с тем возникает ряд следующих соображений. Если суффиксы в алтайских языках многозначны, представляется ли возможным проследить последовательные этапы перехода от одного значения к другому, сохранились ли в языке промежуточные формы между двумя различными значениями, каковы причины и пути семантических изменений, претерпеваемых конкретным суффиксом, и т. п. При этом следует учитывать, что изменения часто затрагивают не только семантику суффиксов, но и характер их функционирования, т. е. один и тот же суффикс может выступать как в роли словоизменяющего, так и в роли слово- и формообразовательного суффикса, что также требует своего объяснения<sup>1</sup>. Разумеется, в рамках статьи невозможно ответить на все эти и другие вопросы, но на примере нескольких суффиксов можно попытаться более детально показать специфику агглютинативной аффиксации.

В качестве объекта исследования здесь выбраны четыре суффикса: эвенкийские *-кән* и *-чй* и бурятские *-хан* и *-тай*, рассматриваемые попарно в двух языках в сопоставительном плане. Выбор именно этих суффиксов достаточно условен в том смысле, что те же самые или схожие явления можно было бы проиллюстрировать и на других примерах, но он отнюдь не случаен. Эвенкийский суф. *-кән* и бурятский суф. *-хан* близки как по своим основным значениям, так и по форме настолько, что их можно считать либо родственными [7], либо заимствованными из одного языка в другой, в зависимости от притяия или неприяия гипотезы генетического родства алтайских языков. Суффиксы *-чй* и *-тай* сходны по своей семантике,

<sup>1</sup> Под формообразовательными суффиксами здесь подразумеваются суффиксы, образующие формы субъективной оценки (уменьшительные и пр.), см. [6].



но материально различны и, похоже, к одной праформе не возводились. Все эти обстоятельства имеют существенное значение для последующих выводов.

### Развитие эвенкийского суф. *-kān* в сравнении с бурятским *-хан*

Суф. *-kān* характеризуется как продуктивный суффикс, служащий для образования уменьшительных и ласкательных форм от прилагательных и существительных, а также в некоторых случаях как суффикс, обозначающий игрушку: *бэ* «человек» — *бэкэ́н* «кукла» [1, с. 759; 8, с. 104].

В других тунгусо-маньчжурских языках, например, в нанайском, Т. И. Петрова отмечает возможность употребления этого суффикса в качестве словообразовательного [9, с. 25, 26], а В. И. Цинциус говорит о переходе суффиксов субъективной оценки в разряд словообразовательных на материале эвенского языка [10].

О. П. Суник, анализируя уменьшительно-ласкательные суффиксы и их многочисленные фонетические варианты в различных тунгусо-маньчжурских языках, приходит к выводу, что в прошлом этот формант «выражал какую-то часть или части предмета, коллектива, совокупности такого же рода предметов, являющихся членами более обширного единства» [11].

Далее мы попытаемся проследить последовательные этапы эволюции суф. *-kān* на основе анализа лексико-семантических групп слов, с которыми он употребляется.

Элемент *-kān* встречается в нескольких группах существительных, семантически между собой не связанных. Их объединяет ряд существенных признаков: примерно половина основ в выделенных группах не встречается с другими суффиксами, не образует производных форм, и, таким образом, в современном эвенкийском языке эти словоформы являются изолированными. Данный факт может свидетельствовать о большой древности омертвелых форм с элементом *-kān*, некогда служившим словообразовательным суффиксом и имевшим свое специфическое значение.

Вторая характерная черта рассматриваемых словоформ состоит в том, что большая часть их представляет собой диалектные формы, сохранившиеся лишь в одном-трех говорах эвенкийского языка. Наряду с этими реликтовыми формами существуют другие словоформы, обозначающие ту же реалию и бытующие в подавляющем большинстве диалектов и говоров. К примеру, слово *харинкān* «табак» зафиксировано лишь в ербогачёвском и илимпийском диалектах, в то время как заимствование *дамга* с тем же значением употребляется в одиннадцати диалектах и говорах.

Третья характерная черта, также говорящая в пользу древнего происхождения рассматриваемых словоформ, — это высокая степень близости большинства реалий, обозначаемых ими, к повседневной жизни и быту носителей языка, что наглядно проявляется при семантическом анализе выделенных групп.

Первую группу образуют названия растений и диких животных (и в ней может быть выделено несколько подгрупп): а) растения: *гувукān* «болиголов пестрый», *тулакān* «ольха», *харинкān* «табак», *хургикān* «ель»; б) животные: *дёлдыкān* «тарбаган», *мэнтэкān* «росомаха», *торокān* «барсук»; в) птицы: *верчикān* «утка-тяглок», *кавекān* «куропатка», *чэп-тэрэжкān* «кедровка»; г) рыбы: *гуткэ́н* «щука-травянка»; д) насекомые: *дэлкэ́н* «муха, откладывающая яйца в коже животных» и *хумикэ́н* «мошка-мокрец».

Вторая группа относительно многочисленна и состоит из слов, обозначающих в подавляющем большинстве случаев бытовые и хозяйственные реалии, предметы домашней утвари, охотничьего снаряжения и т. п. В этой группе также можно выделить несколько подгрупп определенного характера: а) предметы узкого назначения: *ботомикān* «котомка для носки орехов»; *ёгдаукэ́н* «ремень, которым перевязывают оленю рога во время спаривания»; *куркэ́н* «биток для сбивания ягод»; *лбтакān*

«бревно, на котором укреплен лук-самострел»; *намакән* «покрышка на седло с вьюком»; *октыкән* «палка, которой выгоняют медведя из берлоги во время охоты»; *унрикән* «берестяной лоток для размешивания вареной рыбы»; *унәкән* «верхняя часть крышки чума»; *хаңнәкән* «вид орнамента из подшейного волоса оленя»; *әлбикән* «угли, на которых жарят мясо». Предметы, входящие в эту подгруппу, можно было бы назвать «экзотизмами» с нашей сегодняшней точки зрения, в то время как все они являлись вполне обыденными в древнем укладе жизни кочевых охотников; б) словоформы, отражающие предельно детализированные реалии: *гулывкән* 1) «челюстная впадина», 2) «глазное отверстие в черепе»; *нилдякән* «плешь на шкуре оленя во время линьки»; *нимжукән* «горелое место в лесу с молодой порослью»; *мәйилкән* «мелкая мертвая зыбь»; *тәмәлкән* «тишина ночью в лесу»; *хиләкән* «открытое место среди гор». В названиях всех этих реалий отражается конкретность, характерная для ранних этапов развития человеческого мышления; в) словоформы, обозначающие часть целого<sup>2</sup>, т. е. тоже в какой-то степени детализирующие предметы и явления: *гәгилкән* «гребень волны»; *шүрәкән* «кость плюсны, запястья», *индыкән* «коленная чашечка»; *тәпукән* «древесная почка», *улукән* «отросток рога», *чалкән* «блок в оленьей упряжке»; *шанкән* (*сәнкән*) «дужка чайника»; г) предметы ближайшего окружения, как и в предыдущих двух подгруппах, но только без узкой детализации: *дәлкән* «помост на сваях», *ипкән* «ложка-черпак», *кавкән* «крышка посуды», *лушикән* «постромки», *ниндукән* «сухостой», *нярмакән* «верхняя одежда», *тастакән* «грузило», *тукупкән* «тесло, стамеска», *тәкән* «корневище», *тәллакән* «равнина», *шиекән* «чаша», *ятакән* «распадок»; д) подгруппа существительных, обозначающих предметы и существа маленького размера: *дакән* (*кокән*) «ребенок», *иргинчикән* «мизинец», *нәгдылткән* «оленок», *суюкән* «бычок», *чувакән*, *чулбикән* «холмик, сопка», *чумдыкән* «кошка». Количество слов этой подгруппы, а также слов, обозначающих мелкие предметы, но вошедших в другие группы по какому-либо иным признакам, сравнительно невелико, но именно они представляются наиболее важными для дальнейшего развития семантики суффикса, что будет показано ниже.

Третья группа состоит из существительных, обозначающих сказочные предметы, мифологические существа, понятия, связанные с религиозными верованиями: *идакән* «шаманка», *непкән* «плач по умершим родителям», *нимңакән* (*ломгакән*) «сказка», *ниңнакән* «людоед», *мәлкән* «злой лесной дух в виде огонька», *ханякән* «душа человека после смерти», *зәмкән* «амулет, изображающий человека», *эхәкән* «дух-хозяин животных». Эта группа невелика, но реалии, передаваемые этими словами, несомненно, относятся к достаточно древним и воспринимались носителями языка как вполне конкретные.

Существительные четвертой группы малочисленны, они передают понятия абстрактного или обобщенного характера: *иткән* «закон, прищипка», *әскән* «слава, честь».

Анализ семантики слов, входящих в перечисленные группы, позволяет сделать два вывода. Во-первых, все они составляют относительно древний слой лексики с конкретным бытовым содержанием. Следовательно, суф. *-кән* к тому времени сформировался как словообразовательный суффикс существительных. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев реалии, обозначаемые словами с суф. *-кән*, были либо небольшого размера сами по себе, либо на их небольшой размер указывают косвенные обстоятельства. Так, часть целого всегда меньше самого целого, и потому группа слов, обозначающих часть целого, близка словам, детализирующим какое-либо явление. (Например, «гребень волны» — одновременно и детализация, и часть целого, а «горелое место в лесу с молодой порослью» — тем не менее остается частью леса.) Суммарно таких слов в приведенных группах подавляющее большинство.

<sup>2</sup> Б. В. Болдыревым выявлено около сорока существительных с суф. *-кән*, обозначающих только части тела, см. [12].

Таким образом, именно это обстоятельство, т. е. употребление суф. *-кән* со словами, обозначающими предметы небольших размеров, способствовало формированию у словообразовательного суффикса формообразовательного значения уменьшительности. Причем сфера употребления расширялась. С ним стали образовываться уменьшительные формы не только существительных, но и прилагательных, наречий, числительных. Например, *ая* «хороший» — *аякән* «хорошенький»; *дага* «близкий, близко» — *дагакән* «очень близкий, очень близко», *дагачукән* «близехонький»; *умун* «один» — *умидкән* «один-единственный». Количество подобных слов настолько велико и общезвестно, что нет необходимости увеличивать их список.

Выделенная выше линия развития суф. *-кән* от словообразовательного суффикса к формообразовательному не является единственной. Развитие этого суффикса продолжалось и по другой линии. Его первоначальная словообразовательная функция не была потеряна. С суф. *-кән* образовалось некоторое количество существительных и от глаголов, что свидетельствует о его продуктивности именно в словообразовательной функции. Следует отметить, что во вновь образованных существительных суф. *-кән* иногда сохранял одновременно и значение уменьшительности. Примеры: *дудун-* «ворчать» — *дудукән* «воркотня»; *игрә-* «проводить черту» — *игрәкән* «черточка»; *каларүт-* «стряпать» — *каларүткән* 1) «стряпуха»; 2) «маленький олень, на которого навьючивается котел»; *капчу-* «прижать» — *капчукән* «щипчики»; *сеңа-* «починить» — *сеңакән* «дырочка».

О сохранении словообразовательного значения суф. *-кән* свидетельствует и тот факт, что некоторые существительные при оформлении им не только получают значение уменьшительности, но и претерпевают изменения в своей семантике: *асёг* «ельник» — *асёкән* «елочка»; *дэт* «тундра» — *дэткән* «болото»; *кулин* «змея» — *куликән* — «червяк, пиявка»; *мб* «дерево» — *мбкән* 1) «жердь, палочка»; 2) «маленькое сухое дерево»; *мугдэ* «ствол» — *мугдэкән* «пенок»; *няңта* «кедровый орех» — *няңтакән* «ядрышко ореха»<sup>3</sup>.

В приведенных выше примерах как бы сливаются обе функции суффикса. С одной стороны, в этих словоформах присутствует значение уменьшительности, а с другой — возникает и новое значение, ведущее к образованию нового существительного. Так, например, «червяк» или «пиявка» похожи на «змею» и отличаются от нее меньшими размерами, но отнюдь не являются «маленькой змеей», *дэткән* «болото», но не «маленькая тундра».

Развитие словообразовательной функции суф. *-кән* подтверждается и наличием большого количества словоформ, где он выступает только в роли суффикса прилагательного без значения уменьшительности: *дэптыкән* «встречный» (*дэптыки* «навстречу»); *бултэркән* фольк. 1) сказочное существо и 2) «пучеглазый» (*бултэ* «крупный»); *наптакан* «плоский, гладкий, ровный» (*напта* «равнина, низкий»); *ниткүкән* «низкий» (*нит* «ровный, плоский берег»); *паматкән* «растерянный, смущенный» (*пама-* «смутиться»); *симүткән* «тихий» (*симүли* «тишина»); *нэкэмүкән* «крепкий» (*нэкэ* «огниво»); *солкодоркөн* «шелковый» (*солко* «шелк»); *унипкән* «продажный» (*униет-* «продать»).

Краткий обзор эволюции суф. *-кән* показывает его путь от словообразовательного суффикса существительных к словообразовательному суффиксу ряда других грамматических разрядов слов и к формообразовательному, которое в настоящее время является основным и наиболее распространенным.

Теперь для сравнения обратимся к бурятскому суф. *-хан*. Этот суффикс в монгольских языках весьма близок по значению эвенкийскому *-кан*. Однако полного параллелизма между этими двумя суффиксами родственных групп языков не наблюдается.

<sup>3</sup> Аналогичные факты рассматривались и на материале нанайского языка, см. [9, с. 46; 13].

Суф. *-хан* в монгольских языках обладает большим количеством оттенков значений: ограничительности, уточнения и преувеличения признака и т. п. Не удается выявить и семантическую общность в развитии этого суффикса. Во всяком случае, линия развития, прослеженная для эвенкийского *-кән*, от словообразовательного до формообразовательного (уменьшительного) суффикса, по имеющимся материалам не выражена.

Вместе с тем ряд общих черт между эвенкийским и монгольским суффиксами имеется. В монгольском языке выделяется небольшая группа существительных с *-хан*, где этот элемент не несет в себе значения уменьшительности: *бунхан* «гробница, часовня»; *дархан* «священный, неприкосновенный»; *майхан* «палатка, шатер»; *савхан* «посуда для супа»; *цулхан* «чашка» (из наплыва на дереве) и некот. др. Однако эта группа не поддается семантической классификации, подобной той, которая была проведена с эвенкийскими существительными. То же самое можно сказать и об аналогичных примерах из бурятского языка: *гонхон* «колокольня», *гоохон* «красавица», *тохон* «селение»; *улхан* 1) «наплыв на дереве»; 2) «чашка».

Далее, на примере бурятских прилагательных рассмотрим различные свойства суф. *-хан*. Основным и чуть ли не единственным значением этого суффикса принято считать уменьшительно-ласкательное [14, с. 125]: *арюун* «чистый» — *арюухан* «чистенький»; *богони* «короткий» — *богонихон* «коротенький»; *муу* «плохой» — *муухан* «плохонький»; *набтар* «низкий» — *набтархан* «низенький»; *салдан* «голый» — *салдахан* «голенький» и т. п.

Нетрудно заметить, что основным значением *-хан* в приведенных примерах является не столько уменьшительность, сколько оттенок ласкательности, который возникает в силу того, что прилагательные не называют предмет, а обозначают его качество, и, следовательно, о непосредственном уменьшении величины в линейных размерах говорить не приходится. Этим же объясняется и наблюдаемая в отдельных случаях близость суф. *-ган* к суф. *-шаг*, обозначающему неполноту качества. Например, *Жэгтэйхэн хүн байнаш даа* «Странноватый [ты] человек»; *Газарай ехэхэн хубинь хүртэбэ* «Досталась [ему] довольно большая часть земли»<sup>4</sup>. Ср. *ехишэг* «довольно большой».

Суф. *-хан* часто выступает и в словообразовательной функции. Причем возможно в одной и той же словоформе сосуществование двух значений: формообразовательного и словообразовательного, которые выявляются в зависимости от контекста. Так, например, если исходная форма *арюун* обладает тремя значениями: 1) «чистый, ясный, светлый»; 2) «чистый, честный, святой»; 3) «чистоплотный», то с суф. *-хан* значения этой словоформы будут следующими: *арюухан* 1) «чистенький»; 2) «прозрачный» (о воде); 3) «милый, пригожий». Таким образом, только в первом значении реализуется формообразовательное свойство этого суффикса, в двух других случаях он является словообразующим. Как правило, семантика образованного слова близка исходной словоформе или связана с ней логическим переходом: *гүлмэр* «молодой, юный» — *гүлмэрхэн* «неокрепший»; *обор* «плохой, неказистый, невзрачный» — *оборхон* «слабенький, хилый»; *хөөрхы* «вызывающей жалость» — *хөөрхэн* 1) «возбуждающий жалость»; 2) «милый, славный, прелестный, хорошенький».

В единичных случаях словообразовательные свойства суф. *-хан* проявляются при образовании прилагательных от других частей речи: *баа* «немножко, чуть-чуть, слегка» — *баахан* 1) «маленький»; 2) маловато»; *гэдэ* «таять» — *гэдхэн* «талый».

По характеру функционирования суф. *-хан*, несомненно, типологически близок эвенкийскому суф. *-кән*.

<sup>4</sup> Эти и приведенные далее предложения записаны автором в Джидинском р-не Бурятской АССР.

Бурятский суф. *-тай*  
в сравнении с эвенкийским суф. *-чй*

Суф. *-тай* является едва ли не наиболее продуктивным суффиксом прилагательных. Исторически его значение заключалось, по наблюдениям Т. А. Бертагаева, в выражении принадлежности чего-либо предмету или лицу [15]. Тем самым суф. *-тай* аналогичен эвенкийскому суф. *-чй*, также передающему значение «имеющий что-либо, обладающий чем-либо», которое и определило его название как «суффикса имени обладания» [4, с. 797]. Такая характеристика позволяет предположить, что первоначально суф. *-чй* употреблялся исключительно с вещественными существительными. Словоформы с этими суффиксами в обоих языках, следовательно, можно было бы считать не столько прилагательными, сколько существительными с суффиксами принадлежности.

На начальном этапе развитие суффиксов в эвенкийском и бурятском языках шло одинаковым путем. Однако в дальнейшем бурятский суф. *-тай* преобразовался в словоизменятельный суффикс совместного падежа, чего не произошло с эвенкийским *-чй*. Оба этих этапа и будут рассмотрены ниже.

В качестве примеров исходной группы существительных с суф. *-тай* можно считать вещественные существительные типа: *гэргэтэй* «имеющий жену, женатый» [*гэргэ(н)* «жена»]; *модотой* «покрытый лесом» (*модон* «дерево, лес»); *ногоотой* «покрытый зеленью, богатый травой» [*ногоо(н)* «зелень, трава»]. Эвенкийскими аналогами подобных образований могут служить: *нулгичй* «имеющий жену, женатый» (*нулги* «хозяйка, жена»); *дэктылэчй* «имеющий крылья, крылатый» (*дэктылэ* «крыло») и т. п.<sup>5</sup>

По своему характеру приведенные примеры представляют собой существительные с узко-конкретным значением, но сама идея передачи значения принадлежности («с чем-либо, наличие чего-либо») дает возможность суффиксам *-тай* и *-чй* образовывать прилагательные уже более обобщенного типа, такие, как бур.: *атираатай* «морщинистый» < *атираа* «морщина»; *бороотой* «дождливый» < *бороо* «дождь»; *задатой* «ненастный» < *зада* «ненастье, непогода»; эвенк.: *дёлочй* «счастливый» < *дёл* «счастье»; *иманначй* «снежный» < *иманна* «снег»; *удучй* «дождливый» < *удун* «дождь»; *нутэчй* «смолистый» < *нутэ* «смола».

Следующей ступенью в развитии более абстрагированного грамматического значения суффикса прилагательного *-тай* являются прилагательные, образованные от отвлеченных существительных: *азатай* «счастливый, удачливый» < *аза* «счастье, удача»; *буянтай* «добродетельный» < *буян* «добродетель, заслуга»; *гарзатай* «убыточный» < *гарза* «ущерб, потеря»; *маряатай* «толстый» < *маряан* «полнота»; *нойртой* «сонливый» < *нойр* «сон»; *ольхотой* «теплый» < *ольхон* «теплота»; *шогтой* «шутливый» < *шог* «шутка».

В эвенкийском языке более отвлеченные значения прилагательных возникают в следующих словоформах: *абду* «скот, имущество, вещи» — *абдучй* «богатый» (т. е. «имеющий» все перечисленное — и есть «богатый»); *булэ* «болото» — *булэчй* «топкий» (т. е. «обладающий свойством болота»); *вактэ* «добыча» — *вактэчй* «удачливый» (но не конкретно «имеющий добычу») и т. п.

Подобных примеров можно было бы привести множество. Именно такого рода прилагательные и составляют основную массу прилагательных, образованных при помощи суффиксов *-чй* и *-тай*<sup>6</sup>.

Если во всех предыдущих группах, включая и последнюю, несмотря на усиление обобщенно-грамматического начала, в суф. *-тай* сохранилось конкретное значение (наличие чего-либо, обладание чем-либо), то впослед-

<sup>5</sup> Здесь и далее приводится минимальное количество примеров из эвенкийского языка с суф. *-чй*. Более подробно об эволюции этого суффикса см. [16, с. 230—234].

<sup>6</sup> Все эти ступени развития эвенкийского и бурятского суффиксов полностью соответствуют схеме развития азербайджанского суф. *-лы*, в котором, по наблюдениям Э. В. Севортяна, значение «имеющий что-либо» переходит в значение «обладающий свойством/качеством/признаком» [3, с. 57].

ствии прослеживается превращение *-тай* в грамматический показатель прилагательного. Однако и при этом в языке фиксируется ряд переходных форм, в которых семантика суффикса как бы раздваивается. В одной и той же словоформе в одном случае суф. *-тай* сохраняет свою первоначальную (конкретную) семантику («наличие чего-либо»), а во втором она вытесняется грамматическим значением. При этом во втором случае вся словоформа иногда употребляется в переносном значении или приобретает какие-либо отличия в оттенках по сравнению с семантикой исходной основы. Подобное раздвоение наблюдается в следующих словоформах: *аматай* «имеющий рот» и «говорливый, болтливый» < *ама* «рот»; *арьбан-тай* «жирный» и «бережливый» < *арьбан* «жир», *хубэтэй* «в дырочках» и «находчивый», шутливый» < *хубэ* «ушко, дырочка».

Аналогичный характер семантического отдаления от исходного значения демонстрируют эвенкийские прилагательные: *гирамнай* «стройный» < *гирамна* «кость»; *дбэй* «наполненный» < *дбэ* «нутро, внутренность»; *дылчий* «умный» < *дыл* «голова»; *эручэй* «виновный» < *эру* «зло, беда, несчастье, горе»; *кэрэжэй* «нужный» < *кэрэж* «вещь». Крайним случаем полной грамматикализованности суф. *-чэй* можно считать прилагательное сахалинского говора *надачэй* «нужный», образованного от русск. *надо*.

Вообще можно сказать, что грамматическое развитие суф. *-тай* определенным образом влияет на семантику основы. Или, иными словами, при переходе существительного в разряд прилагательных наблюдаются семантические изменения: во-первых, становится возможным возникновение переносного значения, во-вторых, и чаще всего, слово приобретает какой-либо новый оттенок (семантический сдвиг), в-третьих, наблюдается сужение, когда из нескольких значений исходной формы существительного при переходе в прилагательное реализуется только одно или два.

Переносное значение может возникнуть и в тех случаях, когда раздвоение семантики не наблюдается: *муртэй* «подходящий, толковый» < *мур* «путь, след, борозда»; *хорхойтой* «жадный» < *хорхой* «червяк»; *эльгэтэй* «неравнодушный» < *эльгэ(н)* «печень».

Семантический сдвиг наблюдается при образовании следующих прилагательных: *амитай* «живой» < *ами(н)* «дыхание»; *бараатай* «солидный» < *бараа(н)* «облик, наружный вид»; *бахатай* «привлекательный, симпатичный» < *баха* «желание, страсть».

Во всех вышеприведенных примерах семантика основ обогащается новыми оттенками, что не наблюдается в тех случаях, когда суф. *-тай* является просто суффиксом принадлежности.

Сужение значения происходит при образовании следующих прилагательных: *дуутай* «звучный, шумный» < *дуу(н)* «звук, голос; песня»; *нюратай* «высокий» < *нюрга(н)* «спина, хребет; рост»; *самсаалтай* «граненый» от *самсаал* «просека; грань; острый».

Частным проявлением сужения значения можно считать все случаи образования прилагательных с суф. *-тай* от числительных, поскольку они обозначают только возраст: *гурбатай* «трехлетний» < *гурбан* «три»; *гушаадтай* «под тридцать» (о возрасте) < *гушаад* «около тридцати»; *хоёртой* «двухгодовалый» < *хоёр* «два» и т. п.

Способность суф. *-тай* образовывать прилагательные не только от существительных, но и от других грамматических разрядов слов — числительных, прилагательных, наречий и некоторых глагольных форм — свидетельствует об окончательном закреплении этого форманта в качестве имени прилагательного. Примерами образования прилагательных от наречий и причастий могут служить следующие словоформы: *агтай* «сильный, острый, крепкий» < *аг* «сильно, крепко»; *барагтай* «сносный, подходящий» < *бараг* «посредственно, сносно»; *лабтай* «точный» < *лаб* «точно, верно»; *болохотой* «приемлемый, подходящий» < *болохо* «становиться, делаться».

Присоединение этого суффикса к прилагательным приводит в большинстве случаев к образованию синонимичных форм с одинаковыми значениями: *залхаг* и *залхагтай* «слизистый, липкий»; *зуб* и *зубтэй* «правильный, верный»; *муу* и *муутай* «плохой, дурной»; *холишор* и *холишортой* «разбит-

ной, праздной». В этих словоформах суф. *-тай* как бы «подкрепляет» первоначальное значение прилагательности.

Весь прослеженный здесь путь развития суф. *-тай* типологически сходен с развитием эвенкийского *-чи*. Различие же состоит в том, что в дальнейшем суф. *-тай* вошел в качестве компонента в сложные суффиксы *-тай* и *-аатай*.

С суф. *-лтай* образуется ряд специфических отглагольных прилагательных, которые можно было бы назвать модальными прилагательными, поскольку они включают в свою семантику помимо значения, выраженного основой исходного глагола, еще такие оттенки, как возможность, долженствование, необходимость и т. п. Например, *абалтай* «то, что нужно (необходимо) взять, купить» < *абаха* «брать»; *асуултай* «то, о чем можно (следует) спросить» < *асууха* «спрашивать»; *барилтай* «такой, что можно брать, держать» < *бариха* «брать, держать».

Этот суффикс состоит из *-л-* и *-тай*, где *-тай* выполняет функцию словообразовательного суффикса прилагательного, а *-л-*, по всей видимости, является тем же продуктивным суффиксом, который образует от глаголов существительные, обозначающие а) состояние (процесс) действия (*сэсэглэл* «цветение» < *сэсэглэхэ* «цвести»); б) результат действия (*болбосорол* «просвещение, образование, культура» < *болбосорхо* «совершенствоваться, развиваться»); в) состояние, признак, свойство и качество, отвлеченные от предмета (*жаргал* «счастье, радость» < *жаргаха* «наслаждаться счастьем») [17, с. 33]. В приведенных прилагательных суф. *-л-* является своего рода субстантиватором, переводящим глагольную форму в именную и тем самым определяющим возможность образования от нее прилагательного, что и реализуется при помощи суф. *-тай*.

Несколько сложнее обстоит дело с анализом следующих словоформ с суф. *-аатай*: *адхаатай* «рассыпанный, разлитый» < *адхаха* «лить, выливать; сыпать, высыпать»; *анятай* «закрытый, зажмуренный» (о глазах) < *аниха* «зажмуривать, закрывать (глаза)»; *аргамжаатай* «привязанный, связанный» < *аргажалха* «привязывать, связывать»; *бүглөөтэй* «заткнутый» < *бүглэхэ* «затыкать»; *зураатай* «нарисованный» < *зурах* «рисовать» (ср. *зурагтай* «иллюстрированный, с рисунками» < *зураг* «рисунок»); *шэрдэстэй* «крашеный, окрашенный» < *шэрдэхэ* «красить, окрашивать» (ср. *шэрэтэй* «окрашенный» < *шэрэ* «краска»).

В «Грамматике бурятского языка» подобные формы определены как страдательные причастия, преимущественно употребляемые в качестве определения и сказуемого [14, с. 278]. При этом суф. *-аатай* определяется как суффикс совместного падежа *-тай/-тэй*, присоединяемый к основам несовершенного причастия переходного глагола: *бэшээ* + *-тэй* = *бэшээтэй* «написанный» [14, с. 233].<sup>1</sup>

Но возможна и другая интерпретация: *-аа-* можно рассматривать как суффикс существительного, обозначающего предмет, являющийся результатом действия: *гагнаа* «спайка» < *гагнаха* «паять, спаивать»; орудие действия: *бүглөө* «пробка, затычка» < *бүглэхэ* «затыкать» и т. п. [17, с. 29]. Суф. *-тай* в этом случае оказывается суффиксом прилагательного, образующим его от существительного. Как известно, причастия довольно легко адъективируются именно благодаря своему свойству выступать в роли определения, теряя при этом свои глагольные признаки. В качестве примеров адъективации можно привести предложения, в которых интересующие нас словоформы с суф. *-аатай* определенно являются прилагательными: *Адхаатай сайгаа ариуш!* «Пролитый чай вытри!»; *Бэлдэстэй унтаридаа ошожо хэбтэнэ* «На приготовленную постель прилеги».

Относительно семантической эволюции суффиксов *-чи* и *-тай* можно заключить следующее. Развитие суф. *-чи* шло от частного значения принадлежности к обобщенно-грамматическому значению суффикса прилагательного, чем дело и ограничилось. А развитие суф. *-тай* шло двумя путями: от суффикса принадлежности к словоизменительному суффиксу совместного падежа и к словообразовательному суффиксу прилагательных. Отличия наблюдаются и в способности суф. *-тай* входить компонентом в составные суффиксы.

В дальнейшем он был заимствован эвенкийским языком в качестве суффикса, в редких случаях образующего прилагательные как от собственно эвенкийских существительных (*чухсэ* «сок» — *чухсэтэй* «сочный»), так и от заимствованных (*мэслэ* «масло» — *мэслэтэй* «масляной») [8, с. 116]. Еще интереснее функционирование этого суффикса с промежуточным между словоизменительным и словообразовательным значением, при котором суфф. *-тай* обозначает «пассивное участие в действии предмета или лица, выраженного в основе: *суктэй суручэн* „он ушел с топором“; *хутэтэйл, оротойл нулгэденкитын* „они кочевали с детьми и с оленями“» [1, с. 791]. Промежуточным это значение можно считать именно благодаря «пассивному» участию в действии, что безусловно уже полного значения совместного падежа и близко к значению «имеющий что-либо».

Семантическая эволюция суффиксов сама по себе представляет определенный интерес. Однако, на наш взгляд, значение подобных исследований может быть существенно шире. В частности, сравнение семантического развития суффиксов можно использовать для уточнения гипотезы генетического родства алтайских языков. При наличии серьезных расхождений в эволюции таких материально близких суффиксов, как *-хан* и *-кән*, их генетическое родство оказалось бы под сомнением. При таком сравнении более узкая сфера употребления какого-либо суффикса в одной группе языков, отсутствие многозначности являлись бы свидетельством заимствования, вторичности, как это было показано на примере суфф. *-тай* в эвенкийском языке.

Второе возможное направление — это более углубленное изучение сущности агглютинативной аффиксации для морфологической классификации языков. Выяснение всех существующих явлений (взаимодействие суффикса и основы, семантический сдвиг, способы формирования различных значений, возникновение синонимии и омонимии) и сопоставление их в агглютинативных языках разных семей позволит уточнить общие черты агглютинативного словообразования и обнаружить специфику отдельных языков и групп языков.

Самостоятельный интерес представляет изучение путей формирования новых значений каждого суффикса. Так, например, если развитие суфф. *-чи* шло от узко-конкретного к обобщенно-грамматическому, то эволюция другого эвенкийского суффикса прилагательных, *-рин*, образовывавшего слова только со значением цвета, шла по пути расширения группы существительных, к которым он мог присоединиться, что и привело к качественному изменению семантики этого суффикса [16, с. 230].

И, наконец, семантическую эволюцию агглютинативных суффиксов можно рассматривать в сопоставлении с эволюцией суффиксов языков других типов. Подобное направление исследований может восполнить существующий пробел в сфере изучения морфем как одних из самых многочисленных значащих единиц языка.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. С приложениями и грамматическим очерком эвенкийского языка. М., 1958.
2. Черемисов К. М. Бурят-монгольско — русский словарь. С приложением краткого грамматического справочника по бурят-монгольскому языку. М., 1951.
3. Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966.
4. Иванов С. Н. К истолкованию многозначности грамматических форм (на материале тюркских языков). — ВЯ, 1973, № 6, с. 106.
5. Бертагаев Т. А. Морфологическая структура слова в монгольских языках. М., 1969, с. 37.
6. Грамматика калмыцкого языка. Элиста, 1983, с. 49—51.
7. Рамstedт Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с. 186.
8. Константинова О. А. Эвенкийский язык. М.—Л., 1964.
9. Петрова Т. И. Очерк грамматики нанайского языка. Л., 1960.
10. Цинциус В. И. Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка. Ч. I. Л., 1947, с. 81, 82.



11. *Суник О. П.* Существительные в тунгусо-маньчжурских языках. Л., 1982, с. 109.
12. *Болдырев Б. В.* Суффиксы имен существительных, обозначающих части тела (на материале эвенкийского языка).— В кн.: Исследования по языкам Сибири. Новосибирск, 1976, с. 36.
13. *Аврорин В. И.* Грамматика нанайского языка. Т. I. М.— Л., 1959, с. 109, 209.
14. Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология. М., 1962.
15. *Бертагаев Т. А.* О спорных вопросах грамматики (на материале монгольских языков).— В кн.: Вопросы составления описательных грамматик. М., 1961, с. 98.
16. *Чариков С. Л.* Суффиксы эвенкийских прилагательных *-рин* и *-чй*.— В кн.: Лингвистические исследования. 1983. Функциональный анализ языковых единиц. М., 1983.
17. *Дондуков У.-Ж. Ш.* Аффиксальное словообразование частей речи в бурятском языке. Улан-Удэ, 1964.

МЕЙЛАНОВА У. А.

**О ТЕРМИНОЛОГИИ СВОЙСТВА В ЯЗЫКАХ ЛЕЗГИНСКОЙ  
ГРУППЫ**

(Опыт сравнительно-исторического анализа)

Номенклатура родственных отношений, как известно, включает в себя две обширные группы лексэм — названия представителей кровного и некровного родства. Последняя группа, как правило, значительно шире, ибо связана с институтом брака и семейных отношений, не говоря уже о целом ряде смежных терминов, которые примыкают именно к группе названий некровного родства или свойства.

В группе терминов свойства заимствований и описательных выражений больше, чем в группе терминов кровного родства, что становится понятным, если учесть исторически более позднее возникновение этой группы. Тем не менее именно номенклатура свойства представляет большой научный интерес как совокупность лингвистических фактов, свидетельствующих об исторических связях народов, с одной стороны, и о возможностях языка, с другой.

Само собою разумеется, что устойчивость и некоторая консервативность языка не позволяют ему прямо и непосредственно следовать за всеми изменениями, происходящими в структуре общества, в данном случае в семье, и в целом в отношениях родства и свойства. Язык отражает эти изменения своеобразно, путем последовательной мобилизации своих различных возможностей, что предполагает создание словосочетаний из имеющегося в языке материала, заимствования из других языков, а также перекалфикацию и перераспределение терминов. Как заметил Ф. Энгельс, формы семьи изменяются быстрее, чем система родства [1], и поэтому у многих народов имеются значительные расхождения между современной формой семьи, системой родственных отношений и терминами родства.

Науке известны языки, в которых терминология свойства почти не развита или развита очень слабо. Такое положение объясняется экзогамными брачными отношениями. Термины кровного родства и свойства в таких языках оказываются почти идентичными. Исследователь культуры и языка народов Северной Азии Л. Я. Штернберг пишет, в частности, об одной из народностей Сахалина следующее: «Гиляцкая терминология не знает родства по свойству, ибо тесть во всяком случае то же, что сын брата бабушки, зять человека — сын сестры его отца, отец зятя — сын сестры деда и т. д., и, следовательно, все члены обоих родов как бы кровные родственники между собой» [2]. Таким образом, терминология свойства находится в тесной связи с историей народа и отражает пройденный им путь в одной из сложных его сфер — в семейно-брачных отношениях.

В дагестанских языках эта лексическая группа исследована крайне слабо. Вывод о том, что в обозначениях некровного родства исконные основы или вовсе не развиты или развились в очень ограниченной степени и обрываются на близкородственных подгруппах, не доходя до прадагестанского уровня, представляется нам в значительной мере предварительным и общим [3, с. 277]. По нашему глубокому убеждению, вопрос о номенклатуре свойства в дагестанских языках заслуживает более пристального внимания и специального исследования. Между тем, строго говоря,

он почти не исследован. Мы говорим почти, имея в виду небольшой раздел о терминах родства в коллективном труде по лексике дагестанских языков, где подвергаются сравнительно-историческому анализу лишь несколько лексем, в основном из номенклатуры кровного родства, сохранившихся в двух или более близкородственных подгруппах дагестанских языков [3, с. 127—134]. В едва ли не единственной специальной работе — статье Л. Б. Панек, посвященной терминам родства в дагестанских языках, содержится самая общая характеристика пяти-шести терминов кровного родства в аварском, арчинском и хиналугском языках [4; ср. также 5]. При этом автор никак не объясняет и ничем не мотивирует выбор из множества дагестанских языков именно трех названных языков и рассматриваемых им терминов кровного родства.

Настоящая статья, не претендуя на исчерпывающую полноту решения вопроса, является первым опытом сравнительно-исторического анализа основных терминов свойства во всех десяти языках лезгинской группы восточнокавказских языков. Группа эта, как известно, объединяет два письменных языка — лезгинский и табасаранский и восемь бесписьменных языков: агульский, рутульский, цахурский, будухский, крызский, хиналугский, удинский и арчинский.

Предметом рассмотрения является следующая родственная номенклатура: муж (мужчина), жена (женщина), сомужница (жены одного мужа), ятровь (жена деверя, невестка), свекор, свекровь, тесть, теща, отчим, мачеха, вдовец, вдова, жених, зять (муж дочери, сестры, тети), невеста, новобрачная, невестка, сноха, деверь (брат мужа), золовка (сестра мужа), шурин (братья жены), свояченица (сестра жены), свояк (муж свояченицы), пасынок, падчерица, семья, женитьба (свадьба).

Анализ номенклатуры свойства целесообразно начать с терминов, обозначающих мужа и жену, — чету необходимых слагаемых, из которых складывается семья, и вместе с тем широко распространенных в лезгинских языках.

Термин «муж (мужчина)»: лезг. *гъуъл*, *гIуъл*, *итим*, *этем*; таб. *жилир*, *жилур*; агул. *шуй*, *хъуьй*; рут. *выггыл*; цах. *адами*; буд. *фури*; крыз. *фири*; хинал. *лыгылд*; уд. *ишу*; арч. *лъеле*, *бушор* «муж» (ср. лезг. *итим*, *этем*; таб. *жилир*, *жилур*; агул. *шуй*, *хъуьй*, *идеми*; рут. *выггыл*, *эдеми*; цах. *адами*; буд. *фури*; крыз. *фири*; хинал. *лыгылд*; уд. *ишу*; арч. *мелъетту*, *бушор* «мужчина»). Как можно видеть, обозначение мужа в лезгинских языках является почти всегда идентичным с более широким и исторически первичным названием мужчины вообще, которое в свою очередь восходит к праформе \**руггул* [6, с. 111] что означает существо мужского пола, сохранившейся в этом значении в диалектах лезгинского языка.

Начальные элементы *р*, *в*, *л*, представленные в диалектных формах лезгинского языка, а также в рутульском и хиналугском языках, являются, на наш взгляд, застывшими показателями грамматического класса [7]. В лезгинском литературном языке для передачи понятия «муж» функционирует форма, уже лишенная классных экспонентов. К этой же основе примыкает и табасаранская форма *жилир*, поскольку корневой *ж*, не являющийся рефлексом аффрикаты *дж*, может восходить к исконному фрикативному \**гг* (ср. лезг. *зур*, *жур* < *ггуър* «половина»; *звал*, *жвал* < *ггвел* «кипение» и др.). Нам представляется, что с этими основами перекликается и осет. *джир*, где начальное *дж* восходит к *г* [8, I, с. 6].

Однокорневыми являются агульские формы *шуй*, *хъуьй*, арчинские *бушор*, *лъеле* (*мелъетту*), где форматив *-тту* есть не что иное, как словообразующий аффикс. Ввиду того, что соответствие между глухими спирантами *ш*, *хъ*, *ф* — явление обычное для лезгинских языков [9], сюда же должны быть отнесены будухская и крызская формы — *фури*, *фири*.

Лишь в цахурском языке исконная основа полностью вытеснена арабской лексемой *adam*, которая в значении «человек, мужчина» распространена по всему Кавказу. Так, В. И. Абаев приводит вариации этого слова в грузинском и осетинском языках в значении «человек, люди, народ» [8, I, с. 29]. Эта форма параллельно с исконной функционирует и в других лезгинских языках.

Для обозначения жены (женщины) в лезгинских языках существуют лексемы: лезг. *паб, хнуб, хнупI*; таб. *шив, шивур, хиппир*; агул. *хыр, хевед*; рут. *къари*; цах. *хьунашше*; буд. *гьедж*; крыз. *хыныб, хенеб*; хинал. *хинимкIир*, уд. *чубух, чубох*; арч. *лъеннол, лъенеттур* «жена», (ср. лезг. *паб, хнуб, хнупI*; таб. *шив, шивур, хиппир*; агул. *хевед, хунбеф*; рут. *хьыдылды*; цах. *хьунашше*; буд. *гьедж*; крыз. *хыныб, хенеб*; хинал. *хинимкIир*; уд. *чубух, чубох*; арч. *лъеннол, лъенеттур* «женщина»).

Так же, как и предыдущее слово, эта лексема в лезгинских языках является общекорневой и идентичной с более древней основой, означающей женщину, существо женского пола вообще. Надо полагать, что семантика «жена, супруга» у этой лексемы более поздняя, вторичная. Почти во всех лезгинских языках представлена общая исконная основа, соответствия которой выходят далеко за пределы ареала лезгинской подгруппы в другие дагестанские языки (ср. дарг. *хьунул*, лак. *шшар*, авар. *лълъади*), где корневой консонант *хь* в языках лезгинской группы дал спирант *ш* (исторически он возводится к латералу *лъ*, сохранившемуся из лезгинских языков лишь в арчинском). Чередование согласных основы *р, д, в, н* для дагестанских языков закономерно [10]. Особняком стоят будухская форма *гьедж* и удинская *чуб-ух, чуб-ох*, хотя они, безусловно, исконные. Элементы *-ух* и *-ох* удинских форм являются, по всей вероятности, былыми показателями мн. числа [11]. Сохранение их в лексеме «женщина > жена» пока объяснить трудно, хотя и наталкивает на мысль об отражении здесь эволюции семьи и ее членов. Лишь в рутульском языке общелезгинская основа полностью утрачена и заменена тюркским *къари* «старуха». Эта лексема факультативно встречается и в некоторых других лезгинских языках. В самих тюркских языках, как, например, в турецком и гагаузском, это слово имеет еще и значение «жена, женщина» [12, с. 60].

Термин «другая жена мужа, сомужница» представлен лексемами: лезг. *кьев*; таб. *кьяьми*; агул. *ами*; рут. *кьяьй*; цах. *кьяьй*; буд. *гуьнуь*; крыз. *кьев*; хинал. *кьов, гуьнуь*; уд. *гуьнуьх*. Вторую жену многоженца почти все лезгинские языки обозначают единой исконной основой, восходящей к числительному «два», которое состоит из корневого элемента \**кье*-и конечного показателя грамматического класса. Любопытно, что в хиналугском языке, где грамматический класс функционирует как живая категория, лексема *кьяь* утратила конечный классный показатель, а лезгинский язык, в котором классы утрачены, сохранил именно в данной лексеме показатель класса *-в*. Агульская форма *ами* утратила корневой *кь*, включающий в себя понятие «два, вторая» (ср. таб. *кьяьми*). Из анализа приведенных форм можно заключить, что у горцев, в частности, у носителей лезгинских языков, многоженство ограничивалось лишь приведением второй жены, на что зачастую толкали жизненные обстоятельства, как правило, бесплодие или болезнь первой жены. Что касается третьей и последующих жен, то для них ни в одном из лезгинских языков специальных названий не прослеживается. Все они, если таковые были, именовались бы только приведенным одним термином, в форме мн. числа: *кьевер*.

Сказанное об анализируемом термине свидетельствует о своеобразном жизненном укладе в горах, где не получил широкого развития институт многоженства. Как известно, в отличие от дагестанских языков в некоторых тюркских и других языках имеет место развитая номенклатура для жен одного мужа. Так, по свидетельству М. Ауэзова, в казахском языке есть несколько названий для жен многоженца — старшая из жен, имеющая больше прав на имущество, а дети ее на наследство, носит имя *байбише* «богатая жена», а самая младшая, почти лишенная этих прав, — *токъал* «младшая жена».

Термин *гуьнуь* будухского, хиналугского и удинского языков скорее всего ареальный тюркизм, известный и в некоторых азербайджанских диалектах (др.-тюрк. *кйпн* «положение одной наложницы по отношению к другой» [13, с. 327]).

Понятие «ятровь» (жены братьев по отношению друг к другу, невестки) передается здесь следующими лексемами: лезг. *кьелид*; таб. *кьелид*; агул.

кьыльд; рут. *седиван*; цах. *кьабджам*; буд. *кьыльд*; крыз. *кьыльд*; уд. *кьылдар*.

По всем лезгинским языкам, за исключением хиналугского и арчинского, где этого слова нет вообще, сохранилась исконная общекорневая лексема, которая, по-видимому, восходит к тюрк. *kelin* «невеста, невестка» [13, с. 296]. Особняком стоит рут. *седиван*, которое предположительно является переосмысленным заимствованием из грузинского (ср. груз. *sidedr-i*, что означает «теща»).

Термин «ятровь» имеет узкий круг употребления, только в отношении жен родных братьев. О посторонних женщинах *кьелид* могут сказать лишь для характеристики их злого нрава или сварливости.

Обозначения свекра и тестя: лезг. *кьужа*, *апай*; таб. *сижар аба*, агул. *шуван дада*; рут. *кьужа*, цах. *хьунашшена дек*; буд. *кьайин ата*; крыз. *кьужа*; хинал. *кьайин ата*; уд. *кьайин баба*; арч. *вакькьад «свекор»*, лезг. *апай*, *йаран буба*; таб. *сиджар аба*; агул. *хьиджар дад*, *сиджар гаг*, рут. *гаг*; цах. *хьунашшена дек*; буд. *кьайин ата*, *сузу ата*; крыз. *кьайин ата*; хинал. *чунчилаь бый*; уд. *кьайин баба*; арч. *вакькьад «тесть»*. Сравнение материала по всем лезгинским языкам, за исключением арчинского, говорит о том, что ни в одном из членов лезгинской языковой группы нет и, по-видимому, не было самостоятельного названия ни для свекра, ни для тестя. Все приведенные названия составляют или прямое заимствование слова с последующим его переосмыслением (ср. *кьужа* «старик»), или описательное выражение, построенное на базе терминов «жена» и «отец» соответствующего языка (таб. *сиджар аба*, цах. *хьунашшена дек* и др.), или комбинацию из исконного и заимствованного слов (буд. *сузу ата*), или, наконец, заимствованное целиком описательное выражение (*кьайин ата*).

Особо следует остановиться на термине *вакькьад*, существующем для обозначения свекра или тестя в арчинском языке. Слово, несомненно, усвоено из аварского языка и по своей структуре является сложным образованием. Первая часть этой лексемы *ва-* содержит в себе окаменелый показатель класса мужчин и передает понятие мужского начала, затем идет корневой латерал *-кьь*, который восходит к глаголу *икьла* «сказать, назвать», представленному в современных андийских языках, и далее — конечный словообразующий суффикс. В целом, таким образом, лексема означает «отец сказанный» или «отец названный»<sup>1</sup>.

В лезгинских языках представлены следующие лексемы для обозначения свекрови и тещи: лезг. *кьари*, *паб*; таб. *сиджар баб*; агул. *сиджар баб*; рут. *кьари*; цах. *хьунашшена йед*; буд. *кьари*; хинал. *кьайин ана*; уд. *кьайна*; арч. *йакькьад «свекровь»*; лезг. *йаран диде*, *кьейинне*; таб. *сиджар баб*; агул. *хьиджар баб*, *сад кар бав*; рут. *кьайнана*; цах. *хьунашшена йед*; буд. *сузу диде*, *кьайнана*; крыз. *кьайнана*; хинал. *кьайнана*; уд. *кьайна*; арч. *йакькьад «теща»*. Относительно этих двух терминов можно сказать приблизительно то же самое, что в отношении обоих предыдущих. Здесь имеют место те же заимствования и комбинации из исконных и заимствованных слов, обозначающих жену и мать. Лишь в ахтынском диалекте лезгинского языка заимствованное *кьари* «старуха» в значении «свекровь» заменяется лезгинским *паб* «женщина (вообще)». Любопытна форма арчинского языка *йакькьад*, которая так же, как предыдущая, является заимствованием из аварского и разлагается на те же элементы, где *йа-* — окаменелый показатель класса женщин и выражает в термине женское начало, женщину. В целом внутренняя форма слова — «мать названная (сказанная)».

Термины «деверь» и «шурин»: лезг. *гьуьлуьн стха*, *хен*; таб. *шуван чви*, агул. *шуван чув*, *шуван чуй*; рут. *выггылды шу*, цах. *симамрай*; буд. *джам шид*; хинал. *мысий цсы*; крыз. *кьайни*, *хьайни*; уд. *севче*, *чевче*

<sup>1</sup> Ср. названия для свекра — тестя, свекрови — тещи в андийских языках, где образование их более прозрачно: *илмакьар* «отец названный (сказанный)», *илмакьар* «мать названная (сказанная)».

«деверь»; лезг. *йаран стха, къейни*, таб. *шивур чви*, агул. *хыран чув, хыран чуй*; рут. *хыдылды чу*; цах. *къайни*; буд. *къайни*; крыз. *къайни*; хинал. *хинимкIури цсы*; уд. *къейни* «шурин». Названия для брата мужа и брата жены построены по тому же принципу, что и приведенные выше обозначения родственников по мужу и жене — это описания при помощи имеющихся в языке названий и заимствований.

Не поддается удовлетворительному анализу форма *хен*, зафиксированная в некоторых диалектах лезгинского языка. Цахурская лексема *симапрай*, несомненно, восходит к груз. *simat'ri* «тесть». Удинские формы *севче, чевче* обнаруживают очевидную связь с уд. *вичи* «брат». Лексема *къейни* (*къайни, къайни, хъейни*), представленная в ряде лезгинских языков, — это обобщенный тюркский термин, обозначающий родственника по браку [12, с. 69] и переосмысленный здесь как название деверя или шурина.

В качестве обозначений золовки и свояченицы по языкам имеем: лезг. *гъуьлуьн вах, балдуз*; таб. *балдуз*; агул. *шуван чи*; рут. *балдыз*; цах. *сидедрай*; буд. *балдуз*; крыз. *балдыз; балдуз*; хинал. *мысий рцы*; уд. *ишу хунчи* «золовка»; лезг. *йаран вах, балдуз*; таб. *балдуз*; агул. *хыран чи, хеведин чи*; рут. *седуван*, цах. *балдыз*; буд. *балдуз, гъедж шидир, джем шидир*; крыз. *балдуз*; хинал. *шавнчил рцы*; уд. *чумгъо хунчи* «свояченица».

Для обозначения сестры мужа и сестры жены в лезгинских языках описательные образования используются реже, чем в предыдущих терминах. Здесь широко функционирует тюркская лексема *балдуз*, которая в этом значении употребляется в казахском, киргизском, татарском, азербайджанском, туркменском и других языках. Интересно, что в некоторых тюркских языках этот термин может передавать родство по браку как по линии мужа, так и по линии жены, т. е. выражать понятия золовки и свояченицы (в каракалпакском и некоторых других тюркских языках он может обозначать и брата жены [12, с. 68]). В лезгинских языках термин *балдуз* означает только золовку или свояченицу.

Цахурская форма *сидедрай* «золовка» и, возможно, рутульская *седуван* «свояченица» восходят к грузинской лексеме *sidedr-i* «тетца».

Термины «отчим» и «мачеха»: лезг. *тахай буба*; таб. *дархи аба*; агул. *даха дад*; рут. *джухуд дид*; цах. *духуна дак*, буд. *угай ада*, крыз. *даьх баьй*; хинал. *тIондаь бый*; уд. *бабалугъ* «отчим»; лезг. *тахай диде*, таб. *дархи баб*; *дархи дада*; агул. *даха баб, даха бав*; рут. *джухуд нин*; цах. *духуна йед*, буд. *угай диде*; крыз. *даьх даьй*; хинал. *тIондаь даьдаь*; уд. *наналугъ* «мачеха».

Обозначения отчима и мачехи, как правило, являются в лезгинских языках также описательными образованиями, где с определяемыми «отец» и «мать» сочетаются определения «неродной», «нерожденный». В будухских формах прилагательное *угай* «неродной» заимствовано из тюркского источника. Представляют интерес обе удинские формы, произведенные от названий отца и матери посредством тюркского суффикса абстрактных имен *-лугъ*. Значение образованных таким путем терминов можно интерпретировать как «отцовство», «материнство», т. е. как «осуществляющие отцовство, материнство, заменяющие отца и мать».

Названия вдовца и вдовы суть здесь следующие: лезг. *хендеда итим, субай*; таб. *гъечIни жилир*, агул. *ашкIин, эшкIин*; рут. *хиндедай*, цах. *синIыри*, буд. *дул фури*; крыз. *хендедай фури*; хинал. *хиндед лыгылды*; уд. *суьпуьр ишу*; арч. *гема бушор* «вдовец»; лезг. *хендеда, хендеде, субай*; таб. *гъечIни шив, шъечIни хпир*; агул. *ашкIин, эшкIин*, рут. *хиндадай*, цах. *синIыри*; буд. *дул гъедж*; крыз. *хендедай хыныб*, хинал. *хиндед хнимкIур*; уд. *суьпуьр чубух*; арч. *гема мIинол* «вдова».

В образовании этих терминов во многих лезгинских языках фигурирует основа *хендед* (*хиндед, хиндад*) «вдова, вдовец», которая в одних языках выступает как самостоятельная лексема, в других — как определение соответственно к компонентам «мужчина» и «женщина». Исконными являются и формы *ашкIин, эшкIин* «вдова, вдовец» агульского языка, и определения *гъечIни* и *гема* «вдова, вдовец» табасаранского и арчинского языков, которые трудно поддаются этимологизации.

В ряде лезгинских языков в качестве названных терминов используются заимствованные основы *субай* «одинокий» (> *сипГыри*, *субпуър* и др.) и *дул*.

В роли обозначений зятя и жениха здесь имеем: лезг. *йезне*, *йазна*; таб. *йазна*, *гийав*; агул. *йезна*, *йазна*, рут. *йазна*; цах. *йезне*, буд. *йазна*, крыз. *хъаммал*, *йазна*, хинал. *йезнаъ*; уд. *йезна*; арч. *дуриц*, *нусттур* «зять», лезг. *ччам*, *бег*, *наврузбег*; таб. *ччам*, *гийав*, *адахлу*; агул. *наврузбег*, *йазна*, рут. *йазна*, цах. *цума*, *цыма*, *сума*; буд. *саърхъин*, *адахлы*; крыз. *саьхъри*, хинал. *бег*, *аргаб*; уд. *бецеци*; арч. *нусттур* «жених».

В качестве названия зятя почти во всех языках лезгинской группы употребляется заимствованная из азербайджанского лексема *йазна*. В табасаранском функционирует и кумыкская основа *гийав*. Факультативную форму крызского языка *хъаммал* можно сблизить с лексемой *гьалмагъ*, *гьалмах* «друг, товарищ», встречающейся в целом ряде других дагестанских языков и имеющей, как полагают, иранскую этимологию (ср. ср.-перс. *hamahl* «сотоварищ» [см. 14]).

Несколько особняком стоит арчинская форма *дуриц*, а параллельная ей форма *нусттур* восходит к распространенной в других дагестанских языках основе *нус* — названию невесты, новобрачной, невестки (см. ниже). Здесь произошло переосмысление последнего в название и для зятя, и для жениха.

Названия жениха по языкам несколько разнообразнее. Сюда входят и заимствованные *бег*, *наврузбег*, *адахлу*, *гийав*, *йазна*, и исконные общекорневые лексемы *ччам* лезгинского и табасаранского языков, *сума*, *цума* — цахурского, и *бецеци* — удинского. Другая исконная лексема — упомянутое выше будухское *саърхъин* и крызское *саьхъри*. Особо стоит факультативная форма хиналугского языка *аргаб*, которая может обозначать здесь и невесту (засватанную девушку).

Термин «свояк» (муж свояченицы и мужья двух сестер) представлен следующими лексемами: лезг. *баджанах*, *баджа*; таб. *баджанах'*, агул. *баджанах'*, *паджинах*; рут. *баджанахъ*, цах. *баджанах*, буд. *балдузджа* *фури*, крыз. *баджанах*, *баьджаьнах*, хинал. *баджанах*, уд. *йезнамух*.

Почти во всех лезгинских языках здесь выступает заимствованное из тюркских языков *баджа*, *баджанах*. Лишь в будухском употребляется описательное образование «муж свояченицы (золовки)». Удинская форма *ейзнамух* состоит из тюрк. *йезна* и тюркского же суф. *-мух* < *-лух* < *-лухъ*, образующего абстрактные имена и участвующего в создании некоторых терминов свойства (ср. «отчим», «мачеха»).

Обозначение пасынка передается словами: лезг. *тахай хва*; таб. *дархи бай*, *дархи баж*; агул. *даха баьГж*, *дахе кГиркI*; рут. *джухуд дух*, цах. *дуноха дех*; буд. *угай гада*, *угай дих*; крыз. *дахай дих*; хинал. *тГондаь ши*; уд. *оьгаь айил*. Как видно из материала, эта лексема образуется во всех лезгинских языках описательно — в основном при помощи элемента «сын», восходящего к глаголу «рождать» > «рожденный» > «родной», и прилагательного «нерожденный, неродной». Лишь в соответствующих наименованиях будухского и удинского языков определение «неродной» оказывается заимствованным из тюркского источника.

Термин «падчерица» представлен: лезг. *тахай руш*; таб. *дархи руш*, агул. *даха руш*, *дахе руж*; рут. *джухуд рыш*, цах. *душуна йиш*; буд. *угай руш*; крыз. *дахай руш*; хинал. *тГондаь рижши*; уд. *оьгаь хинаьр*. Он образован аналогично предыдущему — при помощи исконного первичного слова «дочь, девочка, девушка» и определения «неродной».

Обозначения семьи здесь следующие: лезг. *хизан*, *хазан*; *куьлфет*, таб. *хизан*, *куьлфет*; агул. *хизан*, рут. *хизан*, цах. *хизан*, буд. *аъилаь*, *кулфат*; крыз. *куьфлат*, хинал. *аилаъ*, уд. *куьлфет*, арч. *хали*. Во всех языках, кроме арчинского, представлены заимствованные из арабского, персидского и тюркских языков лексемы. Форма крызского языка метатезирована. Арч. *хали* восходит к понятию «дом» (ср. хотя бы чамал. *хад*).

Термин «женитьба (свадьба)»: лезг. *мехъер*, таб. *шив аГлув*, *сумчир*; агул. *хьир акьуб*, *хьир акьув*; рут. *къари рын*, цах. *хьунашише гьайъи*; буд. *миткер*, крыз. *хьныб хъойунджу*, *митфар*; хинал. *хнимкГир сики-*

рий; уд. *лашко*, арч. *бертин*, *охъ*. В ряде рассматриваемых языков наименование строится описательно — «братъ жену» «делать жену», «приводить жену», причем и определяемое, и определение почти во всех языках оказываются исконными.

В трех лезгинских языках сохранились интересные формы *мехъер* (не из арабско-перс. *mâhr* «приданое, калым»?), *миткер*, *митфар*, в которых выделяется основа *митк* > *митф* и афф. мн. ч. *-ар* (*-ер*). Это слово явно отражает представление о множественности. В будухском языке в нем сохранилась пережиточная форма одного из локативных падежей (*миткерик* «на свадьбе»), уже утраченного и выпавшего из системы склонения. Сюда же, возможно, относится арч. *охъ*, при допущении, что в нем утерян начальный *м*, значение которого трудно определить.

Таким образом, следует отметить, что особенностью номенклатуры родственных отношений по браку в лезгинских языках является многозначность и недифференцированность отдельных терминов, обозначающих ближайших родственников лиц, состоящих в брачном союзе.

Описательный характер образования терминов свойства, наблюдаемый и в ряде других лексем рассматриваемой категории, перекликается с положением Л. Моргана о том, что в системах терминов свойства многих народов имеется большое число описательных названий, образующихся либо на базе основных терминов родства, либо посредством комбинации этих терминов [15]. И в то же время неразличение и недифференцированность большинства терминов свойства наводит на мысль, что они не играли сколько-нибудь важной роли в общем строе терминологии родственных отношений.

Следует, по-видимому, согласиться с мнением, высказанным В. Х. Конджария, которая склонна объяснять многозначность одного и того же термина свойства относительным характером терминов такого рода [16].

Последний термин, на котором мы остановимся в настоящей статье, — название невесты, новобрачной или невестки (снохи), которое представляет определенный интерес в историко-лингвистическом плане.

Эти названия суть следующие: лезг. *свас*, *хъвехъ*, *шваши*, *фис*, *ж°ас*, таб. *ш°уи°*, *сус*; агул. *сус*, рут. *сус*, цах. *сос*, *нишанлы* («невеста до свадьбы»); буд. *суз*, *серхъин* («невеста до свадьбы»), крыз. *сыс*, *сус*, *сакъри* («невеста до свадьбы»); хинал. *цъынас*, *аргаб* («невеста до свадьбы»); уд. *цъынас*, *бин* («невеста до свадьбы»); арч. *нуттур*. Как явствует из этого перечня, доминирующий однокорневой термин (*сус*, *сос*, *суз...*) в лезгинских языках стал обобщающим наименованием любимой девушки-невесты, затем за-сватанной, затем молодой жены (новобрачной) и, наконец, невестки (снохи) — жены сына, брата, дяди и т. д., вплоть до всех дальнейших родственников по крови. Другие термины, обозначающие помолвленную девушку до замужества или новобрачную (в первые месяцы — до рождения ребенка), постепенно перешли из активного словоупотребления в пассивный, а некоторыми лезгинскими языками утрачены вовсе. Функционирующие ныне в будухском и крызском языках основы *серхъин*//*сакъри* являются, как мы видели, и названиями жениха; такова же семантика хинал. *аргаб* и уд. *бин*, *бецци*. Однако во всех четырех названных языках вместе с этими факультативными обозначениями помолвленной девушки до ее свадьбы существует и основной универсальный однокорневой термин, представленный и в остальных лезгинских языках, — *сус* (*свас*, *сос*). Варианты этой лексемы как результат закономерных фонетических соответствий функционируют в диалектах лезгинского и табасаранского языков. Многочисленные диалектные формы лезгинского слова объясняются различными соответствиями здесь между свистящими и шипящими спирантами, вплоть до денто-лабиализованного *ж°*, представленного в его отдаленном фийском диалекте [6, с. 75, 281, 288]. Все они предполагают исторически корневое *с*. Форму с денто-лабиализованным *ш°*, присутствующую в диалектах табасаранского языка, А. А. Магометов считает одним из звеньев этой цепи звукосоответствий [17]. Единая основа этого термина выступает и в других дагестанских языках и имеет своим общим знамена-



телем форму *нус*, которая совпадает с корнем [З, с. 132]. Из совокупности лезгинских языков именно эта основа зарегистрирована в хиналугском, удинском и арчинском языках. Начальные компоненты *цIи-(цIы-)* форм первых двух языков представляют собой элемент «новый» с общедагестанским корневым согласным *цI*, который составляет дополнительную характеристику основного термина. Конечный элемент *-ттур* арчинской формы является словообразующим аффиксом названий существ женского пола.

На этом анализ термина можно было бы закончить. Однако, на наш взгляд, интерес, представляемый данной лексемой, явно выходит за рамки изучения дагестанских и в целом иберийско-кавказских языков.

Как известно, во многих индоевропейских языках термин «сноха, невестка» имеет следующие формы: лат. *nurus*, др.-инд. *snuša*, арм. *ни*, др.-в.-нем. *snig* и др. Отсюда праиндоевропейская *\*snuso-s*, которая отдельными исследователями возводится к и.-е. *\*snus* «сын» (сноха = жена сына) [18]. Приведенная основа выявляет несомненную материальную общность с основой, представленной и в дагестанских языках. Широко распространенная здесь основа *нус* функционирует и в ряде других языков иберийско-кавказской семьи: ср. чечен. *нус*, инг. *нус*, чан. *нуса*, мегр. *носа*, туш. *нус*, адыг. *нысэ* и др.

Этимологизируя в осетинском языке термин *nostæ*, В. И. Абаев приходит к заключению, что «созвучие кавказских и индоевропейских названий снохи, невестки не случайно, а основано на древних кавказско-индоевропейских связях» [8, II, с. 190]. В чем же выражались эти связи — в заимствовании или в более глубоких отношениях, ведущих, в отдельных случаях к общим процессам образования некоторых языковых категорий? И, наконец, собирательность и обобщенный характер термина «невестка, сноха» и ряда других терминов свойства дает основание подтвердить на материале дагестанских языков вывод Ф. П. Филина о терминах родственных отношений в древнерусском литературном языке: «Древнерусская терминология родства в количественном отношении богаче и разнообразнее той, которая имеется в современном русском литературном языке. В дальнейшем своем развитии она теряет целый ряд первичных и производных своих элементов, которые заменяются или обобщающими названиями, или новыми словами, созданными по принципу чистой описательности (например, теперь мало кто употребляет такие обычные в недалеком прошлом слова, как *деверь*, *шурин*, а говорит *брат мужа*, *брат жены*)» [19]. Добавим к сказанному, что в современном русском языке совершенно утрачен термин «ятровь, ятровка» (жена брата мужа, невестка), которого не находим даже в толковом словаре С. И. Ожегова 1973 г. издания. Очень редко употребляется в отношении к названию мужей родных сестер термин «своаяк, свояки», почти как архаизмы воспринимается и целый ряд других терминов родственных отношений по браку.

Аналогичная картина наблюдается и в дагестанских языках, в частности, в языках лезгинской группы. Совершенно вышел из употребления, сохранившись лишь в устойчивых словосочетаниях и идиомах, термин для названия второй жены одного мужа. Следует отметить, что почти во всех лезгинских языках наблюдается тенденция к замене названий мужа и жены тюркским *юлдаш* «спутник, товарищ». Последнее слово расширило свою семантику и перешло на обозначение супругов. Показательно, что эти функции выполняет именно термин, подчеркивающий нынешние равноправные взаимоотношения супругов в семье.

На пути перехода из активного словаря в архаизмы находятся такие термины, как *кьелид*, *кьелидар* «ятрови», *хен* «деверь», многочисленные дифференцированные названия для невесты и жениха до сватовства, после сватовства, до свадьбы, после свадьбы и т. д. Последние слились в единое универсальное *сус* (*сос*, *свас*), связываемое нами с общедагестанским *нус*, передающим понятие невестки (вообще) и *йазна* зятя (вообще) и др. Резюмируя сказанное, естественно прийти к заключению, что вместе с распадом исторической большой семьи и созданием индивидуальной семьи, где родственники не живут и не могут жить совместно (в частности, вести

одно хозяйство), сокращаются повседневные контакты между родственниками по свойству, а вместе с тем и необходимость функционирования соответствующих терминов. Последние постепенно теряют свою конкретную дифференцированность и приобретают более широкую семантическую характеристику. В этом процессе будущее остается за более обобщенными терминами.

Таким образом, язык отражает изменения, происшедшие в жизни его носителей, — номенклатура родства в данном случае все более приходит в соответствие с нормами современной семьи.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства. — *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 21, с. 47.
2. *Штернберг Л. Я.* Семья и род у народов Северо-Восточной Азии. Л., 1938, с. 72.
3. Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков. М., 1971.
4. *Панек Л. Б.* О некоторых терминах родства и грамматических классах в дагестанских языках. — В кн.: Языки Дагестана. Вып. II. Махачкала, 1954.
5. *Шавелишвили Б. А.* Термины родства в нахских языках: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1978.
6. *Мейланова У. А.* Очерки лезгинской диалектологии. М., 1964.
7. *Мейланова У. А.* Отражение грамматического класса в именах существительных дагестанских языков. — Уч. зап. ИИЯЛ Даг. ФАН СССР. Т. XIII. Махачкала, 1963.
8. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М., 1958; Т. II. Л., 1973.
9. *Талибов Б. Б.* Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980, с. 315—324.
10. *Бокарев Е. А.* Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков. Махачкала, 1961, с. 59—60.
11. *Джейранишвили Е. Ф.* Случай *pluralia tantum* в удинском языке. — ИКЯ, 1948, т. II.
12. Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961.
13. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
14. *Виноградова О. И.* Древние лексические заимствования в дагестанских языках: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982, с. 9.
15. *Морган Л.* Древнее общество. Л., 1934, с. 222.
16. *Конджария В. Х.* Термины родства и семейных отношений в абхазско-абазинских диалектах. — ИКЯ, 1975, т. II, с. 112.
17. *Магомедов А. А.* Табасаранский язык. Тбилиси, 1965, с. 55—57.
18. *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства. М., 1959, с. 131.
19. *Филин Ф. П.* О терминах родства и родственных отношений в древнерусском литературном языке. — Язык и мышление. Т. XI. М.— Л., 1948, с. 330.

ОНИПЕНКО Н. К. •

О СУБЪЕКТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ КАУЗАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В теории членов предложения со времен Ф. И. Буслаева выделяют обстоятельство причины. «Это обстоятельства, обозначающие причину или основание действия либо причину возникновения признака, выражаются наречиями причины, косвенными падежами существительных, фразеологическими сочетаниями» [1]. Однако это и подобные ему определения (ср., например, определение обстоятельственных детерминантов в Грамматике-80 [2]) не отражают всей сложности тех языковых явлений, которые объединяют под общей рубрикой обстоятельств причины. Еще в работах 50—60-х годов, когда в русистике наблюдалось усиление интереса к способам выражения причинно-следственных отношений<sup>1</sup>, отмечались сложность и необходимость дифференциации обстоятельств причины, что закрепилось в оппозиции терминов «причина внешняя» — «причина внутренняя»<sup>2</sup>. Имелось в виду разграничение (а) причины как принадлежащего субъекту предложения качества, свойства и (б) причины как внешнего события. Ср. примеры:

(а) «Он поймал себя на мысли, что месяц назад он не сделал бы этого не из робости, а попросту из отсутствия любопытства к людям» (К. Паустовский, Черное море); «Я хочу предупредить о том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе» (Л. Н. Толстой, Анна Каренина).

(б) «Там неловкими от холода пальцами Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты» (А. Н. Толстой, Хождение по мукам); «Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению» (Ф. М. Достоевский, Бесы); «Я не могу, хоть самому смешно, /Из-за какой-то волноваться кляксы» (Л. Мартынов, Утешитель).

Но деление предложений, выражающих причинно-следственные отношения между двумя (или более) событиями, по признаку внутреннего/внешнего причинения, ограниченное рамками теории членов предложения (которая «выстраивает все отношения к одну шеренгу» [7, с. 277]), не объясняло структуры многих каузативных конструкций (как теперь называют предложения, выражающие причинно-следственные отношения [8, с. 6—7]). В это деление не укладываются предложения типа *Она ругала сына за неаккуратность; Его уволили по старости; За прогул вызвали в школу отца* [9].

Вследствие определенной узости теории членов предложения ее терминологическая система порождает формулировки, неадекватно представляющие анализируемый языковой материал, см., например: «„по плюс дат. п.“ означает внутреннее основание действия (Да и с дьяком случилась история по ошибке. — Горьк.)» [10, с. 292]; «„по + дат. п.“ — внутреннее логическое основание — *готов убить по глупости*» [11]; «„из + род.“ стала обозначать внутреннюю, осознанную субъектом причину его действия, заложенную в нем самом» [10, с. 380].

Но материал «восстает», опровергает эти формулировки: ни *ошибка*, ни *глупость* не могут быть «внутренним основанием действия», так же

<sup>1</sup> В эти годы появилось несколько диссертационных исследований, см., например, [3—5].

<sup>2</sup> «Под термином „внутренняя причина“ нужно понимать только то, что причиной действия являются чувства, психическое состояние лица, а под термином „внешняя причина“ — только то, что причиной, вызывающей действие, являются предметы и явления окружающей действительности» [6].

как и *вредность характера, каприз, кокетство* (из *вредности, из каприза, из кокетства*) не могут быть «внутренней осознанной субъектом причиной»; *ошибка, глупость, вредность* и т. п. — слова оценочной семантики, которые могут принадлежать только тому, кто воспринимает и познает каузативную ситуацию<sup>3</sup>. Таким образом, термин «внутренняя причина» ограничивает возможность увидеть важный аспект каузативных конструкций — их непосредственную связь с познающим причинно-следственные отношения и говорящим об этом<sup>4</sup>, с его положением во времени и пространстве, с его жизненным опытом, его морально-этическими установками, т. е. с его точкой зрения.

Проблема «точки зрения» разрабатывается как в теории художественной литературы<sup>5</sup>, так и в лингвистических исследованиях<sup>6</sup>. Роли «точки зрения» в структуре художественного текста посвящена книга Б. А. Успенского «Поэтика композиции», в которой автор убедительно доказывает, что «структуру художественного текста можно описать, если исследовать различные точки зрения, то есть авторские позиции, с которых ведется повествование (описание), и исследовать отношение между ними (определить их совместимость или несовместимость, возможные переходы от одной точки зрения к другой, что в свою очередь связано с рассмотрением функции использования той или иной точки зрения в тексте)» [17, с. 10—11]. Способность человека «представлять себя смотрящим на мир глазами другого человека или с его точки зрения» оказывает существенное влияние на «использование языка» [15, с. 313], чем и объясняется особый интерес лингвистики к этой проблеме.

Б. А. Успенский указывает, что лингвистические средства выражения точки зрения<sup>7</sup> используются автором текста для двух целей: «для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки» (с этой функцией связана проблема «языковой личности». — *О. Н.*), и «для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, которая используется им при повествовании» [17, с. 25—26]. При этом для литературоведа наиболее важным оказывается «образ автора» (объективный наблюдатель, рассказчик, или автор сказа, и герой-рассказчик в «Ich-Erzählung») и его связь с точками зрения героев его произведения; литературовед выстраивает иерархию точек зрения «сверху вниз», от целого к его компонентам. Лингвист же подходит к тому же материалу с противоположной стороны, «снизу вверх», от части к целому, от предложения к тексту<sup>8</sup>. Таким образом, перед нами два подхода к слову в художественном тексте, две задачи: первая — доказать, что не все слова данного произведения «принадлежат» автору его; вторая — доказать, что не все слова

<sup>3</sup> Каузативной ситуацией называют минимальное звено причинно-следственной цепи, которое состоит из двух событий, связанных отношениями причинения [8, с. 6—7].

<sup>4</sup> Ниже будут рассмотрены предложения, в которых говорящий и познающий (воспринимающий) каузативную ситуацию совпадают в одном лице.

<sup>5</sup> В. В. Виноградов отмечает важность этой проблемы при исследовании «образа автора» в сказовой литературе [12, с. 84—166], М. М. Бахтин решает проблему «точки зрения» на материале полифонического романа [13], Ю. М. Лотман рассматривает «точку зрения» как определенный способ «ориентированности художественного пространства» [14].

<sup>6</sup> См., например, о понятии эмпатии в работах У. Чейфа [15, с. 313] и В. З. Демьянкова [16].

<sup>7</sup> «Точка зрения» может иметь специальные средства выражения: модальные слова, оценочные прилагательные. Однако и другие средства языка, другие его категории определенным образом отражают точку зрения говорящего, ср., например, рассуждение Ю. Д. Апресяна по поводу видового противопоставления глаголов *кончалась* — *кончилась*: «*В те времена дорога кончалась около леса* — в порядке представления объективной действительности, то есть независимо от того, мыслим ли мы кого-нибудь идущим или едущим по дороге или нет...». Изменение глагольного вида «*Дорога кончалась около леса* сразу вводит в нее (в общую картину. — *О. Н.*) фигуру наблюдателя» [18, с. 8—9].

<sup>8</sup> На два возможных способа анализа художественного текста указывает В. В. Виноградов [12, с. 226—227]. См. также рассуждение Ю. С. Степанова о двух основных значениях слова «субъект» и о преодолении прагматикой пропасти между этими значениями [19].

данной синтаксической конструкции «принадлежат» ее субъекту, т. е. что не все слова связаны с точкой зрения субъекта-деятеля (агенса). Отсюда возникает проблема «субъектной перспективы предложения» [7, с. 276] (шире — субъектной перспективы текста).

Глагольные каузативные конструкции, простые предложения с предложно-падежными способами выражения причинно-следственных отношений, сложные предложения с придаточными причины и следствия являются различными способами представления каузативной ситуации. Выбор одного из способов выражения каузативных отношений определяется точкой зрения говорящего (автора высказывания)<sup>9</sup>, именно поэтому исследование природы каузативных конструкций неразрывно связано с решением проблемы «субъектной перспективы предложения». В субъектной перспективе каузативных конструкций можно различать: (а) субъекта (субъекта действия, субъекта состояния и т. д.) исходной (неосложненной, монопредикативной) модели предложения, (б) субъекта-каузатора, (в) субъекта, познающего каузативную ситуацию, или субъекта оценивающего, и (г) субъекта-говорящего, автора высказывания<sup>10</sup>. См., например: *Она, по-видимому, не знала, что муж поехал по приказу начальства* — (а) муж поехал, (б) начальство приказало, (в) она не знала этого, (г) я думаю (что она не знала этого). Иногда все типы субъектов совпадают в одном лице: *По рассеянности я взял не ту книгу* (в упрощенном виде это можно представить так: я взял, я рассеянный, я считаю, что сделал так по рассеянности, и я говорю об этом).

При учете общей иерархии субъектов оказывается возможным более точно, последовательно разграничить каузативные конструкции по характеру причинения. Если субъект-деятель (а) и субъект-каузатор (б) совпадают в одном лице, то данные каузативные конструкции односубъектные (1); если субъект (а) и субъект (б) не совпадают в одном лице, то это двусубъектные (или полисубъектные) каузативные конструкции (2), см., например:

(1) «...а ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась *по великой своей неделикатности*» (Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы); *«Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад — из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. А ты что сделал из любви к девушке? — Я отказался от нее»* (Е. Шварц, Обыкновенное чудо); *«Буржуазные газеты захлебывались от восторга»* (Ю. Кларов, Розыск).

(2) *«Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак»* (А. Н. Толстой, Хождение по мукам); *«От солнца, от света звенит голова»* (Э. Багрицкий, Стихи о соловье и поэте); *«Поругивал февраль/за ветер и за слякоть»* (Г. Корин, На Московской окружной дороге); *«Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь поправить»* (В. Шукшин, Беседы при ясной луне).

Непосредственная связь каузативной конструкции с субъектом оценивающим (а здесь и говорящим) вытекает из самого характера отношений причинения: это — логические отношения, т. е. отношения, устанавливаемые логически мыслящим субъектом, отношения как результат оценки всех компонентов данной каузативной ситуации.

---

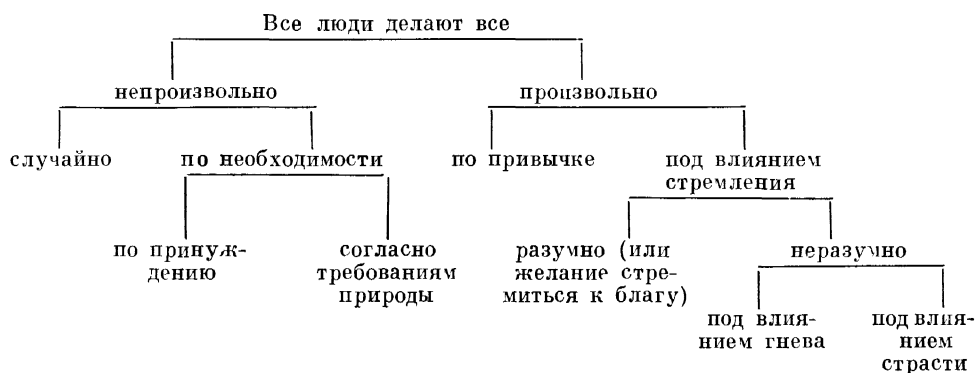
<sup>9</sup> Глагольные каузативные конструкции — своеобразная фотография каузативной ситуации, т. к. перед нами — сам процесс причинения (*Мальчик поит лошадей* — Мальчик дает возможность лошадям утолить жажду), от причины к следствию; предложения типа *Она промолчала из вежливости* представляют процесс познания отношений причинения, от известного следствия к неизвестной причине; сложные предложения как каузативные конструкции полифункциональны: кроме уже названных функций сложное предложение может выражать обоснование логического вывода, т. е. причинно-следственные отношения между двумя высказываниями (*Ты не можешь этого знать: тебя тогда в Москве не было*).

<sup>10</sup> «Я» говорящего — это высшая ступень в иерархии субъектов: «Индивидуальность, которую система языка скрывает под именем „человек“, имеет полюс, индивидуальность в высшей степени — „Я“ самого говорящего, и язык постоянно оперирует этим полюсом как мерой индивидуальности имен, субъектов предложений и, соответственно, их предикатов» [20].

Говорящий, автор высказывания, познавая окружающую его действительность, оценивая ее, устанавливая связи между событиями и явлениями, воплощает свои знания в особого рода высказывания — каузативные конструкции — в зависимости от способа представления каузативной ситуации: перспективные — от причины к следствию (*Его появление вызвало общий смех*) — и ретроспективные<sup>11</sup> — от следствия к причине (*Она не пришла из-за болезни брата*). Последние и являются предметом данного исследования.

Наиболее сложным и интересным оказывается тот тип ретроспективных каузативных конструкций, в которых говорящий сообщает о субъекте, способном к логическому мышлению: в этой речевой ситуации можно выделить точку зрения действующего субъекта и точку зрения субъекта познающего-говорящего и тем самым более точно определить специфику именных средств каузации — предложно-падежных форм со значением причины, или именных каузативных синтаксем [22, с. 39—83].

Опыт типологии причин человеческих поступков был предпринят еще Аристотелем в его «Риторике» [23, с. 49]. Комментаторы Аристотеля представили эту классификацию следующим образом [23, с. 298]:



Эта схема наглядно показывает нам ход рассуждений Аристотеля. Однако комментаторы не обратили внимания на одну особенность, которая важна с точки зрения наших задач: они заменили первую фразу рассуждения о причинах «Все люди делают одно непроизвольно, другое произвольно...» на «Все люди делают все...». Таким образом, принципиальное положение об однозначном соответствии характера следствия (поступка) и характера причины оказалось неучтенным. Но то, чего не учли комментаторы Аристотеля, должен учитывать и учитывает каждый носитель языка, каждый говорящий, высказывающий суждение по поводу познанных им причинно-следственных отношений.

Если принять во внимание тот факт, что оценка любого поступка во многом субъективна, т. е. зависит от точки зрения говорящего, то и действие (состояние, качество), выраженное в исходной (неосложненной) модели предложения, может быть по-разному оценено с разных точек зрения, тем самым модель может представлять разного типа следствия, порожденные разного рода причинами. Отсюда напрашивается вывод о том, что на базе одной модели предложения можно образовать несколько различных каузативных конструкций.

Ниже будет сделана попытка доказать этот тезис на материале двух именных каузативных синтаксем: *из + род. п.* (*из гордости, из ревности, из солидарности*) и *по + дат. п.* (*по рассеянности, по ошибке, по глупости*). Каузативные конструкции с этими синтаксемами будут рассмотрены в их непосредственной связи с точкой зрения говорящего, познающего

<sup>11</sup> Иногда подобные высказывания называют «инверсивными каузативными конструкциями» [8, с. 15]. Однако задолго до появления этих терминов для подобных конструкций употреблялось слово «мотивировка»: «Предлог *от* (с род. п.) обозначает и внешнюю, и внутреннюю мотивировку качества или действия — обоснование чего-нибудь как следствия, ссылкой на какое-нибудь явление или действие, послужившее причиной...» [21].

данные причинно-следственные отношения, что позволит восстановить субъектную перспективу этих конструкций.

Выбранные для анализа именные каузативные синтаксемы во многом отличаются друг от друга:

1) Они образованы на базе разных по своим синтаксическим возможностям предложно-падежных форм. Если *из + род. п.* дает только односубъектные каузативные конструкции, то *по + дат. п.* образует как односубъектные, так и двусубъектные каузативные конструкции:

*из + род. п.* (односубъектные каузативные конструкции): «...вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его *из тщеславия*» (Ф. М. Достоевский, Бесы); «Вера Никандровна улыбнулась только *из деликатности*» (К. Федин, Необыкновенное лето); «И только через минуту похлопали *из вежливости*» (Ю. Бондарев, Берег); «...многие пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями, *из ложной стыдливости* не обратились к проктологу» (Здоровье, 1983, № 9);

*по + дат. п.* (односубъектные каузативные конструкции): «Ты не думай, что я *по глупости* сейчас сбрендила; я понимаю, что говорю» (Ф. М. Достоевский, Бесы); «Галя *по близорукости* не заметила моего исчезновения» (К. Паустовский, Повесть о жизни); «Веденеев *по молодости лет* почти не был знаком с китайской классикой» (А. и Б. Стругацкие, Шесть спичек); «...и со скоростью мысли он передвигался только *по рассеянности* и выпивши» (В. Орлов, Альтист Данилов);

*по + дат. п.* (двусубъектные каузативные конструкции): «...все бытие было создано лишь *по эвклидовой геометрии*» (Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы); «...Живем *по общепринятым законам*» (С. Ковалевский, Мы оживляем прошлое с трудом...); «Но вот артистом никогда не стану, /раз *по команде* не сумел упасть» (И. Рыбинский, Снимали бой); «...старички..., *по давней никольской традиции* привыкли надевать на работу и в баню что похуже» (В. Орлов, Происшествие в Никольском).

Если *из + род. п.* образует только одну каузативную синтаксему (*из вежливости, из тщеславия, из самолюбия, из великодушия* и т. п.), то *по + дат. п.* образует несколько синтаксем, выражающих причину. Обладая одинаковой морфологической формой, синтаксемы различаются категориальной семантикой имени и набором синтаксических функций, возможных для каждой из синтаксем *по + дат. п.*: (а) *по приказу директора, по совету родственников, по договору, по закону*, которые образуют двусубъектные каузативные конструкции; эти синтаксемы располагают наиболее широкими синтаксическими возможностями, и поэтому их относят к свободным<sup>12</sup>; (б) *по забывчивости, по недоразумению, по неосторожности*, свободные, образующие односубъектные каузативные конструкции; (в) связанные синтаксемы в словосочетаниях с глаголами *тосковать, грустить, плакать по кому-либо, чему-либо* (отсутствие объекта каузирует чувства субъекта); (г) обусловленные синтаксемы в моделях со значением каузации информации с глаголами *знать, узнавать, понять, почувствовать по глазам, улыбке, по одежде* (наличие признака каузирует информацию).

2) Несмотря на то, что обе выбранные для сопоставления именные каузативные синтаксемы образуют односубъектные каузативные конструкции на базе одной и той же первичной модели — «субъект (агенса) и его действие», полученные при этом предложения выражают две разные каузативные ситуации, т. е. являются разными по типу каузативными конструкциями. Специфику же каждой из них можно выявить только с учетом точки зрения автора высказывания, с учетом субъектной перспективы этих предложений. Так вводится еще один субъект, тот, который не назван (т. к. находится вне данной каузативной ситуации), но который познает и, как правило, сообщает, а следовательно, определенным образом отражает себя в своем речевом произведении. Попробуем показать это на одном примере: «Старуха не заперла за ним, может быть, *из осторожности*» (Ф. М. Достоевский, Преступление и наказание).

<sup>12</sup> О делении синтаксем (тогда еще «синтаксических форм слова») см. [7, с. 30—420].

Автор высказывания (Раскольников) видит отворенную дверь, он приходит в ужас, ведь могут быть свидетели его преступления (кроме мертвой Лизаветы). Он начинает судорожно вспоминать, кто мог открыть дверь. Старуха! Но почему? Раскольников знал, что старуха-процентщица всегда запирает дверь, она никогда не забывает о двери: она жадна, и поэтому с подозрением относится к каждому входящему в эту дверь. Значит, не запереть *по рассеянности (по забывчивости)* она не могла. Скорее всего, она умышленно оставила дверь открытой. Так Раскольников (субъект мыслящий) оценивает следствие как целенаправленное действие субъекта-агенса. Непосредственной причиной этого действия в сложившейся ситуации (каузативной ситуации) может быть только целевая установка субъекта агенса: иметь возможность позвать на помощь или иметь путь к отступлению. Наличие этой целевой установки («Надо бы не запереть, а то мало ли что...») оценивается как проявление *осторожности*, как стремление оградить себя от опасности, т. е. быть *осторожным*. Но проявлять осторожность может только тот человек, которому присуща эта осторожность, для которого она является одной из черт характера. Однако это не значит, что *из + род. п.* выражает «активное выявление»<sup>13</sup> некоторого качества, присущего субъекту-агенту (для старухи слишком сложны рассуждения типа «Я осторожна, сейчас самое время проявить эту осторожность, поэтому надо действовать...»). Таким образом, *из осторожности*, так же как и *из тщеславия, из деликатности, из вежливости, из честолюбия, из благодарности, из преданности, из солидарности* и т. п., — это причина-оценка, причина, выявленная с точки зрения говорящего. Но если все-таки предположить, что субъект-деятель (агенса) осознавал необходимость быть деликатным, вежливым, благодарным и т. п., то вряд ли он мог действовать целенаправленно, видя в основе своих поступков «*грубое любопытство*» (Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы), «*фальшивую скромность*» (Н. Г. Чернышевский, Что делать?), либо считая для себя необходимым быть *тщеславным, вредным, злым, корыстным* и т. п.

Каузативная конструкция «субъект-агенса и его каузированное целенаправленное действие», образованная каузативной синтаксемой *из + + род. п.* на базе исходной модели «субъект-агенса и его действие», выражает оценку всей каузативной ситуации в целом: причиной действия оказывается определенная целевая установка агенса, наличие этой установки (этой целевой направленности) объясняется говорящим как проявление определенного (положительного или отрицательного) качества субъекта, как проявление его отношения к окружающей действительности. Каузированное действие вполне соответствует целевой направленности субъекта-деятеля, поэтому для него оказывается несущественной прагматическая окраска его действия, это действие с точки зрения самого агенса не снабжается ни знаком +, ни знаком —. Оценочные признаки «хорошо/плохо» [25, с. 273—294] приписывает следствию (а потом и причине) говорящий, автор высказывания, см., например:

(+) «Старый Берестов ... молчал *из вежливости*» (А. С. Пушкин, Повести Белкина); «Из деликатности они соглашались признать за нею права собственности» (Ф. М. Достоевский, Бесы); «Сделал он так явно *из уважения к Толику*» (Г. Троепольский, Белый Бим Черное ухо).

(—) и «Она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, *из покорности к маменьке*» (М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени); «Брат Иван и Миусов приедут *из любопытства*, может быть *самого грубого*» (Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы); «Она боялась, чтобы дочь *из излишней честности* не отказала бы Вронскому» (Л. Н. Толстой, Анна Каренина), «А тут еще голод. *Из издевательства* ведь голод, не по нужде» (К. Федин, Необыкновенное лето).

Интересно, что существительные типа *неосторожность, неделикатность, беспорядочность, беспринципность* и т. п. не образуют синтаксемы *из + род. п.*, поскольку они не могут выражать причину контроли-

<sup>13</sup> О подобном толковании семантики *из + род. п.* см. подробнее [24].



руемого сознанием субъекта (агенса) действия, они обозначают качества, которые не могут служить основой осознанной целевой установки деятеля, не могут давать следствий, соответствующих намерениям субъекта. Говорящий (или воспринимающий, познающий), оценив следствие как целенаправленное действие, соответствующее целевой установке субъекта-агенса, понимает, что причиной подобного рода следствий является активное качество субъекта или его отношение к окружающим, то качество, чувство, отношение, которое проявляется в активных действиях (независимо от прагматического показателя «хорошо/плохо»). Отсутствие же в характере субъекта-агенса активных качеств приводит к иным следствиям, возникают иные каузативные ситуации, требующие иных средств языкового выражения, см., например: «последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, *по несходству характеров...*» (Ф. М. Достоевский, Бесы); «После обеда, *по свойственной всем студентам благоглупости*, я, сытый и довольный, запрыгал за спиной Билибина и показал ему язык, не соображая того, что он... видел мой фортель...» (А. П. Чехов, Из письма В. В. Билибину от 11 марта 1886 г.); «Бланки не были своевременно изъяты из обращения *по халатности* одного из офицеров штаба» (В. Богомолов, В августе сорок четвертого); «Он был обижен... на батьку Махно, убившего *по своей глупости и политической безграмотности* атамана Григорьева...» (Ю. Кларов, Розыск); «В войне он *по молодости* не участвовал» (А. и Б. Стругацкие, Извне).

Здесь, так же как и в предложениях с *из + род. п.*, все решает говорящий: он, рассмотрев все компоненты каузативной ситуации (субъект-агенса и его каузированное действие или состояние + некоторая причина), оценивает следствие как непредвиденное деятели, неожиданное для него (субъекта-агенса), нежелательное или заслуживающее снисхождения. Причиной же оказывается определенное (как правило, негативное или снисходительно оцениваемое говорящим) качество субъекта или его промах в выборе цели: *по неосторожности, по невнимательности, по неосмотрительности, по недомыслию, по глупости, по дурости, по наивности, по ошибке* и т. п.

Таким образом, выбор именной каузативной синтаксемы обусловлен оценкой следствия с точки зрения говорящего<sup>14</sup>. Следствия разного рода не могут быть порождены однородными причинами, между типом следствия и типом причины существует однозначное соответствие. Устанавливает же это соответствие говорящий, автор высказывания. Его точка зрения определяет тип каузативной ситуации, а следовательно, и тип каузативной конструкции. Рассматриваемые два типа каузативных конструкций различаются не только именными каузативными синтаксемами и общей семантикой каузативной ситуации, но и объемом временной и модальной парадигмы, возможным для каждой из каузативных конструкций: в предложениях с *по + дат. п.* глагол, как правило, стоит в прошедшем времени, для них невозможны большинство модальных и экспрессивных модификаций (например, побудительные предложения), которые свободно образуются на базе каузативных конструкций с *из + род. п.* См., например: «Если я осмеливаюсь беспокоить вас, то именно *из чувства раскаяния*» (А. П. Чехов, Смерть чиновника); «Следовало бы,... несмотря ни на какие идеи, единственно *из простой вежливости*, подойти и благословиться у старца...» (Ф. М. Достоевский, Братья Карамазовы); «О! выслушай — *из сожаленья!*» (М. Ю. Лермонтов, Демон); «Да хоть *из любопытства* прочтите» (И. А. Гончаров, Обломов); «Так станем же запомним *Из набожности* пить» (Ф. И. Тютчев, Противника вина).

При этом невозможны предложения типа \**Я расскажу эту историю по глупости*, \**Семен поставит сапоги в 64-й номер по ошибке*, \**Сходи туда по недоразумению, по рассеянности, по неосторожности*, что объясняется

<sup>14</sup> На важность семантики следственного компонента указывает в своей статье Т. А. Яценко: «При изучении выражения причины осознанного действия слушатели еще раз убеждаются, что семантика следственного компонента определяет выбор именной группы» [26].

семантикой каузативных конструкций с *по + дат. п.* — они выражают причинение непредвиденного следствия.

Сопоставление (вернее, противопоставление) именных каузативных синтаксем *из + род. п.* и *по + дат. п.* позволяет выявить определенную общность этих синтаксем (в пределах системы именных каузативных синтаксем): их непосредственную связь с точкой зрения говорящего, которая выражается не только в отборе каузативных конструкций для выражения данной каузативной ситуации, но и в категориальной семантике имен, образующих каждую из рассматриваемых синтаксем.

Синтаксему *из + род. п.* образуют следующие имена отвлеченной семантики<sup>15</sup>: *аккуратность, алчность, бдительность, благоговение, благодарность, благородство, брезгливость, вежливость, великодушие, верность, вредность, гордость, деликатность, дерзость, дружелюбие, жalousь, зависть, застенчивость, злобность, интеллигентность, интерес, каприз, кокетство, корысть, любознательность, любопытство, любовь, милость, мнительность, нахальство, ненависть, непокорство, осмотрительность, осторожность, отвращение, подобострастие, подозрительность, порядочность, преданность, почтительность, признательность, расположение, ревность, самолюбие, симпатия, скромность, солидарность, сочувствие, трусость, упрямство, хитрость, честность, чуждость, щедрость* и др.

Синтаксему *по + дат. п.* образуют следующие имена отвлеченной семантики: *безграмотность, безалаберность, беспорядочность, беспечность, близорукость, болезнь, доброта, глупость, жадность, забывчивость, застенчивость, легкомыслие, лень, малодушие* и др.<sup>16</sup>

Несмотря на то, что именные каузативные синтаксемы *из + род. п.* и *по + дат. п.* определенным образом распределили между собой имена (*из + род. п.* — «активный признак», *по + дат. п.* — отсутствие «активного признака»), все существительные, образующие данные синтаксемы, принадлежат к классу оценочных имен, где оценка, или проекция на ось «плохо — хорошо», включается в семантику единицы в целом [25, с. 275], т. е. принадлежат к классу слов, которые могут быть произнесены только субъектом воспринимающим, только тем, кто познает окружающую действительность.

Таким образом, рассмотренные выше каузативные конструкции позволяют увидеть определенную дистанцию между точкой зрения субъекта действующего (агенса) и субъекта мыслящего и говорящего. Именно это расстояние позволяет говорящему охватить взглядом всю каузативную ситуацию, взглянуть на нее со стороны. Это расстояние сохраняется и в рассуждениях о своих собственных поступках (в «Ich-Erzählung») в подобной ситуации не говорящий встает на точку зрения субъекта-деятеля, а субъект «поднимается» до говорящего; однако дистанция между «Я» действующим и «Я» говорящим сохраняется<sup>17</sup>. Поэтому не стоит употреблять термин «самооценка» в том смысле, как это понимает Т. А. Яценко: в сочетаниях типа «рассказать о своих успехах из тщеславия, из заносчивости» она усматривает значение «завышенной самооценки» [29]. Предположим, что кто-то говорит о своих успехах, желая показать свое превосходство, и это оценивается говорящим как проявление тщеславия, заносчивости, слишком высокого мнения о себе, или «завышенной самооценки». Но ведь «завышенность» эту видит говорящий, а не сам субъект, более того, может быть, никакой «завышенной самооценки» и нет: просто человеку хотелось поделиться своей радостью, говорящий же в силу какой-то предубежденности видит (или хочет видеть) в нем то, чего нет. А потому причинно-следственные отношения, установленные одним субъектом (воспринимающим), всегда могут быть

<sup>15</sup> В русском языке XX в. предлоги *по* и *из* в сочетании с предметными именами не образуют каузативных синтаксем, дающих односубъектные каузативные конструкции (*по + дат. п.* предметного имени образуют двусубъектные: *тосковать по книгам, почитать по сапогам*).

<sup>16</sup> Более полный список имен, образующих синтаксему *по + дат. п.*, см. в книге В. А. Ицковича [27].

<sup>17</sup> О расхождении авторского «Я» см. в статье В. З. Демьянкова [28].

опровергнуты другим субъектом (говорящим), см., например, два отрывка из романа Ф. М. Достоевского «Бесы»: «...вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его *из тщеславия*» и «...но он одного только в ней не приметил..., что она держит и содержит его *вовсе не из одной только «зависти к его талантам»*».

Находясь вне событий и «используя свою вневременность для окончательного осмысления» [13, с. 82], говорящий оценивает каузативную ситуацию. Если автор высказывания осознает субъективность своей оценки, т. е. осознает дистанцию между объектом познания и субъективным знанием о нем, он определенным образом модифицирует свое высказывание, пользуясь категориями модальности: ориентирует его на оси «достоверность — недостоверность». А отсюда столь естественным оказывается сосуществование модальных слов и именных каузативных синтаксем в одном высказывании, см., например: «Хорь выражался иногда мудроно, *должно быть из осторожности*» (И. С. Тургенев, Записки охотника); «И деньги без цены! Люди за них душу теряют, а для вас они так себе! *Как будто из милости к людям вы их при себе держите*» (М. Горький, Мать); «И я понял, что он ночью тоже думал об Узелкове, но только, *может быть, из самолюбия* не хотел лишний раз говорить об этом» (П. Нилин, Жестокость); «Экзаменатор... *по каким-то соображениям, а может, просто из вредности характера, обязательно хотел меня срезать*» (Ю. Кларов, Розыск).

Сосуществование модальных слов и каузативных синтаксем в одном высказывании указывает на (1) их общий источник — план воспринимающего субъекта, а также на (2) их разнопорядковость, разнофункциональность.

Модальные слова — это оценка говорящим своего высказывания, а точнее информации, переданной в этом высказывании, в плане ее реальности/ирреальности [30]. В художественном тексте модальные слова являются показателями смены регистров (или типов речи)<sup>18</sup>, своеобразными «стрелками», указывающими на точку зрения, с которой ведется повествование<sup>19</sup>.

Именные каузативные синтаксемы выражают оценку двух причинно соотнесенных событий объективной действительности, или каузативной ситуации, в системе морально-этических ценностей человека. На субъективность этой оценки, на ее непосредственную связь с определенной точкой зрения указывают «стрелки» вводно-модальных слов.

Таким образом, приведенные выше наблюдения над именными каузативными синтаксемами позволяют сделать следующие выводы.

1. Теория членов предложения, в рамках которой до сих пор рассматривались причинные предложно-падежные сочетания (обстоятельства причины), не позволяет исследователю увидеть структуру каузативной конструкции во всей ее сложности и многоплановости, ограничивает его возможности выявить связь каузативной конструкции с точкой зрения субъекта познающего и говорящего.

2. Анализ двух синтаксем показал, что каузативные конструкции, образуемые этими синтаксемами, выражают взгляд на причинно-следственные отношения извне, оценку каузативной ситуации с точки зрения говорящего. Сами же каузативные синтаксемы есть одно из средств углубления субъектной перспективы предложения.

3. Субъект познающий (воспринимающий, оценивающий данную ситуацию), автор данного высказывания — это один из элементов в структуре художественного текста, через него каузативная конструкция соотносится с высшей субъектной инстанцией — «образом автора».

4. Синтаксический анализ не может быть только формальным, однолинейным, замкнутым в самом себе, он должен открывать подступы к структуре текста.

<sup>18</sup> О понятия регистра см. в книге Г. А. Золотовой [22, с. 348—356].

<sup>19</sup> «Данные слова употребляются им (автором.— О. Н.) не потому, что автор не уверен в действительных ощущениях персонажей — но именно с тем, чтобы указать на точку зрения, с которой ведется описание» [17, с. 116].

## ЛИТЕРАТУРА

1. Современный русский язык. Под ред. Галкиной-Федорук Е. М. Ч. II. М., 1964, с. 389.
2. Русская грамматика. Т. II. М., 1980, с. 160—161.
3. *Назикова Е. А.* Выражение причинных отношений в современном русском литературном языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1952.
4. *Попова Л. Н.* Предлоги, выражающие причинные отношения в современном русском литературном языке, и их синонимия: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1956.
5. *Калнберзинь Р. Я.* Способы выражения причинных отношений в современном русском литературном языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1958.
6. *Назикова Е. А.* Выражение причинных отношений в современном русском литературном языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1952, с. 8.
7. *Золотова Г. А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
8. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.
9. *Никитина С. Е.* О семантическом варьировании русских предлогов.— В кн.: Семантическое и формальное варьирование. М., 1979, с. 124.
10. *Ломтев Т. П.* Очерки по истории синтаксиса русского языка. М., 1976.
11. *Калнберзинь Р. Я.* Способы выражения причинных отношений в современном русском литературном языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1958, с. 27—28.
12. *Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М., 1959, с. 84—166.
13. *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
14. *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М., 1970, с. 320—335.
15. *Чейф У.* Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топика и точка зрения.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
16. *Демьянков В. З.* «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста.— ИАН СЛЯ, 1983, № 4.
17. *Успенский Б. А.* Поэтика композиции. М., 1970.
18. *Апресян Ю. Д.* Принципы семантического описания единиц языка.— Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1980, вып. 519, ч. II, с. 8—9.
19. *Степанов Ю. С.* В поисках прагматики (проблема субъекта).— ИАН СЛЯ, 1981, № 4, с. 325—332.
20. *Степанов Ю. С.* Иерархия имен и ранги субъектов.— ИАН СЛЯ, 1979, № 4, с. 348.
21. *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972, с. 541.
22. *Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
23. *Аристотель.* Риторика.— В кн.: Античные риторики, М., 1978.
24. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в системе словосочетаний в русском литературном языке XIX в. М., 1964, с. 36.
25. *Вольф Е. М.* Варьирование в оценочных структурах.— В кн.: Семантическое и формальное варьирование. М., 1979.
26. *Яценко Т. А.* Выражение каузальных отношений в структуре простого предложения.— Русский язык за рубежом, 1982, № 2, с. 102.
27. *Ицкович А. В.* Очерки синтаксической нормы. М., 1982, с. 105.
28. *Демьянков В. З.* Прагматические основы интерпретации высказывания.— ИАН СЛЯ, 1981, № 4, с. 368—377.
29. *Яценко Т. А.* Выражение причинно-следственных отношений в структуре простого предложения: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982, с. 9—10.
30. *Золотова Г. А.* Вводно-модальные слова в предложении и в тексте.— *Ceskoslovenská rusistika*, 1983, XXVIII, № 5.

ДЖУСТИ-ФИЧИ Ф.

ОПЫТ АНАЛИЗА ЧУЖОЙ РЕЧИ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ

(На материале «Двойника» Ф. М. Достоевского  
и его переводов)

Одним из главных вопросов при изучении строя художественного произведения является отношение между авторской и чужой речью. Проблема эта на материале французской литературы XVIII — XIX вв. была исследована Ш. Балли и его учениками. Особое внимание было уделено лингвистическим и стилистическим особенностям так называемой «discours indirect libre» (букв. «свободной косвенной речи», далее СКР), которая рассматривалась в качестве варианта собственно косвенной речи [1, с. 51]. С другой стороны, ученые, связанные с немецкой школой Фосслера, рассматривали это явление (известное в германской традиции как «Erlebte Rede») с точки зрения психологии речевого поведения. В самом деле, в концепции Фосслера грани между речью художественного произведения и языком стираются и в центре внимания лежит психологический генезис явления, независимо от исторических процессов эволюции художественной речи. В русской традиции проблема соотношения авторской и чужой речи связана с изучением стилистики художественного произведения. В двадцатых годах В. Н. Волошинов стал говорить о «несобственно прямой речи» (далее НПР) как о варианте «erlebte Rede» Фосслера [2]. Как указывает И. И. Ковтунова в своей работе, посвященной этому вопросу [3], термин НПР не является удовлетворительным, так как при его использовании смешиваются языковая и стилистическая стороны изучаемого явления. Если, с одной стороны, ряд работ посвящается анализу лингвистических (в основном синтаксических) характеристик НПР, то, с другой стороны, в целом ряде исследований о стилистической композиции художественного произведения (начиная с работ В. В. Виноградова и М. М. Бахтина) проблема НПР связывается с более общей тематикой «образа автора». Нет сомнений, что существует определенная связь между эволюцией форм художественных приемов и структурными характеристиками языка. Более того, существуют определенные точки соприкосновения в художественной эволюции разных языков. Рассматривая характеристики СКР в языке французской художественной литературы, Балли отмечал, что этот стиль, очень распространенный в старофранцузской литературе, мало-помалу отмирал, но в эпоху Возрождения существовал еще в «свободной галльской традиции» и, в определенной мере, у Рабле. С этой точки зрения, влияние Рабле особенно сильно ощущается в стиле Лафонтена [1, с. 117].

Говоря о первых проявлениях НПР в русской литературе, В. Н. Волошинов приводил примеры из «Кавказского пленника» А. С. Пушкина. Однако, как указывает И. И. Ковтунова, первые примеры НПР встречаются уже у И. А. Крылова, который переводил на русский язык басни Лафонтена [3]. Отсюда ясно, что, несмотря на разную эволюцию художественных стилей, НПР, как и СКР, восходит к устной традиции, синтаксические следы которой сохраняются в прямой речи и в ее литературных вариантах. Во французской литературе СКР достигает самого высокого уровня развития у Флобера, который мастерски владеет способностью переходить от прямой речи к СКР и от СКР к прямой речи.

Немаловажное значение для авторской речи имеют лингвистические, в частности синтаксические, характеристики языка. Во французском и в

итальянском языке передача чужой речи синтаксически характеризуется тем, что в непрямой конструкции преобладает авторская речь, а в прямой — речь действующего лица. С другой стороны, Пешковский утверждает, что в русском языке не «выработаны формы косвенной речи» [4]. Замена временных форм глагола, которая в романских языках является главным показателем транспозиции прямой речи в косвенную, в русском языке не имеет места. Переход к косвенной речи маркируется только местоимением. Таким образом, все формы передачи чужой речи структурно близки к тем, которые используются при прямой речи, и авторская речь может накладываться на речь героя, не обуславливая тех синтаксических изменений, которые являются необходимыми в итальянском и во французском языках.

В переводах с одного языка на другой часто теряется смысл одного из элементов структуры художественного произведения, т. е. соотношение между авторской речью и речью героев. Причины этого различны. Подобное несоответствие частично связано с синтаксической структурой языка, а частично — с неправильной интерпретацией переводчиком соотношения прямой и косвенной речи.

Цель данной работы — описание неадекватности перевода подлиннику при передаче авторской и чужой речи. В связи с этим мы обратились к тексту, где эта контаминация проявляется с особенной силой и несет особую смысловую нагрузку, а именно к «Двойнику» Достоевского.

Как мы уже отмечали, анализ отношений между формами воспроизведения речи далеко не исчерпывает проблему соотношения авторской речи с речью действующих лиц. В сопоставительном плане здесь можно различить два разных аспекта: первый — чисто синтаксический, второй — стилистический. Начнем с синтаксического аспекта. Воспроизведение чужой речи в русском языке характеризуется элементами прямой речи; времена глагола, временные и пространственные наречия, указательные местоимения соотносятся с моментом речи персонажа, а не с речью автора-рассказчика. Сравним синтаксические характеристики следующей фразы в русском, итальянском, французском и английском: «Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать»<sup>1</sup>; ит. «Il signor Goljadkin concludere con il promettere che il giorno seguente sarebbe immancabilmente passato e avrebbe magari mandato quel giorno stesso a ritirare la roba» (здесь и далее курсив в примерах — наш. — Дж.-Ф. Ф.) [6]; франц.: «M. Goliadkine conclut en promettant d'envoyer chercher sans faute le lendemain, ou peut-être le jour même, tout ce qu'il avait choisis» [7]; англ.: «Mr. Golyadkin ended by promising to send for the things without fail next morning, or even that day» [8].

Как видим, в русском языке все элементы фразы выступают в качестве дейктических характеристик авторской речи. В итальянском, французском и английском языках речь Голядкина также носит отпечаток авторской речи, проявляющейся больше всего в повествовательных временах и в обстоятельствах времени. Таким образом, точка зрения повествователя доминирует в области показателей лица, времени и наклонения. Единственными признаками речи героя остаются наречия (ит. *immancabilmente*, *magari*, франц. *sans faute*, *peut-être*, англ. *without fail*, *even*).

В «Двойнике» особенно интересной с точки зрения синтаксической структуры чужой речи является речь Антона Антоновича, одного из товарищей по службе Голядкина; здесь реализуется сложная многоплановость речи других, подразумеваемых действующих лиц: «Голядкин [т. е. двойник, — Дж.-Ф. Ф.] говорит, что вот, дескать, так и так, ваше превосходительство, и что нет состояния, а желаю служить и особенно под вашим лестным начальством». Конструкция данной фразы напоминает то место в «Ревизоре» Гоголя, где Осип размышляет: «Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее». Несмотря на то, что говорящий сам передает чужую речь, как видно из наличия союза *что* и частицы *дескать*, он как бы «входит в роль» того лица,

<sup>1</sup> Все примеры из русского текста «Двойника» взяты из [5].

чью речь он излагает. В речи Антона Антоновича этот переход подчеркивается не только грамматическим лицом, в котором стоит сказуемое, но и обращением (*ваше превосходительство*) и всей структурой речи. В итальянском языке переход от третьего ко второму лицу не выражается, и поэтому речь теряет часть своей стилистической окраски: «Dice che, ecco, così e così, vostra eccellenza, e che non ha patrimonio, ma desidera prestar servizio specialmente sotto la sua lusinghiera autorità». Нет сомнений, что синтаксические нормы каждого языка накладывают определенные ограничения при передаче чужой речи. Но, как мы уже отметили, проблема чужой речи выходит за пределы синтаксиса, затрагивая повествование в целом.

В «Двойнике» повествователь занимает по отношению к герою особое положение, которое можно считать типичным для всех произведений Достоевского. Он называет себя «скромным, посторонним наблюдателем», и в самом деле его роль напоминает роль летописца, который следует за каждым шагом героя, записывая его поступки, слова и переживания. Таким образом, речь героя становится речью повествователя и, наоборот, речь повествователя речью героя. В «Двойнике» синтаксис, лексика, сочетание авторской речи с речью Голядкина построены на нескольких композиционных принципах (совмещение авторской и прямой речи, характеристика поведения Голядкина лексическими и синтаксическими средствами). Начнем с того, что по словам самого Достоевского, является главным структурным мотивом «Двойника». В 1845 г. Достоевский писал брату о трудностях, с которыми он сталкивался при создании этого персонажа: «Приступу нет к нему, Голядкину: никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что теперь покамест сам по себе... А меня, своего сочинителя, ставит в крайне негодное положение» [5, с. 669]. Здесь строение фраз, порядок слов, сама лексика показывают своеобразие отношений между сочинителем и героем. Но, тем не менее, в этом письме встречаются те же обороты, которые характеризуют речь Голядкина повествователя: «Этот взгляд говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе... и что его изба... с краю». В ходе повествования речь непрерывно переходит от повествователя к герою и наоборот; при этом иногда слова повествователя то комментируют речь Голядкина, то как будто подражают ее форме, создавая впечатление одного речевого целого [9, с. 135]. При первом появлении двойника повествователь и герой как бы поддерживают друг друга под руку. Ощущения Голядкина при виде нового человека поначалу излагаются как будто объективно, с точки зрения повествователя: «Голядкин увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего, тоже, вероятно, как и он, по какому-нибудь случаю з а п о з д а л о г о... . Да и кто его знает, этого запоздалого — промелькнуло в голове господина Голядкина — может быть и он то же самое, может быть... . Может быть, впрочем, господин Голядкин и не подумал именно этого...». Однако уже здесь слова *запоздалый* и *может быть* могут принадлежать как повествователю, так и внутренней речи Голядкина, и мы принимаем их как признаки смещения двух голосов. Эти переходы, которые сказываются именно в повторении определенных, одинаковых слов, переводчик иногда не замечает. В итальянском переводе, вместо слов, общих у героя и у повествователя, встречаются разные слова и конструкции: «Il signor Goljadkin vide dinanzi a sé un passante che camminava verso di lui; anch'egli doveva aver fatto tardi per qualche suo motivo ... E chi lo conosce, poi, questo ritardatario? — balenò nella testa del signor Goljadkin. Forse anche per lui è sempre lo stesso, forse... Può darsi, del resto, che il signor Goljadkin non pensasse precisamente questo... .»

Переходы такого типа встречаются почти на каждой странице: они составляют один из элементов той диалогической формы, которая, по словам Бахтина, столь характерна для речи героев первых произведений Достоевского. В этой повести речь повествователя, как и речь двойника, воспринимается как внутренняя речь Голядкина. По пути к дому Берендеева Голядкин ободряет себя длинными, сложными, не всегда уме-

стными фразами: «Я этак могу сан-фасон, как между порядочными людьми говорится». Но несколько строчек ниже повествователь сомневается в этих намерениях, явно подражая своему герою: «право бы никто не сказал, что он собирается хорошо пообедать... сан-фасон, как между порядочными людьми говорится».

В других местах в речь Голядкина и повествователя вмешивается голос двойника: Голядкин: «Там нам будет удобнее с вами, а потом переулочком... мы лучше возьмем *переулочком*. Хорошо-с. Пожалуй, возьмем *переулочком-с*, — робко сказал смиренный спутник господина Голядкина, как будто намекая тоном ответа, что... он и *переулочком* готов удовольствоваться». Интересно именно то, что повторяется слово *переулочек*: оно, а не стилистически нейтральное *переулок* переходит от Голядкина к двойнику и подхватывается повествователем. Это соответствует цельному ходу рассказа. Здесь главное — то, что и как сказано, а не то, что происходит.

Сдвиг времен, как известно, может быть одним из признаков перехода от авторской речи к речи действующего лица. В своей работе о временах в тексте Вейнрих различает времена повествовательные и актуальные, усматривая во временных формах высказывания один из признаков его структуры [10]. В «Двойнике» частые, иногда даже торопливые, переходы речи от повествователя к герою, и наоборот, проявляются в стирании этого смыслового противопоставления, как можно видеть в следующем отрывке, где восклицание «Все было так натурально!» синтаксически исходит от повествователя, но по всем другим характеристикам явно принадлежит Голядкину, т. е. тому, кто, видимо, произносит следующие фразы: «Голядкин... сам себя пожаловал в дураки. Все было так натурально!... Ну, есть, действительно, есть одно щекотливое обстоятельство — да ведь оно не беда». В итальянском переводе переход с одного голоса к другому не отмечается; везде употребляется время *imperfetto*, которое, как известно, имеет чисто повествовательную функцию: «Il signor Goljadkin... si era promosso in cuor suo tra gli imbecilli. Tutto era così naturale!... Ve', realmente c'era una circostanza imbarazzante, ma non era poi un guaio».

Из-за приписывания всех временных форм высказывания повествователю речь теряет драматическую силу и динамичность.

Композиционные принципы «Двойника», особенности перехода речи не раз подчеркивал В. В. Виноградов в своей работе о «Двойнике». «В „Двойнике“ сближение разговорной речи господина Голядкина с повествовательным сказом бытописателя увеличивается еще от того, что в не прямой речи Голядкина стиль остается без изменения, падая, таким образом, на ответственность автора» [9, с. 132]. При появлении двойника в повествовательную ткань входит третий голос: это голос другого господина Голядкина, который то покоряется своему старшему однофамильцу, то явно выступает против него, занимая мало-помалу его место в обществе.

Особенно интересным является, по нашему мнению, именно восприятие двойника и выражение этого восприятия, которое идет от Голядкина и через него переходит к повествователю, как это видно, например, в наименованиях двойника. Б. А. Успенский замечает, что в художественном произведении одно и то же лицо получает разные имена и что автор может при этом использовать позиции тех или иных действующих лиц, которые находятся в различных отношениях к называемому лицу [11]. Необходимо иметь в виду также замечание В. Г. Гака, высказанное в его работе, посвященной типологии наименования: в речи номинация имеет свою последовательность, разные способы наименования находятся в определенной зависимости один от другого, и они зависят как от говорящего (или от ситуации), так и от адресата речи [12].

Применяя этот лингвистический вывод к анализу художественного текста, мы можем определить характер взаимозависимости разных говорящих лиц в тексте и отношение этих лиц к описываемой ситуации. В «Двойнике» повествователь занимает место, очень близкое к герою,



но не идентифицируется с ним. В противном случае пропал бы один из элементов, составляющих повествовательную ткань, и, следовательно, не было бы пародии, которая, как известно, требует прежде всего именно этого расстояния.

В. Шкловский пишет об «Анне Карениной» Л. Н. Толстого, что роман «весь построен на внутренних монологах, как бы на непонимании людей друг другом» [13]. В «Двойнике», наоборот, речи всех действующих лиц сплетены друг с другом. Герой определяется не собственной речью, но скорее проявлением этой речи. Повторяются синонимичные слова, омофонические синтагмы, которые придают повествованию драматическую силу. Устанавливаются лексические цепи с повторением одной лексемы, имитирующие неуверенные движения Голядкина, который то идет, то останавливается, то возвращается, идет назад и вперед несколько раз, который то мямлит, то запинается.

В речи Голядкина сосуществуют элементы монологичности и элементы диалогичности. Различия между этими двумя видами речи формально не отмечаются: оба вида речи звучат скорее как «вербальные игры», чем как рассуждения об определенном предмете. При множестве лишних слов и отступлений никто из собеседников не понимает того, что Голядкин хочет сказать, как будто он говорил только для себя, не обращая никакого внимания на содержание своих высказываний, утешая себя звуком (иногда только воображаемым) своего голоса. С другой стороны, эти отступления, тесно сплетенные с описаниями жестикуляции и мимики, характеризующие диалогическую речь, могут звучать как реплики воображаемого собеседника.

По поводу функции диалога с самим собой в душевной жизни Голядкина М. Бахтин замечает, что «диалог позволяет заменить своим собственным голосом голос другого человека» [14]. В речи двойника, наоборот, нет той «внутренней прозрачности» [15], которая столь характеризует речь Голядкина. Она представляет собой внешнее проявление другого лица. Речь двойника оказывается простым вербальным упражнением, хотя звучит иногда как внутренний голос совести Голядкина.

Говоря об общих характеристиках чужой речи в художественном произведении, мы отметили некоторые отличительные признаки, неодинаковые в разных языках. В русском языке преобладают элементы устной традиции, со звуковыми и синтаксическими признаками, связывающими чужую речь с говорящим лицом. В эту речь повествователь вмешивается на разных уровнях, то лексическом, то синтаксическом, но не меняет основного характера этой речи, состоящей в том, что это именно прямая речь. Отсюда проистекает некоторая драматизация, сказывающаяся в сближениях и наложениях речевых уровней. В итальянском языке, наоборот, чужая речь грамматически подчинена авторской. Поэтому в итальянских переводах «Двойника» часто употребляются конструкции повествовательного типа, снимающие «разговорный» характер языка оригинала, как например, в следующем описании положения Голядкина в департаменте после появления двойника: «Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Голядкина. Неприятно был он поражен какою-то всеобщей холодностью, худостью, даже, можно сказать, какою-то строгостью приема. Руки ему не дал никто». Этот отрывок отражает речевую, но не высказанную реакцию Голядкина на неожиданную ситуацию. «Актуальный», а не «повествовательный» тип речи подчеркивается прежде всего порядком слов: неопределенное наречие *как-то странно* в первой фразе и наречие *неприятно* во второй занимают в обоих предложениях первое место (эмфатически выделенная вершина ремы), и, соответственно, подлежащее — тема в обоих случаях следует после сказуемого. Так же построено и последнее предложение, где вершина ремы (прямое дополнение *руки*) находится в эмфатической препозиции, а подлежащее в постпозиции. Кроме того, повторяющиеся неопределенные местоимения, а также включение вводных слов (*даже, можно сказать*) свидетельствуют о том, что внутренняя речь Голядкина, выражаемая словами повествователя, звучит как скрытая прямая речь.

В итальянском переводе синтаксическая форма текста не поддерживает «актуальной» направленности лексических средств: преобладают нейтральные конструкции повествовательного типа, где подлежащее занимает первое место, дополнение и обстоятельственные наречия следуют за сказуемым: «Ma i colleghi risposero in un modo strano al saluto del signor Goljadkin. Egli fu inoltre sgradevolmente colpito da una certa generale freddezza, da un certo distacco, e si può dir persino da una certa serietà nella loro accoglienza. Nessuno gli diede la mano». Единственным показателем «разговорности», «актуальности» в итальянском тексте является местоимение *un certo*, (*una certa*).

Здесь, как вообще в переводах, все внимание направлено на содержание текста, тогда как конструктивные элементы, определяющие его стилистические особенности, играют менее важную роль. Между тем стиль художественного произведения несет на себе важную смысловую нагрузку, которой нельзя пренебрегать. Непонимание формы выражения ведет к искажению содержания, ярким примером чего может служить неправильный итальянский перевод самого заглавия «Двойник» как «Il sosia» вместо «Il doppio» (*sosia* обозначает реально существующее лицо, внешне подобное другому лицу). Все же сглаживание стилистических характеристик текста возникает в основном не из-за некомпетентности переводчика, а в силу объективных причин. Системные и нормативные расхождения между языком подлинника и языком перевода делают стилистически эквивалентный перевод зачастую невозможным. Таким образом, «нейтрально-повествовательный» стиль итальянского перевода связан с несовпадением как самих форм экспрессивного синтаксиса, так и областей их применения в обоих языках.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Lips M. Le style indirect libre. Paris, 1926.
2. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929.
3. Ковтунова И. И. Несобственно-прямая речь в языке русской литературы конца XVIII — первой половины XX в.: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1956.
4. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956, с. 483.
5. Достоевский Ф. М. Соч. Т. 1. М., 1956.
6. Dostoevskij F. M. Il sosia, Milano, 1956.
7. Dostoevski F. M. Le double, Paris, 1969.
8. Dostoevski F. M. The double. London, 1972.
9. Виноградов В. В. К морфологии натурального стиля (Опыт лингвистического анализа петербургской поэмы «Двойник»). — В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976.
10. Wehrlich H. Tempus. Bologna, 1978.
11. Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970, с. 38—39.
12. Гак В. Г. К типологии лингвистической номинации. — В кн.: Языковая номинация. М., 1976, с. 287—293.
13. Шкловский В. Энергия заблуждения. М., 1981, с. 171.
14. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, с. 365.
15. Sahn D. Transparent minds. Princeton, 1978.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### РЕЦЕНЗИИ

*Filozoficko-metodologické problémy filologických věd.* — Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1982. 480 s.

Борьба за чистоту марксистско-ленинского учения против различных реакционных течений, в частности, критика современного неопозитивизма, в последнее время приобретает особое значение. Изданный Р. Рогачеком и Р. Ступой сборник «Философско-методологические проблемы филологических наук» задуман как пособие для аспирантов и включает ряд работ советских и чешских философов и лингвистов, посвященных критике различных идеалистических теорий. Сборник состоит из предисловия, четырех частей и избранной библиографии по философским вопросам языкознания.

Первая часть книги «О значении марксистско-ленинской методологии науки» (с. 9—100) включает перевод IX главы коллективной монографии [1] и главы из книги И. Мужика [2]. Коллектив авторов вскрывает здесь сложности и противоречия, связанные с развитием науки в период НТР. Показывая истоки идеалистических теорий, авторы подвергают критике лингвистическую философию последователей Л. Витгенштейна, а также сциентизм, игнорирующий специфику философии как особой формы общественного сознания, антисциентизм, представители которого выступают против внедрения наук в общественную жизнь, и экзистенциализм, выдвинувший задачу найти некую общую культурно-мировоззренческую антитезу технике и связанному с ней способу мышления, реализованному в современной науке. И. Мужик посвящает свою работу лингвистической работе партии в массах, вполне справедливо считая научное мировоззрение «ядром социалистического сознания людей» (с. 53). В связи с этим автор занимается вопросами познания и оценки, науки и идеологии, имеющими основное значение для развития научной работы как с точки зрения внутреннего развития науки, так и с точки зрения ее общественного назначения. Научно-познавательный и идеологически-оценочный аспекты науки относительно самостоятельны и несводимы друг к другу. Истинность познания обуславливает общественно-историческое значение науки. Оценочный, партийный, идеологический аспект научного познания определяет ценность и значение познаваемого. И. Мужик исследует общественные науки как форму познавательной деятельности партии, отстаивает принцип партийности науки и философии,

понимая его как сознательное служение ученых интересам пролетариата. Работы по философским и методологическим проблемам общественных наук в настоящее время в связи с обострением в мире идеологической борьбы приобретают особый общественный резонанс, и поэтому работа И. Мужика не только интересна оригинальностью подхода к теории познания, но и своевременна.

Вторая часть сборника (с. 101—132) включает дополненный вариант теоретической части работы Я. Петра [3].

Классики марксизма-ленинизма в своих произведениях и в личной переписке неоднократно высказывались по многим проблемам языкознания, языковой культуры, придавали большое значение роли языка в решении национального вопроса. Концепция языка и его общественных функций К. Маркса и Ф. Энгельса была углублена В. И. Лениным в его работах по теории познания, о развитии общества в эпоху империализма и пролетарских революций, о языковом строительстве в многонациональном советском государстве. Учение классиков марксизма-ленинизма о языке имеет первостепенное значение для материалистической концепции языка, диалектического подхода к изучению языка и его категорий, для оценки различных лингвистических школ, особенно идеалистического толка. Но ввиду того, что классики марксизма-ленинизма не создали специального систематического труда в области языкознания, как это они сделали в некоторых других областях человеческого знания, большое значение приобретает подбор высказываний классиков марксизма-ленинизма о языке и подробное исследование отраженной в них языковой проблематики. Помещенная в сборнике монография Я. Петра и представляет собой такое исследование. Сделав в главе I (с. 103—110) ряд замечаний общего характера о деятельности классиков марксизма-ленинизма в области языкознания, в главе II (с. 111—156) автор рассматривает преимущественно их точку зрения на ряд общих (философских) проблем языкознания: соотношение общественного и индивидуального факторов в языковой практике человека; взаимоотношение сознания, мышления и языка; соотношение предмета и слова, слова и понятия; структура и система в языке, происхождение языка и его роль в становлении сознания человека и т. п. Чтобы показать приоритет теоретических выска-

званий К. Маркса и Ф. Энгельса в некоторых областях языкознания, Я. Петр вводит читателя в проблематику эпохи, приводит для сравнения концепции В. Гумбольдта и Ф. Боппа, А. Шлейхера и младограмматиков и т. д. Но подобные экскурсы в историю языкознания иногда оказываются неоправданными и выпадают из общего текста работы. Так, оценка пражского структурализма, несомненно, является актуальной для чешского языкознания, но те несколько замечаний, которые автор высказывает о деятельности Пражского лингвистического кружка, едва ли что-либо проясняют для читателя (с. 143—144). Автор указывает, что Ф. Энгельс, наряду с общетеоретическими проблемами языкознания, занимался славистикой, германистикой, классической филологией и романистикой, в меньшей степени кельтскими и семитскими языками (гл. III, с. 156—159), добившись в своих исследованиях значительных результатов. Деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса в области частных языковедческих дисциплин и посвящена глава IV исследования Я. Петра (с. 159—207). Основанная на большом корпусе высказываний классиков марксизма-ленинизма с привлечением сведений из их биографий и истории общественной мысли, эта глава (несомненно, самая интересная в монографии) доступна широкому массам читателей и будет служить средством углубления их знаний о классиках марксизма и их научной теории.

Ввиду того, что В. И. Ленин разрабатывал проблемы языка в исторически иных условиях, чем К. Маркс и Ф. Энгельс, круг решаемых им проблем был несколько иным (гл. V—VI, с. 207—225). На повестку дня вставали практические задачи пролетарской революции, необходимость решения национального вопроса. Поэтому наряду с философскими проблемами языкознания он разрабатывал проблему взаимоотношения языка и общества, определил исключительную роль языка (особенно национального) при решении национального вопроса, разработал основы языковой политики Коммунистической партии и ее подход к языковой культуре в эпоху строительства социалистического общества после осуществления пролетарской революции (с. 207).

Завершая свою работу (гл. VII, с. 226—248), Я. Петр дает беглый анализ дискуссии 50-х годов о задачах и теоретических основах советского языкознания. Однако освещение дискуссии 50-х годов в советском языкознании явно выходит за рамки указанной в заглавии темы и может служить материалом для специальной статьи. Не вдаваясь в анализ последней главы книги, выполненной несколько слабее предыдущих, следует сказать, что автор успешно справился с поставленной задачей. Работа Я. Петра «Классики марксизма-ленинизма о языке» написана живо и доступно благодаря тому, что автор широко использует исторические сведения, факты из биографий классиков марксизма-ленинизма, сведения, почерпнутые из их переписки; привлекает для сравнения концепции совре-

менных классикам марксизма ученых. Изложение материала по основной теме сопровождается попыткой проследить развитие марксистско-ленинской концепции языка до наших дней.

Третья часть сборника посвящена философским и методологическим вопросам языкознания и содержит перевод введения и первых двух глав книги В. З. Панфилова [4] и раздел «Язык и мышление» из книги [5].

Книга В. З. Панфилова посвящена важнейшим философским проблемам науки о языке и является своего рода реакцией на существующие сведоначные лингвистические теории. В первой главе книги (в рецензируемом сборнике с. 249—280) рассматриваются гносеологические аспекты проблемы взаимоотношения языка и мышления в неогумбольдтианском языкознании, в неопозитивистской философии и некоторых направлениях семиотики. Признавая связь языка и мышления, их взаимодействие, философы различных направлений с принципиально иных позиций решают вопрос о характере связи языка и мышления. Детально рассмотрев концепцию В. Гумбольдта о взаимоотношениях языка и мышления и некоторые другие направления в языкознании и семиотике, автор заключает, что все они имеют общие принципиальные установки и исходят из тезиса о том, что язык оказывает решающее воздействие на мышление и определяет характер познавательной деятельности человека (с. 251). Человеческое познание имеет активный характер. В диалектически противоречивом единстве, которое образуют язык и мышление, при определяющей роли мышления язык представляет собой относительно самостоятельное явление и обладает некоторыми внутренними законами своего развития. Поэтому он не может не оказывать известного обратного влияния на мышление и познавательную деятельность человека. Автор убедительно показывает, что язык, выступая как необходимое средство осуществления специфически человеческого мышления, хотя в известном смысле и может рассматриваться как условие возникновения и существования человеческой цивилизации в целом, все же не может выступать «в качестве фактора, определяющего характер и развитие человеческого мышления и познания, а также культуры человеческого общества» (с. 280).

Во второй главе книги (с. 281—343) В. З. Панфилов исследует роль естественных языков в отражении действительности и проблему языкового знака, взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов в процессе развития языка и др. Эта часть работы дает образец конструктивного решения этой проблемы наряду с критикой релятивистских взглядов на язык. В небольшой по объему главе В. З. Панфилов рассматривает целый ряд вопросов: понятие языка как системы в связи с понятием соотношений категорий «вещь», «свойство» и «отношение», природу языкового знака и значения, характер произвольности знака, соотношение лексических десигнатов и понятий, формы существо-

вания материальной и идеальной сторон языка, роль фактора отражения действительности в формировании идеальной стороны языковых единиц различных уровней и др.

Автор исходит из определения знака как монолатеральной единицы. По его мнению, знаковой природой обладает лишь материальная сторона языковой единицы; идеальная сторона языковой единицы, будучи образом тех явлений действительности, с которыми эта единица соотносится, не может считаться знаковой по природе, и, следовательно, языковой знак представляет собой не двустороннюю, а одностороннюю сущность» (с. 321). В. З. Панфилов выступает против признания в качестве значения знака отношения знака к денотату, развивает точку зрения, согласно которой значение знака есть обобщенное отражение объектов действительности. Конструктивное решение В. З. Панфиловым ряда лингвистических проблем делает убедительной его критику идеалистических направлений в языкознании.

Во втором разделе «Язык и мышление» (с. 344—402) коллектив авторов под руководством В. М. Русановского исследует проблемы соотношения понятия и языкового значения, формы и содержания слова, категорий мышления и типов слов. Авторы считают, что: 1) исследование лексических значений слов без сравнения с понятиями не может привести к удовлетворительным результатам; 2) лингвистика находит объект познания (на лексическом уровне языка), исследуя соответствующие языковые средства и формы выражения понятия; 3) языковая форма соотносительности слова с понятием образует языковое значение; утверждение о том, что само понятие или отражение действительности (предмета, явления) входят в состав структуры слова, требует соответствующей лингвистической трактовки; 4) формально-структурные методы исследования лексических значений удобны как средства проверки истинного (неистинного) содержания значений (с. 360). Одну из особенностей человеческого языка как системы знаков составляет несоответствие плана содержания и плана выражения. Необъятное по существу содержание может быть выражено посредством относительно небольшого множества знаков — слов. Полисемия, омонимия, синонимия — суть внутренние средства, подтверждающие это несоответствие. Они образуют неисчерпаемый источник пополнения фонда языковых именован. Авторы также рассматривают образование семантических классов слов (существительные, прилагательные и т. д.) в связи с развитием категорий мышления. Становление классов слов происходит в процессе осуществления ими функций средств отражения отдельных классов явлений объективной действительности; посредством мышления они отражают предметы, качества, свойства, действия и т. п.

Четвертая часть сборника («Критика лингвистического позитивизма и структу-

рализма», с. 403—475) содержит три работы: статью В. Румла из книги [6], главу из книги А. Сирацкого [7] и статью И. Зеленого «К критике структурализма».

В работе «Позитивистская „философия науки“ против науки» В. Румл с позиций марксистско-ленинской философии дает последовательную критику логического позитивизма. Основную ошибку логического позитивизма автор видит в том, что исследовательские постулаты и методы, адекватные и эффективные при решении определенных задач, распространяются здесь на познавательную деятельность и культуру в целом (с. 408).

А. Сирацкий в статье «Марксизм и структурализм» показывает, что структурализм как философская система характеризуется эклектичностью: он содержит элементы позитивизма, рационализма, феноменологии и теологии. Это идеалистическое в основе течение негативно относится к материалистическому мировоззрению и революционному движению современности. Автор знакомит читателя с историей структурализма, подвергает критике структурализм в этнологии и языкознании. При этом он проводит границу между «структуралистской философией» и использованием структурного метода и анализа. А. Сирацкий убедительно показал, что структурализм «лишь частично смог объяснить объективную социальную и мыслительную реальность» (с. 452) и не вправе претендовать на роль «всеобъемлющей» философской теории (с. 455).

В статье «К критике структурализма» И. Зелены, указав на существование множества течений структурализма, вскрывает его недостатки.

Оценивая сборник в целом, следует признать удачным подбор статей. Технические погрешности (опечатки, отсутствие схемы на с. 376) не снижают достоинств книги, которая, безусловно, явится действенным инструментом в борьбе с различными идеалистическими течениями в философии и лингвистике.

Юдакин А. П.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Человек, наука, техника. К марксистско-ленинскому анализу научно-технической революции. М., 1973.
2. *Mužik I.* K filozofickým a metodologickým otázkám společenských věd. Praha, 1979.
3. *Petr J.* Klasikové marxismu-leninismu o jazyce. Praha, 1977.
4. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977, с. 1—98.
5. *Filozofické otázky jazykovedy.* Bratislava, 1979, s. 44—86.
6. *Ruml V., Buhr M., Horstmann H.* Pozitivismus a vědecké poznání. Praha, 1976.
7. *Siracky A.* Doba a myslenie. Bratislava, 1979.

К IX Международному съезду славистов было выпущено в свет превосходное издание древнерусского текста Мстислава евангелия, созданного на рубеже XI—XII веков. В отличие от других изданий древнерусских текстов, подготовленных Институтом русского языка, этот обширный древний текст впервые издан набором кириллицы с передачей важных для исследования данного текста графических особенностей рукописи, например, йотированных букв *ѣ*, *ѡ* и букв «с отворотиками» (как *н*), которые писец Мстислава ев. употреблял для обозначения рефлексов праславянских сочетаний с *j*. Выбор вариантов букв, воспроизводимых в издании, был определен Л. П. Жуковской в результате проведенного ею исследования системы письма рукописи. По техническим причинам не воспроизведены или воспроизведены условно (в конце строк в виде точек над согласными) надстрочные знаки, что лишь отчасти восполняется описанием их значения и употребления (с. 20—24) и отдельными замечаниями о технике их выполнения, оставленными в примечаниях к тексту.

Рукопись воспроизводится с разделением на слова, сохранением написания слов под титлами и развертыванием лигатур. В текст внесена разметка глав и стихов. Кроме примечаний к тексту, научный аппарат издания содержит вводную статью, в которой сообщаются сведения о заказчике и его эпохе, дается кодикологическое и палеографическое описание рукописи, сведения о ее письме и языке, а также принципах воспроизведения текста и его комментирования. К изданию приложены перечни-таблицы чтений и текстов. Текст рукописи, примечания, вводная статья и таблицы подготовлены Л. П. Жуковской. Книга содержит также три словоуказателя, составленные Л. А. Владимировой и Н. П. Панкратовой: Указатель слов и форм основного текста памятника, Указатель к заголовкам чтений и сокращениям Месяцеслова (т. е. текстам справочного характера, содержащимся в рукописи) и Указатель слов и форм к записям лиц, создававших рукопись.

В конце книги в качестве приложения приводятся отрывки текстов из Милитина ев. XII в. (ГПБ Соф. 7) и Добривола ев. 1164 г. (ГБЛ ф. 256, № 103), представляющих другой тип полного апракоса.

Между 16 и 17 страницами включены отлично выполненные фотографии шестнадцати листов рукописи. Они позволяют судить о мастерстве художника XI века — Жадена, — выходящего не только заставки, но и каждый инициал как целостное произведение искусства. Каждая фотография выполнена с миллиметровой линейкой, что позволяет представить истинные размеры издаваемого кодекса и соотношение компонентов, расположенных на листе. Фотографии дают возможность познакомиться с палеографическими особенностями рукописи

и отчасти системой ее диакритики, не воспроизведенной в изданном тексте.

Вводная статья содержит важные сведения о времени и условиях создания памятника, которые в значительной мере определили его значение в истории культуры, письменности и языка Древней Руси. Рукопись была создана по заказу сына Владимира Мономаха князя Мстислава Великого (1076—1132), который известен как крупный полководец (с его именем связан последний успешный этап общерусской борьбы против половцев), реалистичный правитель и градостроитель, заслуживший авторитет и любовь новгородцев, по воле которых он с 1095 г. княжил в Новгороде. Апракос был написан по заказу Мстислава для первой построенной им в Новгороде церкви Благовещения на Городице (согласно данным летописей, это 1099 или 1103 гг.): «...дата построения церкви может быть нижней датой при определении времени написания Мст. Верхний рубеж определяется концом княжения Мстислава в Новгороде. Это — 1117 г.» (с. 5).

Вопрос о месте написания рукописи, по мнению автора введения, не может в настоящее время быть решен однозначно, однако, вслед за своими предшественниками, он полагает, что основной писец не мог быть новгородцем, а скорее был киевлянином: «в языке: отсутствие цоканья, начавшееся падение редуцированных в слабой позиции, различие в собственном произношении трех степеней твердости — мягкости согласных, которое легче предполагать в языке писца киевлянина, так как в украинском языке и диалектах исконно немягкие согласные перед гласными переднего ряда и до сих пор полумягки...» (с. 6).

Мстиславо ев. — это третий по древности из дошедших до нас евангельский текст в древнерусской письменности (после Остромирова 1056—57 г. евангелия и Архангельского — 1092 г. евангелия) и самый древний из сохранившихся полных апракосов, а кроме того и самый полный по составу чтений и полностью воспроизводимых текстов в Месяцеслове. Это очень важно для текстологического исследования полных апракосов. Не случайно он избран эталоном в классификации полных апракосов [1, с. 129—207]. Наличие большого числа повторяющихся чтений, которые читатель может легко обнаружить благодаря приложенным таблицам (с. 496—523), делает рукопись превосходным источником для выявления разных языковых пластов и древнерусской специфики рукописи. Подобное исследование было проведено Л. П. Жуковской в уже названной книге [1], где в повторяющихся чтениях Мстислава ев. всего лишь в тексте Мт. XXIV 42—43 она обнаружила 11 случаев различий в орфографии, фонетике, грамматике, лексике и словообразовании, справедливо трактуя их как «проявление воли писцов, их сознательное или не вполне осознанное стремление выразить тот же смысл (т. е. передать тот же текст) более

понятными или более свойственными этому писцу языковыми средствами» [1, с. 131], Древнерусские черты представлены в рукописи столь богато, что автор не без основания полагает, что рукопись не имела близкого южнославянского протографа. Этим определяется огромное значение памятника для истории восточнославянских языков, а также изучения проблемы взаимного влияния с южнославянскими языками. Старейшие южнославянские полные апракосы — Вуканово и Мирославо ев. относятся к концу XII века, т. е. от Мстиславо ев. их отделяет почти столетие. Этим определяется важная роль Мстиславо ев. для истории славянского полного апракоса.

Мстиславо ев. — лицевая рукопись, богато орнаментированная, содержащая миниатюры четырех евангелистов и оправленная в драгоценный оклад. Поэтому рукопись практически была недоступна для работы современных исследователей. Тем более важно ее издание.

В главе «Кодикологическое и палеографическое описание» приводятся сведения об объеме рукописи (213 пронумерованных листов и 6 не пронумерованных. Пагинация XIX века), количестве тетрадей (27), прослеживается характер средневековой потетрадной нумерации, начертания букв которой существенно отличаются от начертаний в основном тексте (состав тетрадей и их нумерация представлены таблицей), специально исследуется вопрос о составе девятой тетради, которая содержит незаполненные текстом листы, и на основе кодикологического анализа выдвигается гипотеза — «отсутствие прямой последовательности в заполнении текстом 9-й тетради» (с. 8), которая затем проверяется «путем текстологического исследования п а м я т н и к а и палеографического анализа рукописи» (с. 8). В результате этого анализа Л. П. Жуковская удается выделить до сих пор не отмечавшийся почерк второго — анонимного писца. На прекрасно выполненных фотографиях рукописи этот почерк иллюстрируется на рисунках 5 и 7 параллельно с почерком основного писца Алексы. Описание различных этих почерков дано на с. 9. Девятая тетрадь представляет исключение и в том отношении, что «перед написанными вторым писцом чтениями на субботу и воскресенье 17-й недели отсутствуют чтения на пять будних дней этой недели». Это единственное место, где нарушается полнота апракоса и пропуск чтений не мотивирован отсылками. Видимо, предполагает автор, этих чтений не было в оригинале, которым пользовался Алекса, он оставил место в рукописи и послал ее в другой, авторитетный, скрипторий, полагая, что там найдется недостающий текст, однако и там его не оказалось, а анонимный писец вписал имеющиеся чтения на субботу и воскресенье. Таким образом и оказались в рукописи незаполненные листы. Автор главы заключает, что эти чтения в древнерусской книжности в то время еще не были установлены. Так уточняется история чтений полного апракоса в древне-

русской письменности. Излагая историю изучения рукописи (главным образом, искусствоведами), Л. П. Жуковская вносит некоторые коррективы в историю создания оклада.

В разделе, посвященном палеографии, графике и некоторым вопросам орфографии, рассматривается состав и начертания букв, устанавливается отсутствие орфографического противопоставления узких и широких букв (*e, o, c*), отмечаются особенности употребления буквенных знаков, имеющие значение для истории древнерусской орфографии, описываются лигатуры, декоративное написание букв. В качестве иллюстраций даются ссылки на листы, столбцы и строчки приведенных в книге фотокопий листов рукописи.

Анализируя фонетические особенности языка рукописи, Л. П. Жуковская отмечает, что средством обозначения мягкости служили писцу не только йотированные буквы (*ю, е, я*) или особые варианты написания согласных букв с «отворотиками справа вверх», но также постановка «надстрочного знака над слогом, имеющим этимологически мягкий согласный, восходящий к сочетаниям с \*j» (с. 24). Автор описывает различное начертание надстрочных знаков и замечает, что значение их и место употребления не связано с формой знака (с. 23). Помимо обозначения мягкости согласных (причем надстрочный знак часто дублирует показатель мягкости), надстрочные знаки имеют еще графико-орфографическое значение — употребление над гласными, они помогают словоделению и слогоделению при чтении. Иногда по техническим причинам надстрочный знак пропускается (хвост стоящей на предыдущей строке буквы, титло). Иногда писец ставит один знак вместо двух над двумя соседними буквами, тогда знак выполняет двойную функцию (с. 24). Важная для фонетики функция надстрочных знаков состоит, по мнению автора, в обозначении ими вторичного редуцированного при явлении второго полногласия. В Мстиславо ев. последовательно проводится принцип заканчивать строку гласной буквой. Из 20, примерно, тысяч строк только 50 по разным причинам заканчиваются на согласный. Если в конце строки оказывается сочетание редуцированного с плавным, то над плавным обязательно стоит надстрочный знак (например, *пѣте | цѣр | кѣви* и т. п.), в котором автор видит указание на наличие слогораздела после плавного. В заключение Л. П. Жуковская отмечает полисемантическую знаков и независимость их значения от начертания. Перечислив другие важные фонетические явления древнерусского языка, отраженные в рукописи, автор называет некоторые проблемы истории русского языка, которые потребуют пересмотра в свете данных Мстиславо ев., и вопросы, для решения которых данный памятник может дать материал, и заключает, что «читатель найдет в Мст. материале почти по всем вопросам исторической грамматики и истории литературного языка» (с. 26).

К изданию приложены три указателя, которые в отличие от основного текста

воспроизведены офсетной печатью. Вводная часть к указателям, набранная высокой печатью, к сожалению, как-то странно воспроизводит древнерусские примеры: то кириллицей, то обычным шрифтом с воспроизведением отдельных кириллических букв, то с приблизительным воспроизведением этих букв, например, *i* десятиричное с одной точкой, вместо двух в кириллице. Представляется, что пять страниц текста в таком великоленном издании могли бы быть набраны единообразным набором примеров или также офсетным способом, как и сами указатели.

Создание трех указателей к тексту памятника оправдано тем, что они имеют разное содержание и оформление. Указатель к основному тексту приводит слова с грамматическими пометами и сигнатурами, включающими указание не только на лист, столбец и строку, где находится данный пример в издаваемой рукописи, но кроме того при знаменательных словах указывает евангелиста, главу и стих, например: алкаимъ сущ. ср. ед. тв. 50г 14 Мг. XVII 21. Последнее указание придает словоуказателю универсальный характер, дает возможность легко отыскивать соответствия данным словам в других евангельских текстах, без обращения к тексту данного издания. Таблицы чтений евангелистов, приведенные в конце книги, позволяют быстро ориентироваться, к какому дню относится данное чтение в апракосах. Например, Мг. XVII 21 читается в воскресенье 10-й недели по пятидесятнице. Создание этих таблиц (от содержания к назначению) — полезное нововведение издателей данного памятника, отличающее их от указателя чтений, составленного И. Враной к изданному им Вуканову евангелию.

Указатель к чтениям Месяцеслова, изобилующий сокращениями, не содержит грамматических помет за исключением помет к словам-омонимам.

Указатель к записям, сделанным писцами, содержит грамматические пометы, но, естественно, не имеет указаний на главы Евангелия.

В словоуказателе фиксируется только материал рукописи, поэтому заглавная форма не реконструируется, а приводится первая словоформа, встретившаяся в рукописи, в соответствии с принятой схемой расположения грамматических форм в статье.

Известным недостатком данного словоуказателя является отсутствие греческих соответствий, которые помогли бы уточнению значений слов. Правда, издатели приводят определение значений в особенно трудных случаях (например, в случаях омонимов). Приведение в одной статье всех графико-орфографических вариантов одного слова также помогает определению семантики слов, имеющих «трудное» написание в древней рукописи. Греческие соответствия не приводятся даже в тех случаях, когда в данном контексте форма может трактоваться двояко, а также в случаях порчи текста. Нам представляется это серьезным упущением, приводящим к ненужным догадкам (см. с. 285: «Некоторые словоформы могут быть поняты неоднозначно...»).

Вызывает сомнение принятое авторами решение писать отдельно частицу *же* в косвенных падежах относительных местоимений (при том, что их заглавные формы *ижс*, *кже*, *кже* пишутся слитно). Нам представляется, что местоимения и наречия, которые без частицы *же* не употребляются, например, *никтоже*, *ничтоже* и т. п., могли бы сохранять слитное написание.

К сожалению, Институт русского языка в своих изданиях памятников древнерусской письменности отказался от славянской старой традиции издавать рукописи с разночтениями. Разночтения могли приводиться по более ранним и более поздним, восточнославянским и южнославянским спискам, спискам, восходящим к разным редакциям, разным диалектным областям. Выбор рукописей для разночтений и установление их характера определяются особенностями издаваемого памятника и целями издания. Во всех случаях это введение в широкий научный обиход новых материалов, позволяющих вместе с тем полнее охарактеризовать особенности издаваемой рукописи и ее место в ряду других списков данного памятника. Разночтения не входят в научный аппарат и данного издания. Между тем уже беглое сопоставление (по изданию Б. Цонева «Врачанское евангелие» и приводимым им разночтениям) начала текста с южнославянскими евангелиями (Ассеманьевым и Врачанским) и Остромировым евангелием показывает поразительную фактуальную близость начала Мстиславова ев. с Остромировым, в отличие от южнославянских. Предположение Л. П. Жуковской, сделанное на основе лингвистического анализа, о том, что Мстиславово ев. не имело близкого южнославянского протографа, могло быть проверено путем подобных сопоставлений. Разночтения не только могут многое дать будущим исследователям, но в какой-то мере быть полезны и самим издателям, так как являются лишним критерием для правильного прочтения текста и интерпретации грамматических форм. Так, например, авторами допущена ошибка в интерпретации формы личного местоимения *насъ* в предложении; и не введи *насъ* въ искушение..., которая рассматривается как форма родительного пад., употребленная в значении винительного, т. е. как новая форма винительного падежа (с. 295), в то время как это родительный при отрицании. Если бы было сопоставление с каким-либо древним старославянским кодексом, подобной трактовки могло не возникнуть.

При всем том, что издаваемый текст хорошо отражает многие восточнославянские особенности, он несомненно сохраняет и южнославянизмы, восходящие к древнеболгарскому протографу, выпадающие из системы древнерусского языка, которые могут быть выявлены при сопоставлении с южнославянскими текстами. Так, например, в словоуказателе отсутствует предлог *въз*, употребленный в чтении И.1, 16; мы вси въспридохомъ блг(д)тъ въз благодать л. 2в строка 13—14, где в текст ошибочно вкралось слитное написание *възблагодать*, которое пошло и в словоуказатель как имя существительное



на букву *В*. Обращение к изданным Ассеманьеву или Врачанскому евангелиям могло предотвратить подобную ошибку.

В издании обобщены широкие и узкие варианты букв *о*, *е*, *с*. Читатель должен принять на веру, что эти варианты не имеют орфографического противопоставления. Однако в рукописи преобладает *е* узкое, а *е* широкое встречается очень редко. Видимо, небрежностью объясняется то обстоятельство, что для передачи обобщенного варианта в издании выбрано *е* широкое. Недостатком примечаний, на наш взгляд, является отсутствие комментирования широких и узких вариантов букв, не воспроизведенных в издании.

Диакритика текста полностью воспроизведена в качестве примера на л. 82а, кроме того, последовательно на концах строк в виде точек обозначены надстрочные знаки. В других местах надстрочные знаки не проставлены, однако замечания об особенностях написания отдельных из них не сняты из примечаний, а так как там не всегда указано место (номер буквы), к которой относится комментируемый знак, комментарий часто оказывается малоинформативным. Нам представляется, что отказ от воспроизведения надстрочных знаков не должен был распространяться на знаки над согласными, обозначающие мягкость или пропуск редуцированного, так как эти знаки непосредственно связаны с фонетической системой рукописи. В данном случае нарушение принципа «все или ничего», о котором пишет Е. И. Демина как об обязательном принципе лингвистического издания рукописей [2], является серьезным упущением в издании Мстиславова ев. В примечаниях не комментируются размеры букв в рукописи, а так как заголовки набраны таким же шрифтом, как и весь текст (в рукописи они написаны более мелкими буквами), то иногда их трудно сразу обнаружить. Например, в столбце 30в (Mt.VII) заголовок идет сразу за стихом 14, а так как далее следует продолжение текста — стих 15 той же главы, публикатор не повторяет на полях евангелиста и главу, что создает известные неудобства.

Можно указать некоторые недосмотры, например, в палеографическом описании (с. 15) сказано, что буква *ψ* (пси) употребляется только в числовом значении, а указатель приводит слова, начинающиеся на эту букву (*ψи*, *ψомь*, *ψлмѣхъ*).

Все эти замечания не умаляют огромного значения выполненного издателями труда, который, несомненно, является серьезным вкладом в славистику. Можно только сожалеть, что тираж этого издания столь невелик (730 экз.), что его едва ли смогут приобрести все научные работники, занимающиеся данной проблематикой, не говоря уже о преподавателях вузов. А между тем данное издание предполагает и практическое применение. В качестве приложения в конце книги приводятся отрывки текстов севернорусского и галицко-волинского полных апракосов, в которых представлена другая диа-

лектная основа: «конкретное содержание публикуемых отрывков совпадает с вузовскими хрестоматийными текстами, изучаемыми в курсе старославянского языка» (с. 524). Тем самым представляется возможность непосредственного сопоставления древнерусских и старославянских языковых фактов в процессе обучения студентов.

Издание могло бы стать основой огромного количества исследований по истории русского языка, проводимых не только научными работниками, но также аспирантами и студентами университетов и пединститутов. Возможная проблематика таких исследований указывается в самом издании (с. 26).

Предварительные исследования Мстиславова ев. позволяют очертить круг проблем, которые могут быть по-новому освещены в истории древнерусского языка, например, такой важнейший фонетический процесс, как падение редуцированных и связанные с ним явления, вопросы построения слога, сочетания редуцированных с плавными, проблема твердости-мягкости согласных и другие вопросы исторической фонетики, характеризующие специфику древнерусского языка — общего предка трех современных восточнославянских языков: русского, украинского и белорусского. Проведенное Л. П. Жуковской исследование повторяющихся чтений [1, с. 129—207] показало, какой богатый материал дает Мстиславово ев. для изучения лексики, словообразования, синтаксиса частей речи, предложного и беспредложного управления, причастных оборотов и подчиненных предложений, порядка слов, прямой и косвенной речи, глагольного вида и глагольных времен, адъективизации причастий, субстантивации прилагательных и многих других вопросов древнерусского литературного языка. Нет сомнения в том, что это издание имеет большое значение для развития славистических исследований. Совершенно необходимым дополнительный тираж, чтобы этот уникальный и столь необходимый для науки памятник, едва увидев свет, не стал библиографической редкостью. Весьма желательна также подготовка факсимильного издания этой рукописи, которое восполнит недостатки, обусловленные спецификой наборного издания, и даст возможность изучения орнаментики и художественного оформления рукописной книги.

Чешко Е. В.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
2. Демина Е. И. О лингвистическом издании памятников письменности. — В кн.: Славянский архив. Сборник статей и материалов. М., 1963, с. 201.

Заметным событием в украинском языкознании, как и в восточнославянском в целом, является создание коллективной работы «История украинского языка» в четырех книгах, последняя из которых посвящена истории становления и развития украинской лексики и фразеологии (отв. ред. акад. АН УССР В. М. Русановский)<sup>1</sup>. Рецензируемая книга представляет собой первый и довольно удачный опыт в области исследования истории лексического состава и фразеологии украинского языка на протяжении всего периода его развития. Ее написанию предшествовала многолетняя работа языковедов республики по изучению лексики важнейших памятников староукраинской письменности, истории отдельных предметно-тематических групп украинской лексики, а также лексики и фразеологии отдельных периодов в развитии украинского языка.

Немаловажное значение для создания обобщающего труда по украинской исторической лексикологии и фразеологии имело завершение и издание двухтомного Словаря староукраинского языка XIV—XV вв., словарей произведений выдающихся украинских писателей (И. П. Котляревского, Г. Ф. Квитки-Основьяненко, Т. Г. Шевченко), ряда региональных словарей украинской диалектной лексики, публикация памятников староукраинской письменности (граммат., городских книг и др.), а также лексикографических и грамматических работ украинских ученых XVI—XVII вв. (Л. Зизания, П. Беринды, Е. Славинецкого, И. Ужевича и др.), особенно тех, которые до последнего времени оставались в рукописях и были малодоступны.

Авторы книги выполнили большую самостоятельную работу по историческому анализу богатейшего лексического и фразеологического материала, извлеченного из многочисленных источников, отдельные из которых ими впервые вводятся в научный оборот; один только перечень источников занимает в книге 22 страницы. Вместе с тем авторы критически использовали и теоретически обобщили результаты исследований своих предшественников по украинской исторической лексикологии и фразеологии.

Известно, что в лексическом составе современного украинского языка, как и любого другого славянского, значительное место занимают слова общеславянского, или праславянского, происхождения, составляющие «основное ядро лексической системы каждого современного славянского языка» (с. 15). Поэтому вполне закономерно, что история развития словарного фонда украинского языка начинается с обзора праславянской лексики, унаследованной древнерусским языком. В разделе, посвящен-

ном этой проблеме (автор В. В. Нимчук), вначале анализируется праславянская лексика праиндоевропейского происхождения, а затем отдельно слова, образованные в праславянский период на основе общиндоевропейского лексического наследства, причем среди последних различаются праславянские семантические словообразования и лексемы, образованные аффиксальным способом на основе праиндоевропейских корней. При этом принимается во внимание диалектная дифференциация праславянского языка и его контакты с другими языками. Праславянская лексика, рассматриваемая в книге, охватывает такие тематические группы, как названия предметов и явлений природы, растений и их частей, диких и домашних животных, рыб, насекомых, птиц, частей человеческого организма, семейных отношений, жилища, пицци, орудий и процессов труда, основных признаков и качеств предмета, главных жизненных процессов. Теоретические рассуждения и положения автора хорошо подтверждаются конкретными примерами, в достаточном количестве приводимыми им. Хотелось бы только, чтобы в работе, посвященной украинской исторической лексикологии, прослеживалась семантическая эволюция тех праславянских слов, которые в украинском языке не сохранили своего первоначального значения (например, *govědo*, обозначавшее название крупный рогатого скота, укр. *худоба*, и совр. укр. *гов'ядина* — мясо из рогатого скота).

Впервые в украинистике с такой полнотой и тщательностью описывается лексика древнерусского языка, специальное внимание обращается при этом на праславянское словарное наследство в нем, восточнославянские новообразования, слова, заимствованные из других языков (старославянского, греческого, тюркских и др.), лексические диалектизмы, ареал их распространения, особенно тех, которые позднее стали характерными для украинского языка. Почти все тематические группы древнерусского словаря достаточно представлены в работе. Исключением, к сожалению, является только общественно-политическая лексика (административная, военная, юридическая, дипломатическая и т.д.), хотя в последних разделах книги, посвященных уже истории словаря собственно украинского языка, она анализируется. У читателя может сложиться не совсем адекватное действительности представление о связи староукраинской общественно-политической лексики с ее развитием в предыдущий период истории языка.

Некоторые древнерусские слова сохранились не во всех говорах украинского языка, а только в отдельных из них, причем часто с другим лексическим значением, например, существительное *зній* (совр. укр. *спека*) известно в фонетически закономерном *зній* только юго-западным говорам украинского языка со значением «тяжелая работа, работа в поте лица» (с. 96), слово *кѣра* (укр. *крга*) употреб-

<sup>1</sup> Коллектив авторов: В. А. Винник, В. И. Горобец, В. Л. Карпова, Л. И. Коломиец, Л. Т. Масенко, В. В. Нимчук, Л. С. Паламарчук, В. А. Передриенко, В. М. Русановский, И. П. Чепига, П. П. Чучка и П. П. Чучка (мл.).

ляется в тех же говорах в фонетическом оформлении *икра*, причем без изменения семантики (с. 97) и т. д. Наблюдения подобного рода, изложенные автором при анализе семантической структуры древнерусского словаря, помогают глубже понять многие факты и процессы в составе современной украинской лексики, в том числе и диалектной.

При исследовании древнерусских лексических диалектизмов, в частности юго-западных, позже унаследованных украинским языком, иногда не без основания берутся под сомнение бытующие в современной лингвистической литературе по этому вопросу взгляды. Так, например, древнерусское существительное *оушь* до сих пор квалифицировалось только как новгородский диалектизм, хотя оно, по-видимому, было хорошо известно и другим древневосточнославянским говорам, среди них и юго-западным, предкам украинского языка. Об этом свидетельствует гидроним Ущица, упоминаемый в Галицко-Вольской летописи (...до рѣки Оушицы и Прута), а также ряд современных украинских топонимов: с. *Ущиця* Житомирской обл., с. Ущица, г. Стара Ущица Хмельницкой обл. (с. 91). При необходимости раскрывается этимология рассматриваемых в работе слов, изредка, если на это наталкивает фонетический материал, предлагаются и новые этимологии. Существительное *лошадь*, например, издавна считается в древнерусском языке тюркизмом (турецк. *alaşa*, чуваш. *laşa*). В рецензируемой работе предлагается отказаться от такого взгляда и рассматривать это слово как древнерусское новообразование при помощи суффикса *-адъ* от основы *лош-* (ср. русск. диалектн. *лоший* «плохой», с.-хорв. *лош* «плохой»), на что, по мнению автора, указывает и семантика этого существительного: *лошадь* — животное, используемое в сельском хозяйстве, рабочая лошадь (на весну начнеть тотъ смердъ орати *лошадью* — Киев. лет.), оно противопоставляется слову *конь*, *комонь* — лошадь верховая, военная (а *комони* подъ нами — Киев. лет.; *конь* еже... ѣздиши на нем — ПВЛ). Звуковое сходство с тюркским наименованием того же животного может быть здесь просто случайным (с. 79). Приведенные здесь и другие подобные им рассуждения автора не могут не обратить внимания исследователей восточнославянской лексики.

Удачно разбираются в работе древнерусские лексические параллелизмы типа *оужинъ* — *вечерѦ*, *оуксоуъ* — *оцѣтъ* и под., один из которых в украинской лексике не сохранился, а другой унаследован в ней, часто без изменения семантики.

Глубокий и всесторонний анализ словарного состава древнерусского языка позволил сделать убедительно аргументированные выводы относительно хорошей сохранности праславянского наследства в любой лексико-семантической группе древнерусского словаря. Но наряду с ним «везде четко выступают общевосточнославянские лексические новообразования, возникшие в результате аффиксальной и семантической деривации» (с. 163). В разных лексических группах

древнерусского языка место восточнославянских новообразований неодинаково, хотя распространены они в текстах памятников со всех территорий Киевской Руси. Вместе с праславянским лексическим наследством эти новообразования стали основой лексико-семантической системы всех восточнославянских языков, сформировавшихся позднее. Из лексических заимствований в древнерусском языке первое место, естественно, занимают старославянизмы, за ними следуют грецизмы. Заимствования слов из других языков носят более ограниченный характер.

В памятниках письменности южных территорий Древней Руси засвидетельствовано заметное количество лексических диалектизмов, ставших впоследствии характерными для словарного состава украинского языка. Богатый древнерусский словарь отражал, несомненно, высокий уровень материальной и духовной культуры населения Киевской Руси, он же во многом обусловил и лексическое богатство братских восточнославянских языков, — заключает автор раздела.

В истории развития лексики собственно украинского языка на основе ее репрезентации в письменных документах выделяется четыре периода. Первый из них датируется XIV—XV вв. От него сохранились письменные памятники только (за небольшим исключением) делового жанра — юридические акты и канцелярские документы. Следующий период — XVI—XVIII вв. Украинский письменный язык представлен в нем многими функциональными стилями, лексика и фразеология живого народного языка выступает в документах письменности в зависимости от их жанра в разнообразных связях с церковнославянской, латинской, а позже — русской. Третий период — XIX — нач. XX в. Украинский литературный язык окончательно утверждается на живой народной основе, в нем полно и адекватно отражалось лексическое богатство народного языка, часто с его территориальными особенностями. И последний период в истории украинской лексики — это ее развитие после Великого Октября, когда украинский литературный язык, окончательно унифицированный и нормированный, представленный всеми функциональными стилями и жанрами, характерными для любого развитого литературного языка, не только продолжает обогащаться живой народной лексикой, но и сам активно влияет на развитие словаря живой народной речи, обогащая ее новой лексикой, особенно в области общественно-производственной и научной терминологии.

Предложенная в книге периодизация истории словарного состава украинского языка и использованная в ней как периодизация рабочей серьезных возражений не вызывает, однако требует дальнейшего уточнения. Вряд ли, например, целесообразно включать в один период развитие украинской лексики XVI и XVIII вв., если учесть условия ее обогащения и отношение к лексике других, контактирующих с украинским, языков.

Принципы изложения и анализа словарного материала украинского языка в

работе те же, что и в древнерусском, он рассматривается по тематическим группам с последующими теоретическими выводами, обобщающими результаты научного анализа его развития в определенный период. Одной из важнейших задач исследования в ней является проблема непрерывности в развитии словарного состава украинского языка, и решается она довольно успешно.

Всестороннее изучение многочисленных фактов староукраинской лексики дает полное основание авторам работы сделать вывод, что процесс активного формирования лексико-семантической системы в начальный период развития языка украинской народности совершался «в тесных и неразрывных связях с древнерусским языком» (с. 274), а «староукраинская письменность XVI—XVIII вв. ориентировалась на языковую традицию предшествующего периода», которая идет еще «от древнерусского языка» (с. 280); развитие словарного состава украинского языка нового периода (XIX — нач. XX в.) в той или иной степени обусловлено, кроме других факторов, уровнем его развития в предшествующую эпоху, «в частности в процессе постепенного утверждения народной основы в сфере староукраинского книжного языка» (с. 523) и т. д.

Убедительно показано в книге неравномерное развитие лексики украинского языка в разные исторические периоды и в разных ее тематических разветвлениях. Активнее всего проходят изменения в словарном составе, тесным образом связанным с общественно-политической и производственной деятельностью народа, что особенно заметно в период существенных сдвигов в его истории. Это положение убедительно аргументируется анализом всего фактического материала, в частности в разделе «Развитие лексики украинского языка в советскую эпоху» (автор Л. С. Паламарчук). В составе же лексики, относящейся к наименованиям животного и растительного мира, терминологии рельефа, родственных отношений, названий частей животного организма и под., изменения менее значительны и часто касаются ее периферии, а не основного фонда.

Подробно и с достаточной научной убедительностью анализируется в книге и другая важная проблема — источники обогащения украинской лексики на всех этапах ее развития, в первую очередь главнейший из них — образование новых слов на основе собственного языкового материала. Больше всего внимания, естественно, обращается на аффиксальный способ словообразования. Его анализ позволил выявить степень активности суффиксации и префиксации в этом процессе, продуктивность отдельных основ в разные периоды истории украинского языка, изменения семантики производящей основы и образование от нее слов новой лексико-семантической сферы, расширение словообразовательных гнезд и т. д. Надлежащее внимание обращается в работе на значение основоположения и субстантивации в процессе пополнения украинской лексики новыми

словами в разные периоды ее развития.

В работах по истории языка большое значение имеет хронологизация исследуемых явлений. Авторы рецензируемой книги поэтому стараются привести примеры самой ранней доступной им фиксации новых слов в украинском языке, хотя, к сожалению, случаются в этом отношении и отдельные погрешности. Так, на с. 297 образование демунитивов при помощи суффикса *-уць* фиксируется XVII в. — *дбдусь* (1678), *бабуся* (1695), хотя они в украинском языке известны намного раньше, например, в рукописи «Розмова» около 1575 г., которая значится и в списке использованных в работе источников: *дбдусь* (с. 16а), *Ганнуся* (с. 44).

Основаательно исследуется в работе обогащение украинской лексики за счет иноязычных заимствований, анализируются их специфика на разных исторических этапах, характер, продуктивность и территориальные особенности усвоения иноязычных слов и т. д. Интересны наблюдения над иноязычными словами вторичного усвоения в украинском языке, как, например, *практика* (греч. *πρακτική* «деятельность»), которое в XVII в. употреблялось со значением «искусство гадания, враждебное намерение», а во второй половине того же века появилось в его современном значении, *гумор* (лат. *humor* «влага, жидкость») и некот. др. (с. 526—527).

Привлекает достаточное внимание авторов работы не только история обогащения словарного состава украинского языка, но также и процессы перемещения многих слов из активного запаса в пассивный, а потом и переход их в категорию архаизмов и историзмов, в большинстве своем вызванные общественно-политическими преобразованиями в жизни народа.

Одной из центральных проблем книги является исследование семантических изменений в истории украинской лексики, их системная обусловленность, постепенное обогащение синонимических отношений в составе украинского словаря. Так или иначе она разрабатывается при анализе развития лексики каждой тематической группы любого периода в истории украинского языка, ей посвящен и специальный раздел под названием «Семантические процессы развития украинской лексики» (автор В. М. Русановский), помещенный как заключительный в конце книги. Подчеркивая, что семантическое развитие лексики не всегда и не обязательно сопровождается увеличением словаря, а часто оно связано с увеличением количества значений в слове, что стремление слова к однозначности диалектически взаимосвязано с развитием в его семантической структуре новых значений, авторы работы на ряде типичных примеров прослеживают закономерности расширения, а нередко и сужения семантического объема слов в разные периоды истории украинского языка. Заслуженное внимание обращается на синонимизацию в лексическом составе украинского языка, наибольшая активность которой в нем, как и в белорусском языке, приходится

на XVI—XVII вв., период формирования его как «многофункционального национального и начало преобразования» его в язык национальный, а также на период 20—30 гг. XX в. — время коренной «перестройки» литературного языка в связи с революционным преобразованием общества» (с. 673).

Интересные сведения находим в рецензируемой книге о синонимической дифференциации в составе параллельных лексических рядов, выпадении отдельных членов таких рядов из лексического состава языка, об утрате значения деминутивности в ряде слов, о роли метафоризации в развитии семантической структуры слов, специфике развития терминологической лексики в разные периоды истории украинского языка и др.

Содержателен раздел об истории собственных имен в украинском языке, в котором изложены результаты исследования эволюции украинской антропонимической (автор П. П. Чучка) и топонимической (автор Л. Т. Масенко) систем от древнейшего периода до нашего времени. В нем подробно описана древнерусская антропонимия и топонимия, ее дальнейшее развитие в староукраинском языке XIV—XV и XVI—XVIII вв., в украинском языке XIX — нач. XX в. и в наше время. Авторы останавливаются на таких вопросах, как происхождение древнерусских и позже украинских антропонимов и топонимов, их этимология, морфологическая структура, отношение к апеллятивной лексике на разных этапах истории языка.

Хочется подчеркнуть, что история лексического состава украинского языка найдла в книге довольно полное, обстоятельное и научно убедительное описание. Конечно, в такой большой работе можно найти и отдельные недочеты, погрешности. Так, например, случаются изредка лишние повторения (см. описание трансформации лексического значения имени существительного *бзмин* на с. 244, 476 и 682); неточности в объяснении значения отдельных слов: на с. 186—187, например, утверждается, что слово *жито* как обобщенное не конкретизированное родовое название зерновых) культуру в XIV—XV вв. еще употребляется в документах церковного характера, но в других уже «начинает все шире выступать в специализированном значении как название одного из видов культурных злаков»; на с. 323 читаем, что в XVI—XVIII вв. это слово употребляется «только как видовое название одной из сельскохозяйственных культур», а на с. 672, что «восточнославянское *жито*, известное в значении *еда* и *хлеб* (преимущественно *рожь*) на корню и в зерне... сохраняется с этим значением в украинском и белорусском языках». Вызывает некоторые замечания структура разделов книги, посвященных истории словарного состава. Тематическая группа лексики «Название местностей, рельефа» почему-то рассматривается лишь в староукраинском языке XIV—XV вв., а в другие периоды истории украинского языка о ней нигде не упоминается. В одном периоде названия темпоральных понятий

отнесены к лексике, связанной с трудовой деятельностью людей (XIV—XV вв.), а в другом — к названиям реалий окружающей среды (XVI—XVIII вв.). По непонятным причинам изложением основных тенденций развития украинской лексики открываются разделы книги, посвященные XVI—XVIII и XIX — нач. XX в., а в разделе, в котором рассматривается история староукраинской лексики XIV—XV вв., оно закономерно подытоживает анализ всего фактического материала.

Если история лексики украинского языка освещена в книге обстоятельно от древнейшего и до нашего времени, то история украинской фразеологии представлена в ней намного беднее, ее описание ограничено только эпохой староукраинского языка, а о развитии богатой фразеологии XIX — нач. XX в., а также активном фразеотворчестве украинского народа в советскую эпоху даже не упоминается.

Фразеология XIV—XV вв. описана очень сжато и только из судебно-юридической и административно-государственной сферы употребления; изредка анализируются семантика и структурно-типологические модели отдельных фразеологизмов. Однако иногда неправильно и без каких-либо оснований обыкновенные терминологические словосочетания зачисляются в состав фразеологизмов: например, *великое князтво*, *коруна полская*, *коруна угорская* (с. 270), *великий князь*, *право волоськое* (с. 271) и под.

Намного полнее и лучше описана фразеология XVI—XVIII вв. Отдельно анализируется народная фразеология, зафиксированная в памятниках письменности того времени, и книжная; обращается внимание на ее лексический состав, генетические корни, перемещение из узкой специальной сферы в общенародный язык, на трансформацию традиционнокнижных фразем и «врастание» их в украинский народный язык, анализируется заимствованная фразеология из классических, западнославянских и других языков, ее адаптация на украинской языковой почве. Общее впечатление от описания фразеологии этого периода положительное. Правда, хотелось бы, чтобы в работе, посвященной истории украинской лексики и фразеологии, при ее анализе была раскрыта связь с развитием фразеологии предыдущего периода, т. е. чтобы был выдержан принцип непрерывности ее развития, как это хорошо осуществлено в изложении материала по истории словарного состава украинского языка. Но, как мне кажется, специальная обобщающая работа по истории украинской фразеологии еще ждет своего издания.

Следует отметить, что книга хорошо оформлена в целом, однако жаль, что в ней отсутствует список научной литературы по теме исследования, хотя в других изданиях этой же серии (историческая фонетика, морфология, синтаксис) такой список имеется. Желательно также дать в виде приложения Указатель слов, использованных при анализе фактического материала и включенных в текст исследования.

В заключение же хочется подчеркнуть, что рецензируемая монография, несмотря на некоторые отмеченные недостатки, в большинстве своем частного, а не принципиального характера, представляет серьезное исследование по истории украинской лексики, впервые выполненное на

таком обширном фактическом материале и высоком научном уровне, и является, безусловно, большим вкладом в науку об истории украинского языка.

*Жовтобрюх М. А.*

**Історія української мови. Синтаксис.** — Київ: Наукова думка, 1983. 503 с.

Выход в свет этой книги<sup>1</sup> знаменует важный этап в развитии исторического синтаксиса украинского языка и одновременно является серьезным вкладом в фонд сравнительно-исторических исследований синтаксического строя восточнославянских языков. Монография построена на основе изучения синтаксической системы огромного корпуса текстов: памятники письменности XI—XVIII вв., данные фольклора и современных украинских диалектов, произведения украинской художественной литературы. Список староукраинских памятников письменности, использованных в числе источников, представляет самостоятельный интерес для специалистов в области истории восточнославянских языков.

Авторы ставят задачу представить картину становления всех главнейших разделов синтаксической системы украинского языка на широком хронологическом фоне — от периода первых памятников письменности восточных славян до современного состояния синтаксического строя украинского языка (с. 9). Работа строится в основном по традиционной схеме, принятой для большинства исторических грамматик и учебных пособий по истории восточнославянских языков. Исключение составляет лишь последняя глава книги «Временная соотносительность глаголов-сказуемых в сложном предложении», в которой рассматривается вопрос о роли одного грамматического параметра в развитии различных структурных схем сложного предложения. Таким образом, объектом конкретного анализа и описания в отдельных параграфах являются большей частью установленные современной наукой типы синтаксических конструкций уровня простого и сложного предложения (с включением архаичных синтаксических конструкций, утраченных в процессе развития синтаксического строя восточнославянских языков: двойные косвенные падежи, оборот «дательный самостоятельный» и др.). В книге три основных раздела: Простое предложение, Односоставное предложение, Сложное предложение. Внутри разделов материал по отдельным вопросам сначала описывается по данным, извлеченным из древнерусских текстов, затем характеризуются факты староукраинского языка и, наконец, приводятся сведения о судьбе объекта изучения (утрата, заме-

на продуктивным вариантом, известно только в диалектах или в фольклоре, сохранилось в литературном языке как стилистически маркированное, вошло в кодифицированный тип украинского литературного языка). В большинстве случаев положения авторов иллюстрируются интересными, свежими и доказательными примерами из разнообразных источников. В необходимых случаях отмечается зависимость реализации явления от жанровой принадлежности текста. В книге критически рассмотрены и обобщены результаты предшествующих исследований истории синтаксического строя украинского языка. Кроме тщательно выполненного описания структуры всех типов простого и сложного предложения, регистрации исторических изменений каждого объекта исследования и определения его места в синтаксической системе украинского языка различных периодов, в книге собраны необычайно интересные данные о развитии инвентаря служебных синтаксических средств.

Раздел Простое предложение оканчивается очень четко написанным очерком Синтаксические функции предлогов (§§ 37—44), в котором судьба морфологической категории предлогов представлена в зависимости и в связи с развитием синтаксических конструкций простого предложения. В разделе Сложное предложение, к сожалению, подобного обобщения материала о служебных средствах нет, хотя в конкретных параграфах уделяется много внимания наборам союзов, союзных слов и коррелятов, обслуживающих различные типы сложных предложений. Подробно дается этимологический аспект происхождения служебных слов. Отмечены некоторые общие явления, характеризующие состав служебных синтаксических средств на разных исторических этапах развития языка (многозначность древнейших союзов, процесс специализации союзов, утрата союзов на основе указательных местоимений, сложение двух самостоятельных служебных слов в один союз и некот. др.). Считаю упушением, что внимание авторов почти совсем не привлекли частицы, которые играли роль весьма активных синтаксических средств, особенно в древнейших текстах. Большую ценность представляют содержащиеся в книге богатые сведения о синтаксических служебных средствах, употребляющихся в современных украинских диалектах. Однако, как было сказано, весь этот материал о служебных словах не получил обобщения,

<sup>1</sup> Коллектив авторов: Арполенко Г. П., Грищенко А. А., Нимчук В. В., Русановский В. М., Щербатюк Г. Х.

он рассыпан по отдельным параграфам. Поэтому остается в тени тот факт, что изменения состава синтаксических служебных слов нельзя отнести только к явлениям лексического или словообразовательного порядка. Эти процессы всегда связаны и обусловлены процессами, происходящими в языке на синтаксическом уровне. Так, факты замены одной группы союзов другой [например, союзов типа *поне(же)*, *зане(же)* в причинных сложноподчиненных предложениях союзами типа *по тому што*, *тому що*, *тим що* (с. 423)] могут быть интерпретированы как звено общего процесса замены древнейших союзов на основе указательных местоимений \**i* (к<sub>1</sub>, κ) соотношенными с коррелятами союзами на основе вопросительно-относительных местоимений с элементами \**k*-(*č*-) в корне, что в свою очередь отражает уже собственно синтаксический процесс изменения структурных параметров сложных синтаксических конструкций.

В труде такого масштаба и значения, каким является рецензируемая книга, очень важны общие методологические установки исследования. С одной стороны, необходимо определить, в чем состояло изменение и развитие синтаксической системы, а с другой — показать генетическое родство исходного и конечного состояния синтаксической системы языка, т. е. показать развитие сложного объекта, который все время остается равен сам себе.

Одна из характерных черт этой книги заключается в том, что авторы и в введении, и в ходе изложения приводят общетеоретические положения, не все из которых находят, однако, отражение в конкретном анализе материала. Остановлюсь на некоторых, которые сформулированы как определяющие для данного исследования. Опираясь на положение о том, что основные типологические характеристики грамматического строя восточнославянских языков сложились еще в дописьменный период, и беря предложение за основную единицу членения текста любого исторического периода, авторы уже без всяких оговорок используют — как инструмент членения текста — традиционную синтаксическую классификацию, созданную в основном на материале языка позднейших этапов развития. Это неизбежно затеняет процессы формирования синтаксической системы. По-видимому, для древнейших периодов развития языка вопрос об элементарных единицах наблюдения, особенно для сложного предложения, должен решаться не в пользу уже сложившихся типов предложений. Возможно, более адекватным объекту изучения оказался бы метод, при котором за исходную единицу наблюдения были бы взяты отдельные предикативные единицы и далее наблюдались бы процессы формирования как простых предложений, так и способы объединения в связанном тексте отдельных предикативных единиц в сложные предложения, т. е. дедуктивный метод с априорным использованием современной классификации целесообразно было бы заменить более естественным для исто-

рического исследования индуктивным методом. По-видимому, та или иная классификация должна явиться результатом исследования, а не исходным его инструментом. Следует также сказать, что в исторических исследованиях синтаксического строя стремление отнести факты к определенным классификационным схемам может иногда подменить суть наблюдаемых явлений.

Как один из ведущих принципов исследования синтаксиса в книге провозглашено положение, согласно которому при историческом исследовании (как и при синхронном) основным объектом изучения и описания остается внутренняя синтаксическая структура и внешняя синтаксическая структура предложения как основной категориальной единицы синтаксической подсистемы. Однако исторические исследования выдвигают специфические требования, обусловленные необходимостью охарактеризовать основные линии изменений в структуре предложения, начиная от наидревнейших сведений о функционировании наидревнейших явлений языка (с. 6). Из сказанного должна бы последовать разработка и описание методик и приемов использования теоретических положений при конкретном анализе; или, во всяком случае, раскрытие и конкретизация общих определений того, что названо основным объектом изучения и описания. Тем не менее содержание понятий «внутренняя синтаксическая структура» и «внешняя синтаксическая структура» в книге не раскрыты, хотя ими постоянно оперируют авторы, указывая в отдельных конкретных разделах, к какой категории следует отнести тот или иной объект исследования. По этим замечаниям можно сделать вывод о том, что к внешней структуре отнесены характеристики предложения, обусловленные включенностью его в связный текст, к внутренней же синтаксической структуре отнесены чисто грамматические средства оформления предложения. Но взаимодействие этих двух аспектов взгляда на сущность предложения остается только декларированным и систематически не прослеживается при анализе. Также нельзя признать, что в исследовании вскрыты основные линии изменений в синтаксической системе украинского языка. В частных разделах книги названы очень интересные факты. Но эти факты не обобщены настолько, чтобы за ними можно было увидеть собственно линии развития, характерные для исторического развития синтаксиса украинского языка.

Необходимо также остановиться на реализации тезиса о бессоюзных сложных предложениях как о первичном, хронологически наиболее древнем типе сложных синтаксических конструкций (с. 322). Здесь много внимания уделяется вопросу о принципах квалификации бессоюзных сложных предложений в славянских языках и делается заключение о том, что бессоюзные сложные предложения в украинском языке представляют отдельный — наряду с сочинительными и подчинительными — тип сложных конструкций, отличающийся целым

рядом признаков грамматического строения и характером семантико-синтаксических отношений между частями. Это положение обосновывается анализом бессоюзных сложных конструкций по ряду синтаксических параметров, которые отнесены к внутренним синтаксическим признакам бессоюзного сложного предложения: параллелизм в видо-временном выражении глаголов-сказуемых (благодаря чему обеспечивается единый внешне синтаксический временной план), специфика позиционной зависимости частей (невозможность перестановки частей, без нарушения общего смысла), параллелизм в структурно-грамматическом оформлении частей, закрытый/открытый характер частей и др. Такой анализ по параметрам представляется весьма перспективным для определения путей развития сложных синтаксических конструкций в истории языка [1]. К сожалению, он не применен последовательно при анализе других типов сложных конструкций. Что же касается тезиса о том, что бессоюзные сложные конструкции должны рассматриваться как хронологически первичные по отношению к паратактичным и гипотактичным сложным предложениям, то представляется, что при настоящем уровне исследования этого вопроса нельзя в категорической форме признать за исходный какой-либо один определенный вид известных нам сложных синтаксических конструкций. Этот вопрос, по нашему мнению, должен решаться не в пользу какого-либо конкретного типа сложных конструкций, а рассматриваться на уровне изучения способов организации древних текстов, в которых изначально могли и не быть еще сформированы сложные синтаксические конструкции в нашем современном их понимании. (Например, объединения предикативных единиц в сложные конструкции с помощью частиц *же, ли, бо*, см. [2]).

В плане структуры всего исследования вызывает недоумение, почему принципиальный для всей работы вопрос об исходной хронологически форме сложных синтаксических конструкций в украинском языке никак не затронут в введении к книге или хотя бы в вводной части к разделу Сложное предложение, а рассматривается только в последнем частном параграфе главы о сложносочиненных предложениях. Такая композиция дезориентирует читателя относительно принципиальных взглядов авторов на природу бессоюзных сложных предложений.

Также не раскрытым в конкретной части исследования остается тезис об особенностях формирования и постепенной стабилизации структуры сложного предложения, состоящий в том, что зависимые части гипотактических конструкций выступают как корреляты членов простого предложения, т. е. пребывают с ними в отношениях изофункциональности (с. 9). Была ли эта изофункцио-

нальность изначальной и как можно проследить пути ее формирования и стабилизации в украинском синтаксисе? На эти вопросы в книге ответов нет. При этом общие вопросы принципов синтаксической классификации обсуждаются также не в введении к книге, а в параграфе, посвященном конкретному типу сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными (§ 54).

Как было сказано выше, научная значимость рецензируемой книги в первую очередь состоит в том, что она представляет собой своего рода комpendium, подводящий итоги многолетних исследований ученых в сфере исторического синтаксиса украинского языка на исчерпывающе полном материале. На определенном этапе развития сравнительно-исторического синтаксиса восточнославянских языков подобный обобщающий труд, построенный в основном по традиционной классификационной схеме, представляется необходимым: в научный оборот вводится большое количество систематизированных фактов, которые сопоставимы с аналогичными фактами других восточнославянских языков, это способствует развитию и определению основных путей последующих исследовательских усилий в области изучения истории сложения синтаксического строя современных восточнославянских языков, и в частности украинского. Сам факт создания такого труда неминуемо ставит вопрос о том, что настает пора поиска методов, которые позволят перейти от простой констатации фактов, различающих отдельные древние и современные синтаксические конструкции, к осмыслению общих линий направления развития синтаксического строя восточнославянских языков с учетом изменений других уровней языка, с привлечением достижений смежных дисциплин, исследующих историю языка в социальных аспектах. Эти сложнейшие задачи выдвигают в заключительной части введения и авторы рецензируемой книги. Они обращают особое внимание на то, что в первую очередь заслуживают внимания проблемы диалектного синтаксиса, без выяснения которых на широком лингвогеографическом материале невозможно разрешение многих вопросов собственно исторического синтаксиса.

*Преображенская М. Н.*

## ЛИТЕРАТУРА

1. Кершиене Р. Б., Морозова С. Е., Преображенская М. Н. Особенности организации сложных синтаксических конструкций в текстах древнерусских и старорусских памятников (XI—XVII вв.).— ИАН СЛЯ, 1983, № 1.
2. Структура предложения в истории восточнославянских языков. М., 1983, с. 102 и сл.



Дамдинсүрэн Ц., Лувсандэндэв А. Орос-монгол толь. Нэмж, зассан хоёрдугаар хэвлэл. Редактор академич Лувсанвадан Ш. 55.000 орчим уг. — Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн газар, 1983. 840 х.

Лексикографическая деятельность монгольских языковедов получила в последние годы особенно широкий размах. Об этом свидетельствует публикация целого ряда крупных лексикографических трудов, различных по своему назначению и типу, в частности таких, как Русско-монгольский терминологический словарь в 3-х томах [1], Русско-монгольский словарь в 2-х томах [2], Русско-монгольский фразеологический словарь [3], Толковый словарь фразеологии произведений В. И. Ленина [4], Инверсионный словарь монгольского языка [5], Краткий толковый фразеологический словарь монгольского языка [6] и др. В настоящее время коллективом авторов из Института языка и литературы АН МНР подготовлен к печати многотомный Монгольско-русский словарь. Ведется работа над Диалектологическим словарем монгольского языка, материалы которого обсуждались в секторе тюркских и монгольских языков Института языкознания АН СССР и в Институте филологии, философии и истории СО АН СССР.

Следует особо подчеркнуть, что в условиях успешного претворения в жизнь намеченных XVIII съездом (1981) МНРП задач в области социально-экономического строительства словарная работа монгольских ученых приобретает большое научное и культурное значение. Постоянно расширяющиеся связи МНР со многими странами мира вызывают среди населения усиленный интерес к изучению иностранных языков. Углубляя всестороннее братское сотрудничество с Советским Союзом, монгольский народ в первую очередь стремится к активному и массовому овладению великим русским языком. В Институте языка и литературы АН МНР, на языковых кафедрах Государственного университета и пединститута, а также в других вузах и научных учреждениях Монголии ведется систематическая и значительная по своим масштабам словарная работа.

Рецензируемый Русско-монгольский словарь, составленный известными монгольскими учеными-филологами акад. П. Дамдинсүрэнгом и чл.-корр. А. Лувсандэндэвом, является вторым, исправленным и дополненным, изданием. Как отмечают авторы, «словарь предназначен для лиц, изучающих русский язык, для работников печати, студентов, учащихся школ и переводчиков с русского языка на монгольский» (с. 6).

В корпусе словаря широко представлены лексика и фразеология современного русского литературного языка, в значительном объеме приводится актуальная общественно-политическая и научно-техническая терминология, в гораздо меньшей степени привлекаются узкопрофессиональные термины. Наряду с многочисленными советизмами в словарь вошли редкие, областные и устарелые слова типа *светелка*, *манерка*, *каймак*, *баштан*, *целкопёр*, *пиит*, *провизия* и т. п.,

а также слова, важные с точки зрения русской истории и русской культуры, например, *барщина*, *земство*, *городни*, *чий*, *декабрист*, *народник*, *народничество-толстовка* и др. В иллюстративной части словаря даются обильный пословично-поговорочный материал, крылатые выражения, афоризмы, идиомы и фразеологические сочетания. Словарь в достаточной степени отражает лексический состав русского языка, его богатую терминологию и заимствования из других языков.

Как известно, первое издание словаря вышло в двух томах: первый — в 1967, а второй — в 1969 г. С тех пор прошло много времени, и словарь стал библиографической редкостью, потребность же в нем ощущалась постоянно. Учитывая это обстоятельство, авторы подготовили второе издание словаря. В процессе работы над рукописью настоящего издания были учтены замечания и пожелания читателей, специалистов по русскому и монгольскому языкам. Совершенствованию словаря способствовали ценные советы советского ученого Г. Д. Санжеева поправки и дополнения видных монгольских лингвистов Ш. Лувсанвадана, С. Галсана и др.

Словник русской части словаря, как сказано в предисловии (с. 3—4), создавался на базе Словаря русского языка С. И. Ожегова (11-е изд., М., 1977), Толкового словаря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (т. I—IV, М., 1935), Словаря русского языка (т. I—IV, М., 1957). При этом авторы руководствовались опытом составления Русско-бурятского (М., 1954) и Русско-калмыцкого (М., 1964) словарей. Редакцию второго издания осуществлял акад. Ш. Лувсанвадан. Новое издание принципиально отличается от предыдущего: впервые в практике монгольских лексикографов русские заглавные слова подробно охарактеризованы как в грамматическом, так и стилистическом аспектах. Сведения по грамматике и стилистике особенно важны для иностранцев, в частности для монголов, так как помогают глубже усваивать особенности функционирования русского слова. Грамматическая квалификация русского слова включает не только указание на его принадлежность к той или иной части речи, но и на такие категории, как число, падеж, род, несклоняемость, краткую форму и сравнительную степень прилагательных, лицо, вид и синтаксические связи глагола, которые выявляются с помощью относительных местоимений. Проиллюстрируем это на нескольких примерах из русской части словаря: *игра*, -ы, мн. *игру*, ж. (с. 183); *манго*, нескл., ср. (с. 257); *дешевый*, -ая, -ое; *дешево*, *дешева*, *дешёво*; *дешевле* (с. 111); *густеть*, 1-е и 2-е л. не употр., -еет, несов. (с. 100); *накопать*, -аю, -аешь; сов., что и чего (с. 296) и т. п.

Объем издания значительно увеличился: в корпус словаря дополнительно

введено 5000 словарных единиц. Наряду с русскими словами словарь пополнился иностранными заимствованиями. Во многих случаях проверены и уточнены переводы русских слов и словосочетаний. Например, в первом издании устойчивое сочетание *ромовая баба* передавалось сочетанием *гонзгой талх* букв. «овальный, продолговатый хлеб», а во втором издании оно переведено *шовгор боов* (с. 19) букв. «конусообразное изделие-печенье». Сочетанием *гонзгой талх* во втором издании передается слово *батон* (с. 21), что, безусловно, правильно. Во втором издании словаря полнее передается семантическая структура слов. Ср., например, *баранка* (с. 21) 1. *цацирак боорцог*; 2. *жолоо* (машины). В предыдущем издании отсутствовало значение под цифрой 2 («руль машины»).

В новом издании некоторые словообразовательные формы даются отдельно, в самостоятельных статьях. Например, такие слова, как *безымянный* и *безымянный*, *берёстовый* и *берестяной*, *биток* и *биточек*, *бычачий* и *бычий* приводятся как заглавные (см. с. 25, 26, 30, 39). Орфография отдельных слов приведена в соответствие с новыми правилами, например, *безыдейный*, *безынициативный* (с. 25), *панцирь* (с. 417) вм. *безидейный*, *безинициативный*, *панцырь*. Варианты с более правильным, нормативным ударением выдвинуты на первый план. Ср. *лягушачий*, -ья, -е и *лягушечий* (с. 253). Ранее было зафиксировано только *лягушечий*, причем без пометы *разг.*

Нет никакого сомнения в том, что авторы данного труда провели огромную работу по его качественному улучшению, совершенствованию структуры и состава словника, грамматическому анализу и стилистической оценке лексики русского языка, усилению нормативности словаря. Авторы проделали очень трудоемкую и кропотливую работу по переводу и толкованию русских слов и выражений на родном языке. В целях удобства пользования и большей компактности изложения материала издания словаря подготовлено в одном томе. Словарь предвзят, предисловия к первому и второму изданиям и краткие введения от авторов (с. 3—4). В конце словаря приложен список географических названий (с. 826—840).

Оценивая переиздание Русско-монгольского словаря положительно, считаем необходимым обратить внимание составителей и читателей на имеющиеся в нем недостатки, которые могут быть устранены при подготовке следующего издания. Прежде всего следует отметить непоследовательность в применении критериев отбора слов. Так, не совсем ясно, какими соображениями руководствовались авторы при включении в словарь таких малопонятных и узкоспециальных слов, как *автаркия*, *абсентизм*, *антропофаз*, *анафолес*, *басон*, *безоар*, *галогид*, *грена*, *карда*, *клеврет*, *ферула*, *файдешин*. Этих слов, крайне пассивных в употреблении, нет даже в Словаре русского языка С. И. Ожегова (см. 14-е изд., М., 1982). Вместе с тем вне словаря остались

такие распространенные и социально значимые слова и термины, как *абитуриент*, *абстракция*, *авианосец*, *аллергия*, *альбатрос*, *ахинея*, *аэроплант*, *талмуд* (есть лишь его производные *талмудист*, *талмудистский*) и др. Отсутствуют широко известные историзмы советской эпохи, например, *совдеп*, *Совнарком*, хотя зафиксированы аббревиатуры *ЧК* (*Чека*), *нэл*, *нэлман* и др. В отдельных словарных статьях (см. с. 207, 218, 336, 494, 587, 590, 618, 650, 658) не указан ряд активных в современном употреблении фразеологических единиц и терминологических сочетаний: *посадить в калошу*, *бес попутал*, *устроить (учинить) разнос*, *ни кожи ни рожи*, *сколотить состояние*, *слововая болезнь*, *разрядка напряженности*.

Нуждаются в более точном переводе значения отдельных слов и выражений. Так, слово *ас* (с. 17) переводится *дайчик нисэги* букв. «боевой летчик». На самом же деле семантика этого слова гораздо шире, а именно: выдающийся по летному и боевому мастерству летчик; перен. большой мастер своего дела. Слово *китобой* (с. 214) означает не само китобойное судно (*халимч онгоц*), а того, кто занимается промыслом китов (*халимч*). Не совсем верно переведено фразеологическое сочетание *обронить слово* (с. 360): *дуртай дургуй нэг үг хэлэх* букв. «с желанием-без желания сказать одно слово». Следовало бы перевести *туньтай туньгуй үг дугарах*. Фразеологическая единица *дуракам закон не писан* дана неправильно с приставкой *на-* при глаголе: *дуракам закон не написан* (с. 128). Желательно было бы дать и другой вариант данного фразеологизма *дураку закон не писан*.

Стилистические пометы, которыми сопровождаются те или иные слова, не всегда соответствуют действительности. Например, при слове *гид* устар. 1. проводник при туристах; 2. справочник, путеводитель (с. 87) помета устар. оправдана только при втором значении, но не при первом. Немало слов, нуждающихся в пометах, приведены без них, например, при слове *наушник* (человек, к-рый наушничает, доносчик) (с. 312) нет пометы *разг. устар.*, при слове *вабить* (с. 40) — пометы *спец.*, а при *скарעד*, *скареда* (с. 648) — пометы *прост.*

Наблюдаются колебания и неточности в экспрессивной и стилистической оценке отдельных слов, например, на с. 101 наречие *давеча* квалифицируется как областное, а прилагательное *давешний* как просторечное. Непонятно также, на каком основании слова *балка* (с. 20), *котомка* (с. 231) признаются областными, а слова *грешник*, *грешный* (с. 97) устарелыми.

В словаре встречаются нетипичные и к тому же неблагозвучные сокращения слов, например, *колдоговор* (коллективный договор) — *хамтрын гэрээ* (с. 218), *трудкнижка* (трудовая книжка) — *хөдөлмөрийн дэвтэр* (с. 734). Нужно заметить, что не ко всем сокращениям даются полные формы. Например, на с. 419 сложносокращенные слова *парторг*, *партикола*, *партсъезд*, *партучеба* и др. даны в сопровождении полных форм, тогда как

*партком, партбилет, партактив* приводятся без полных форм.

С точки зрения экономии места при некоторых вариантах слов можно было бы ограничиться отсылками. Например, нецелесообразно повторять переводы и давать иллюстративный материал при словах *тожество, тожественный*, сделав отсылку к более употребительным и нормативно закрепленным: *тождество, тождественный* (с. 720). Определенное противоречие обнаруживается и при подаче некоторых омонимов. Так, на с. 97 слово *грибок* подается как многозначное: 1. *бязхан млог* (уменьшит. от *гриб*); 2. *мөөгөнцөр* (возбудитель кожного заболевания). В то же время слово *лисичка* (с. 247), одинаковое в словообразовательном отношении, подается в двух словарных статьях на правах омонимов: *лисичка I Үнэгэн, бязхан Үнэг* (маленькая лиса); *лисичка II Үнэгэн мөөг* (гриб желтого цвета).

Встречаются случаи, когда приводится второстепенный, менее употребительный вариант или уменьшительная форма слова. Так, есть словоформа *шифоньерка* — *багаан шүгээ* (с. 810), но нет исходной формы — *шифоньер* — *шүгээ*. Ср. также *циколка* и *циколотка* (с. 815), где литературный вариант расположен после разговорно-просторечного. Заметим, что в последнем издании Словаря русского языка С. И. Ожегова форма *циколка* не упоминается.

В словаре имеет место некоторый разрыв в орфографировании отдельных слов, включая и сложные. Ср., например, *камфора* и *камфара* (с. 207), *кощей* (с. 212) и *кощей* (с. 231), *такой сякой* (с. 707) и *такой-сякой* (с. 708), *туго натуго* и *туго-натуго* (с. 736), *шиворот на выворот* и *шиворот-навыворот* (с. 809). Правильными являются дефисные написания, а также формы *камфара, кощей*. В списке лексикографических источников (с. 5) отсутствуют такие важнейшие труды монгольских ученых, как Орос-монгол өвөрмөц хэллэгийн толь (Русско-монгольский фразеологический словарь) Чой Лувсангджаба, Монгол хэлний товч тайлбар толь (Краткий толковый словарь монгольского языка) Я. Цэвэла.

Несмотря на указанные недочеты, в целом словарь дает достаточно полное и ясное представление о лексическом богатстве русского языка, структурных разновидностях значений слова, системе словообразования и словоизменения, наглядно показывает взаимодействие грамматических форм и категорий. Большой иллюстративный материал позволил раскрыть конкретные значения приведенных слов, словосочетаний и фразеологизмов русского языка. Читатели найдут в словаре разнообразные сведения о современном русском языке: толкование значений слов и выражений, указание на сферы их употребления, особенности морфологических и лексико-фразеологических связей, терминологическое использование слов. Словарь, безусловно, сыграет важную роль в деле изучения и преподавания русского языка в братской социалистической Монголии. Выход в свет исправленного и существенно образом переработанного издания Русско-монгольского словаря — заметное явление не только в лексикографической практике монгольских языковедов, но и факт научного, культурного и общественного значения.

Люрбеев Г. Ц. (СССР), Наранчимэг Ш. (МНР)

## ЛИТЕРАТУРА

1. Орос-монгол нэр томъёоны толь. Улаанбаатар, 1965 (1-р боть); 1970 (2-р боть); 1979 (3-р боть).
2. Дамдинсүрэн Ц., Лувсандэндэв А. Орос-монгол толь. Улаанбаатар, 1967 (1-р боть); 1969 (2-р боть).
3. Орос-монгол өвөрмөц хэллэгийн толь. Зох. Лувсанжав Ч. Улаанбаатар, 1970.
4. В. И. Лениний зохиолын хэлц үгийн тайлбар толь. Улаанбаатар, 1978.
5. Болд Л. Орчин цагийн монгол хэлний тонгоруу толь. Улаанбаатар, 1976.
6. Аким Г. Монгол өвөрмөц хэлцийн товч тайлбар толь. Улаанбаатар, 1982.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

23—25 апреля 1984 г. в Вороново (Московская обл.) проходила Всесоюзная конференция «Современные проблемы изучения лексики и развития национальной лексикографии (современные толковые и нормативные словари)», организованная Научным советом АН СССР по лексикологии и лексикографии совместно с Институтом русского языка АН СССР. На пленарных заседаниях и 4 секциях было прослушано более 80 докладов и сообщений.

Конференцию открыл заместитель председателя Научного совета по лексикологии и лексикографии, директор Института русского языка АН СССР чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов. Подчеркнув значительно возросшую за последние годы роль лексикографии в кругу лингвистических дисциплин, он остановился на проблеме противопоставления системного подхода к построению словарей (унификация дефиниций, отражение лексико-семантических системных отношений в словаре и т. п.) и подхода, который, по определению докладчика, можно было бы назвать антропоморфным. Поставленная в таком плане проблема («системность словаря — антропоморфность») может оказаться весьма плодотворной для лексикографии и практики. От имени Оргкомитета конференции Ю. Н. Караулов сообщил, что Бюро научного совета по лексикологии и лексикографии приняло решение посвятить конференцию памяти председателя этого Совета — выдающегося советского ученого чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударова.

Доклады, прочитанные на пленарных заседаниях, были посвящены обобщению опыта, накопленного за последние годы в нашей стране в деле создания национальных словарей различных типов.

Выработка новых методов обработки словарных материалов была рассмотрена в докладе С. Г. Бережана (Кишинев) «Разбиение значимых единиц на лингвистически значимые классы как способ унификации их подачи в толковом словаре». По мнению докладчика, для однотипного представления значений слов и для адекватного отражения системной организации лексического состава описываемого языка следует менять существующую методику и технику составления и редактирования толковых словарей. Новая методика работы над толковым словарем была применена в Институте языка и литературы АН МССР. В докла-

де К. М. Ульвидаса (Вильнюс) «О структуре и некоторых лексикографических особенностях многотомного академического „Словаря литовского языка“» содержалось обобщение опыта работы над самым крупным в истории литовского языкознания лексикографическим трудом. Словарь соединяет в себе черты хронологического и систематического тезауруса. Одновременно, подчеркнул докладчик, Словарь носит и нормативный характер. Л. С. Паламарчук (Киев) в докладе «Лексикографическая интерпретация богатств и многообразия лексико-фразеологического состава украинского языка в 11-томном академическом словаре» раскрыл культурно-историческое значение созданного коллективом лингвистов Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР. «Словаря украинского языка» (Киев, 1970—1980).

В докладе В. Г. Гака (Москва) «Проблема создания универсального словаря. Отражение культурно-исторического и этнолингвистического аспекта в нем» развивался тезис, согласно которому распыление информации о слове по словарям различных типов ставит задачу создания универсального словаря, дающего разнообразную информацию о слове. Возможны два типа универсального словаря: собственно-лингвистический и лингво-энциклопедический (толковый или переводной), сообщающий необходимый культурно-исторический, научно-технический, этнографический комментарий к предмету, раскрывающий свойства предмета, обозначаемого словом. Автор предложил ряд способов включения энциклопедических сведений в языковые словари.

Созданию толкового словаря, ориентированного на отражение норм русского литературного языка советской эпохи, был посвящен доклад Ф. П. Сорколетова (Ленинград) «О новом словаре современного русского языка». Словарь должен представлять тип функционально-стилистического словаря, в котором все многообразие значений и смысловых нюансов слова, его возможных употреблений, его отношений к другим словам и группам слов сосредотачивается и объединяется в его функционально-стилистической характеристике. Р. В. Мадоян (Ереван) в докладе «Армяно-русский идеографический словарь» охарактеризовал основные принципы построения и структурные особенности нормативного переводного двуязычного армяно-русского идеографического словаря, работа над которым за-

вершается в 1984 г. Словарь состоит из идеографической схемы, собственно словаря, приложений и алфавитных списков (армянского и русского).

После заседания состоялась дискуссия. А. Я. Шайкевич (Москва) указал на проблему переопределения словника национальных словарей из-за дублирования русской лексики, что ведет к обеднению лексикографического описания собственно национальной лексики. Ю. А. Рубинчик (Москва), положительно оценивший доклад С. Г. Бережана, отметил, что идею разбивания лексических единиц на лингвистически значимые классы с целью, последующей унификации семантически близких слов нельзя, по-видимому, признать универсальной для словарей таких языков, как, например, арабский. Р. Г. Пиотровский (Ленинград) подчеркнул, что преодолению одного из наиболее распространенных недостатков современных словарей — несогласованности отдельных их фрагментов, о котором говорилось в ряде докладов, — будет способствовать привлечение лингвистического автомата-компьютера, вооруженного необходимыми лексикографическими алгоритмами и программами. В. И. Кодохов (Ленинград), отметив актуальность затронутой во многих выступлениях проблемы предназначенности словарей, подчеркнул назревшую необходимость создания словаря активного типа.

Доклады и сообщения, прочитанные на заседаниях секции № 1, были посвящены проблемам отражения в толковых и переводных словарях системной организации лексико-фразеологического состава русского и других национальных языков, а также вопросам методики отбора и обработки лексикографических материалов. В докладе «Единицы словаря» П. Н. Денисова (Москва) было показано, что классификация словарных единиц может быть осуществлена с точки зрения их функционирования в языке и в плане их структуры. Для слов важнейшим является деление на производные и непроизводные, причем для последних ключевой является проблема полисемии, которая была рассмотрена в докладе более детально. Для непроизводных единиц важно разграничение фразеологизмов, паремий и терминов по различным основаниям деления. Вопросы изучения таксономии, синонимии, омонимии, полисемии (в том числе метафорических переносов) и отражения их в словарях обсуждались в выступлениях Р. И. Розиной (Москва), Л. В. Кнориной (Москва) на материале русского языка, В. И. Бахнаря (Кишинев) на материале молдавского языка, Г. Г. Ивлевой (Москва) на материале немецкого языка, а также в докладе Т. Н. Скляревой (Ленинград) «Опыт системного описания языковой метафоры в толковом словаре».

Проблема отражения в словарях деривационных связей производных слов освещалась в сообщении К. М. Танаса (Кишинев) на материале молдавского языка; на материале русского языка — в сообщении Л. П. Катлинской (Моск-

ва), В. М. Грязновой (Ставрополь), О. М. Чупашевой (Мурманск). Вопросам словарного описания отдельных частей речи были посвящены доклад Т. С. Зевахиной (Москва) на материале дунганского языка и сообщение С. А. Кузнецова (Ленинград) на материале русского языка. Оживленное обсуждение вызвало сообщение Э. В. Кузнецовой (Новосибирск) «К проблеме семантизации базовых идентификаторов (в словаре глагольных ЛСГ)», обосновавшей тезис, согласно которому в роли идентификаторов глаголов (являющихся элементами метаязыка лексикографических описаний и обладающих свойством обобщенности) используются многозначные глаголы в особых — социально-обобщенных — значениях, развивающихся на базе основных, более конкретных значений. В отличие от последних, однако, эти глаголы не содержат конкретно-предметных сем и имеют более широкий контекст реализации.

Проблема лексикографической интерпретации фразеологизмов была рассмотрена в докладе Ю. А. Рубинчика (Москва) «Структурные типы фразеологизмов и их размещение в словарной статье» (на основе анализа двухтомного персидско-русского словаря), в сообщении А. Л. Семеновас (Москва) «Фразеологизмы в китайских словарях» и в выступлении Б. С. Шварцкопфа (Москва) «Словарь русской фразеологии и его нормативно-грамматический план».

Условия осуществления унификации словарных дефиниций были рассмотрены в сообщении А. С. Белоусовой (Москва) «Унификация словарных толкований: ее реальные возможности (классицизм)». В докладе В. П. Нерознака и Б. П. Нарумова «О новом греко-испанском словаре типа филологического тезауруса» подчеркивалось, что в характеризуемом словаре в пределах одной статьи объединены все формальные и семантические варианты (просодические характеристики, диалектные варианты, нерегулярные формы словоизменения и т. п.). Эксперименту в лексикографии были посвящены доклады Б. Ю. Гордеевского (Москва) — на материале дунганского языка и А. А. Залевской (Калинин) на материале английского языка. Н. Н. Леонтьева (Москва) в докладе «Типы словарей и словарных описаний» рассмотрела комплекс словарей, обслуживающих систему францужско-русского автоматического перевода.

В докладах и сообщениях, прочитанных на заседаниях секции № 2, обсуждались теоретические проблемы лексикологии, касающиеся жанрово-стилистического многообразия лексико-фразеологического состава языка и задачи отражения этого многообразия в лексикографических изданиях. Вопросы изучения системы литературного языка и отражения его нормативного характера в словарях рассматривались в докладах К. С. Горбачевича (Ленинград) и Н. А. Сыромятниковой (Москва). В докладе Л. И. Скворцова (Москва) «Нормативно-стилистический словарь в

системе нормативной лексикографии» были изложены общие принципы составления нового словаря этого типа. А. И. Домашнев (Ленинград) в докладе «Десятилетняя серия нормативно-толковых словарей „Большой Дуден“» охарактеризовал опыт разработки целостной системы нормативных словарей («словарной парадигмы») современного немецкого языка, осуществленной «Дуденовской редколлегией» Библиографического института в Мангейме (ФРГ). В докладах Л. Л. Кутинной (Ленинград), Э. М. Медниковой (Москва), А. Н. Шапкевича (Москва), Л. К. Граудиной (Москва) анализировались проблемы представления в одноязычных толковых словарях и в специальных словарях-справочниках нормативно-стилистической информации и характеристики средств ее передачи.

Проблемам, встающим при создании специальных терминологических словарей различных типов, были посвящены выступления А. С. Герда (Ленинград) «О принципах построения сводного терминологического словаря русского языка», В. В. Ивановой и Л. А. Каца (Москва) «Использование понятия „квазиоснова слова“ для построения отраслевых словарей научно-технической лексики», И. Н. Волковой (Москва) «Использование банков терминов при создании терминологических стандартов (нормативных словарей системного типа)», С. Е. Никитиной (Москва) «Тезаурусное описание лексикографической терминологии». Принципы описания терминов в общих толковых словарях рассматривались в сообщении А. М. Прищепчик (Москва) «Терминологические словосочетания в „Толковом словаре белорусского языка“». В докладах В. И. Перейвояс (Киев), Ю. Г. Овсиенко (Москва), а также Т. А. Квятковской, А. В. Рубина, Т. А. Якубайтис (Рига) были обобщен опыт создания одно- и двуязычных частотных словарей. Р. Г. Пиотровский и Т. А. Апполонская (Ленинград) посвятили свой доклад «Функциональная грамматика и лексикография» рассмотрению вопросов создания активного словаря.

Проблема функционирования русско-интернациональной лексики в национальных языках народов СССР и представление этой лексики в национальных и национально-русских словарях была освещена в выступлениях Р. К. Тураходжаевой (Душанбе), Н. А. Шароповой (Душанбе).

На заседаниях секции № 3 обсуждались главным образом две основных лексикографических проблемы: подача материала в словарях и типы словарей. О создании новых типов словарей, в которых были бы представлены культурно-исторические и этнолингвистические аспекты лексики и фразеологии, а также необходимые экстралингвистические сведения, говорилось в докладах М. А. Денисовой (Москва), В. Э. Сталтмане (Москва), В. А. Робинсон (Москва). Доклад В. В. Морковкина (Москва) «Строение словарного запаса личности как

критерий лексикографирования» был посвящен проблеме назначения словаря и его адресата. Было предложено различать два типа словарей: лингвоцентрические — словари для языка (привязанные фиксировать и оценивать имеющиеся языковые факты) и антропоцентрические — словари для человека.

В выступлениях Л. П. Крыгина (Москва) «Социальный компонент в семантике лексических единиц и его лексикографическая интерпретация», В. И. Кодухова (Ленинград) «Культурно-исторический компонент значения слова и приемы его отражения в словарях» и Г. П. Смолицкой (Москва) «Объем культурно-исторических сведений при толковании слов, образованных от имен собственных» обсуждались проблемы полноты отражения в словарных дефинициях одно- и двуязычных толковых словарей социальных и культурно-исторических компонентов значений слов. Р. М. Цейтлин (Москва) в докладе «Следы утраченных значений в словаре современного русского языка» указала, что при обработке конкретных словарных статей необходимо регулярно учитывать сведения по этимологии и истории лексико-семантических групп (преимущественно префиксальных и корневых), что поможет избежать неправомерного смещения семантических и стилистических оттенков, будет способствовать установлению последовательности значений и т. д.

В докладе Ю. Д. Апресяна (Москва) «Синтаксическая интерференция в толковом словаре (этнолингвистические аспекты лексикографического представления)» подчеркивалось, что синтаксические свойства лексем должны быть описаны в толковом словаре таким образом, чтобы лексемы могли стать объектом эффективно действующих (формальных) синтаксических правил, в частности, правил синтаксического анализа предложений. В выступлении Т. А. Корованенко были рассмотрены тенденции отражения в толковых словарях слов с переносными значениями в связи с особенностями их функционирования (на материале русского и французского языков).

В докладах и сообщениях, прочитанных на заседаниях секции № 4, были рассмотрены теоретические вопросы, связанные с созданием национальных словарей новых типов. Принципы составления синтаксических словарей и словарей сочетаемости обсуждались в докладах Г. А. Золотовой (Москва), М. В. Япон (Москва), В. И. Подлесской (Москва), В. Ю. Розенцвейга (Москва) и в сообщении С. И. Гаюпова (Ташкент). Доклад Ю. С. Мартемьянова (Москва) «Текстообразовательные операции и структурирование словаря» был посвящен проблемам соотношения словаря и текста.

Решения общих теоретических и практических задач лексикографии, таких, как отбор словника и его объем, структура словарной статьи, способы подачи материала, отношение к норме и др., при соз-

дании орфоэпических и орфографических словарей предложены в выступлениях Л. П. Калакуцкой (Москва), Л. К. Чельцовой (Москва), Н. А. Еськовой (Москва) и С. Н. Боруновой (Москва). В докладе Т. З. Черданцевой (Москва) «Представление лексики и фразеологии в двуязычном словаре иностранно-русском и русско-иностранном в одном томе (25—30 000 лексических единиц)» были предложены принципы построения универсального учебного двуязычного словаря. Проблема создания словаря для национально-русских словарей обсуждалась в докладах З. Г. Исаевой «Двуязычные словари и диалектная лексика» (на материале иранских языков) и Н. А. Баскакова (Москва) «Автономность тюркского слова и его границы в речевом потоке». Доклады Х. Д. Леметс и М. Н. Реммеля (Таллин), М. М. Пещак (Киев) были посвящены проблеме машинной лексикографии и использованию ЭВМ для составления словарей.

Заключительное пленарное заседание открылось докладом Н. Ю. Шведовой (Москва) «Парадоксы словарной статьи». Сложность задачи и большой объем сообщаемой информации делают словарную статью в каком-то смысле парадоксальным жанром. Парадоксы словарной статьи таковы: всеохватность задачи — миниатюрность жанра; классоцентризм языковой системы — лексоцентризм словарной статьи; слитность в слове всех его характеристик — разъясность этих характеристик в словарной статье и др. Д. Н. Шмелев (Москва) в докладе «О сопоставительном изучении лексики» отметил, что существуют различные типы семантической организации лексических единиц, в частности, разные типы структуры многозначных слов. По мнению докладчика, одной из первоочередных задач как при изучении русского языка как языка межнационального общения, так и при изучении иностранных языков является сопоставительный анализ таких группировок слов.

В докладе М. С. Стенгревиц (Рига) «Стилистическая характеристика лексики в словаре латышского литературного языка» отмечается, что помета *sar* сопровождает в словаре устарелые слова, подвергшиеся стилистической транспозиции, а также слова, содержащие оценочный элемент (обычно отрицательный) и переносные значения, однако эта помета является неудовлетворительной для пласта лексики, который находится на промежуточной ступени между общеупотребительными и разговорными словами. В докладе Л. Б. Никольского

(Москва) «Этнолингвистические аспекты лексикографического представления лексики в Большом корейско-русском словаре» указывалось, что в первую очередь должны фиксироваться (как это и сделано в анализируемом словаре) лексические единицы, отражающие культуру данного народа, например, обозначения корейских реалий, восточных числительных и измерений времени и др. Докладчик более подробно остановился на характеристике способов подачи этнографизмов, в том числе пословиц и поговорок. В. В. Мартынов (Минск) в докладе «Принципы составления конкордансов нового типа» охарактеризовал основные особенности конкордансов, над которыми ведется работа в Институте языкознания АН БССР. Кроме прямого, обратного и частотных списков, в них включается список сочетаемостей, что позволяет рассмотреть любую троп в контексте всей литературы.

В заключение пленарного заседания с сообщениями о планах издательства «Русский язык» на 1984—1986 гг. по выпуску словарей русского языка и двуязычных переводных словарей для различных категорий читателей нашей страны выступили В. В. Пчелкина и Н. М. Семенова (Москва). А. П. Евгеньева (Ленинград), принявшая участие в дискуссии, предложила создать ряд комиссий, которые займутся разработкой конкретных лексикографических проблем, встающих в связи с назревшей потребностью составления нового словаря современного русского языка.

На закрытии конференции с заключительным словом выступила член Научного совета АН СССР по лексикологии и лексикографии Н. Ю. Шведова, полжительно оценившая работу конференции. Прослушанные доклады и сообщения, выступления в дискуссиях свидетельствуют об активной творческой работе над разными типами словарей, о том, что постепенно снимается противопоставление между практической лексикографией и теоретической лексикологией; лексикография превращается в исследовательскую область языкознания; лексикологическая теория движет лексикографическую практику, а сами лексикографические труды становятся объектом теоретического анализа; роль словарей возрастает как в практике, так и в теории лингвистической науки.

Доклады и сообщения, прочитанные на конференции, будут опубликованы в специальном сборнике.

Белоусова А. С., Строчкова Г. В.  
(Москва)

## CONTENTS

**Articles:** Xrapčenko M. B. (Moscow). Text and its properties; Serebrennikov B. A. (Moscow). Has Balto-Finnic and Volga linguistic community really existed?; Frumkina R. M. (Moscow). Sense and similarity; **Discussions:** Birnbaum H. (Los Angeles). The two main trends in linguistic evolution; Lucenko N. A. (Donetsk). Aspect and tense: differentiation and interaction; Eršov A. P. (Novosibirsk). The machine bank of the Russian language: an external approach; Andrjuščenko V. M. (Moscow). The machine bank of the Russian language: the statement of the problem and practical results; Giginėišvili B. K. (Tbilisi). On the authenticity of reconstruction; Goverdovskij V. I. (Kharkov). Dialectics of connotation and denotation (interaction of the emotional and rational in the word-stock); **Materials and notes:** Kolesov V. V. (Leningrad). Synonymy as a result of the elimination of word-polysemy in Old Russian; Sul'ga M. V. (Moscow). On the interpretation of case-homonymy in Russian; Ngoueng Kuang Hong (Vietnam). Rhymes in poetic speech and phonological analysis of the syllable; Carekov S. L. (Leningrad). On the evolution of agglutinative affixes (founded on the materials of the Evenkian and Buriatian languages); Meilanova U. A. (Makhačkala). On the terminology of relationship by marriage in the Lesguinian languages (a comparative — historical study); Onipenko N. K. (Moscow). Russian causative constructions from the point of view of the speaker; Giusti-Fici F. (Florence). Comparative analysis of indirect speech; **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Articles:** Xrapčenko M. B. (Moscou). Texte et ses caractéristiques; Serebrennikov B. A. (Moscou). Existait-il vraiment une communauté des langues balto-finnoises et celles de la Volga?; Frumkina R. M. (Moscou). Sens et similitude; **Discussions:** Birnbaum H. (Los Angeles). Deux tendances principales dans l'évolution linguistique; Lucenko N. A. (Donetsk). Aspect et temps: différenciation et interaction; Eršov A. P. (Novosibirsk). La langue automatisée de la langue russe: l'aspect extérieur; Andrjuščenko V. M. (Moscou). La banque automatisée de la langue russe: formulation du problème et résultats pratiques; Giginėišvili B. K. (Tbilissi). Sur l'authencité de la reconstruction; Goverdovskij V. I. (Kharkov). Rapports dialectiques de connotation et dénotation (interaction de l'émotionnel et du rationnel dans le vocabulaire); **Matériaux et notices:** Kolesov V. V. (Leningrad). Synonymie en tant que résultat de l'élimination des polysémies des mots en vieux russe; Sul'ga M. V. (Moscou). Sur l'interprétation de l'homonymie des cas dans la déclinaison russe; Ngoueng Kuang Hong (Vietnam). Les rimes dans le discours poétique et analyse de la syllabe; Carekov S. L. (Leningrad). Sur l'évolution des affixes agglutinatifs (étudiée sur les matériaux des langues évenquiennes et bouriatiennes); Meilanova U. A. (Makhačkala). Sur la terminologie de parenté de mariage dans les langues lesguiniennes (étude comparée et historique); Onipenko N. K. (Moscou). Constructions causatives russes au point de vue du sujet parlant; Giusti-Fici F. (Florence). Analyse comparée du discours indirect; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

---

Слано в набор 29 12 84	Подписано к печати 05.03 85	Т-02737	Формат бумаги 70×108 <sup>1/16</sup>
Высокая печать	Усл. печ. л. 14,0	Усл. кр.-отт. 8,3 тыс.	Уч.-изд. л. 16,4
	Тираж 5875 экз.	Зак 922	Бум. л. 5,0

---

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»  
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6